

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ

Tomsk State University Journal
of Philosophy, Sociology and Political Science

Научный журнал

2019

№ 51

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-30316 от 16 ноября 2007 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Подписной индекс 44046 в объединенном каталоге
«Пресса России»

Журнал включен в БД Emerging Sources Citation Index (Web of Science
Core Collection) и в «Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук»
Высшей аттестационной комиссии
(№ 1528)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Суровцев В.А. (Томск, Россия) – главный редактор, доктор филос. наук, профессор. E-mail: surovtsev1964@mail.ru; **Рыкун А.Ю.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (социология), доктор соц. наук, профессор. E-mail: a_rykun@mail.ru; **Шербинин А.И.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (политология), доктор полит. наук, профессор. E-mail: shai52@mail.ru; **Агафонова Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь, кандидат филос. наук, доцент. E-mail: agaton@rambler.ru; **Сухушина Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь (социология), кандидат филос. наук, доцент. E-mail: elsukhush@inbox.ru; **Скочилова В.Г.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь (политология), кандидат филос. наук. E-mail: veronassk@gmail.com; **Борисов Е.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Оглеzneв В.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Сыров В.Н.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Черникова И.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Ладов В.А.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Южанинов К.М.** (Томск, Россия) – кандидат филос. наук, доцент; **Шербинина Н.Г.** (Томск, Россия) – доктор полит. наук, профессор; **Кашпур В.В.** (Томск, Россия), кандидат соц. наук, доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Химма Кеннет Э. (Университет Вашингтона, Сизтл, США); **Ренч Томас** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Шефлер Уве** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Вяткина Н.Б.** (Институт философии НАНУ, Киев, Украина); **Васильев В.В.** (Московский государственный университет, Москва, Россия); **Микиртумов И.Б.** (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия); **Целищев В.В.** (Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия); **Диев В.С.** (Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия); **Джонсон Марк С.** (Университет Висконсина, Мэдисон, США); **Балцер Харли С.** (Университет Джорджтауна, США); **Чалаков Иван** (Университет Пловдива, Болгария); **Вавилина Н.Д.** (Новый сибирский университет, Новосибирск, Россия); **Константиновский Д.Л.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Черныш М.Ф.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Ярская-Смирнова Е.Р.** (Государственный университет – Высшая школа экономики, Москва, Россия); **Малинова О.Ю.** (Институт информации по общественным наукам РАН, Москва, Россия); **Соловьев А.И.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Чахор Рафал** (Нижнесилезская высшая школа предпринимательства и техники, Польковице, Польша); **Шестопал Е.Б.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Шуберт Клаус** (Вестфальский университет им. Вильгельма, Мюнстер, ФРГ)

EDITORIAL BOARD:

Surovtsev V.A. (Toms, Russia) – Editor-in-Chief
Rykun A.U. (Toms, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Sociology)
Shcherbinin A.I. (Toms, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Political Science)
Agafonova E.V. (Toms, Russia) – Executive Editor
Sukhushina E.V. (Toms, Russia) – Executive Editor (Sociology)
Skochilova V.G. (Toms, Russia) – Executive Editor (Political Science)
Borisov E.V. (Toms, Russia)
Ogleznev V.V. (Toms, Russia)
Syrov V.N. (Toms, Russia)
Chernikova I.V. (Toms, Russia)
Ladov V.A. (Toms, Russia)
Uzhaninov K.M. (Toms, Russia)
Shcherbinina N.G. (Toms, Russia)
Kashpur V.V. (Toms, Russia)

EDITORIAL COUNCIL:

Himma K. E. (University of Washington, Seattle, USA); **Rentsch T.** (Technical University Dresden, Germany); **Scheffler U.** (Technical University Dresden, Germany); **Viatkina N.B.** (Institute of Philosophy of NASU, Kiev, Ukraine); **Vasilyev V.V.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Mikirtumov I.B.** (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia); **Tselishev V.V.** (Institute of Philosophy and Law of SB RAS, Novosibirsk, Russia); **Diev V.S.** (Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia); **Johnson M. S.** (University of Wisconsin, Madison, USA); **Balzer H.S.** (Georgetown University, USA); **Tchalakov I.** (University of Plovdiv, Bulgaria); **Vavilina N.D.** (New Siberian Institute, Novosibirsk, Russia); **Konstantinovskiy D.L.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Chernysh M.F.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Iarskaia-Smirnova E.R.** (National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia); **Malinova O.Y.** (Institute of Information on Social Sciences of RAS, Moscow, Russia); **Soloviov A.I.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Czachor Rafal** (Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology, Polkowice, Poland); **Shestopal E.B.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Shubert K.** (Westphalian Wilhelm University, Muenster, Germany)

СОДЕРЖАНИЕ

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

Андрюшкевич А.Г. Онтологический статус аскриптивных выражений в обыденном языке	5
Антух Г.Г. Парадокс нередуктивного объяснения	14
Бахтиярова Е.З., Юрьев Р.А. Мифообразы судьбы как источник формирования категорий философии и науки	25
Гапонов А.С. Условия «общезначимости» знания в формальной прагматике	35
Ладов В.А. Идея ограничения теории типов в философии математики в контексте критики эпистемологического релятивизма	43
Найман Е.А. Критический анализ западноевропейской языковой идеологии (пролегомены к новой социальной онтологии языка)	53
Оглезнев В.В. Проблемы определения кластерных понятий	70

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Косилова Е.В. Философия и психиатрия в поисках выхода из кризиса: исследования феномена Я	79
Сыров В.Н. Дискуссия о свободе воли и моральной ответственности: где перспективы?	88

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Кильдюшева А.А. Философия образования Джона Дьюи: экспериментальная площадка – музей	98
Меньшикова А.А. Философия языка П. Стросона как продолжение традиции «лингвистического кантианства»	107
Пушкарский А.Г. Основной закон мышления: от Канта к Булю	115

СОЦИОЛОГИЯ

Богомяткова Е.С., Орех Е.А. Современные концепции здоровья: от качества жизни к ее наполненности	129
Полянина А.К. Границы креативности: социальный контроль этических аспектов рекламы в контексте информационной безопасности детей	140
Попков В.Д., Попкова Е.А. Русскоязычные мигранты в Германии: связи со странами исхода и ориентация на возвращение	149
Солодова Г. С. Управление Туркестанским краем – некоторые принципы установления российского влияния	158
Ярская-Смирнова Е.Р., Ярская-Смирнова В.Н., Зайцев Д.В. Студенты с инвалидностью как агенты поля высшего образования: роль социального капитала	167

ПОЛИТОЛОГИЯ

Данилова Е.А. Стратегия формирования национального бренда России в аспекте инновационного потенциала оборонно-промышленного комплекса РФ	178
Пустошинская О.С. Джихадистский терроризм как контрвласть: экспликация в логике коммуникативно-сетевой концепции М. Кастельса	183
Шашкова Я.Ю., Асеев С.Ю., Асеева Т.А., Казанцев Д.А. Проблема эффективности институциональных форм политического участия молодежи (на примере Алтайского края и Новосибирской области)	192
Щербинин А.И. Особенности политической социализации молодежи в университетском городе	205

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	215
---------------------------	-----

CONTENTS

ONTOLOGY, EPISTEMOLOGY, LOGIC

Andrushkevich A.G. The Ontological Status of Ascriptive Expressions in Ordinary Language	5
Antukh G.G. The Paradox of a Non-Reductive Explanation	14
Bakhtiyarova E.Z., Yuriev R.A. Mythological Images of Fate as a Source for Categories of Philosophy and Science	25
Gaponov A.S. Conditions of "General Significance" of Knowledge in Formal Pragmatics	35
Ladov V.A. The Idea of Limiting the Type Theory in the Philosophy of Mathematics in the Context of the Criticism of Epistemological Relativism	43
Naiman E.A. A Critical Analysis of Western European Language Ideology (Prolegomes to the New Social Ontology of Language)	53
Ogleznev V.V. Problems with the Definition of Cluster Concepts	70

SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HUMANITY

Kosilova E.V. Philosophy and Psychiatry in Search of Overcoming the Crisis: Investigations of the Phenomenon of the Self	79
Syrov V.N. A Discussion on Free Will and Moral Responsibility: Where are the Prospects?	88

HISTORY OF PHILOSOPHY

Kildyusheva A.A. John Dewey's Educational Philosophy: Museum as an Experimental Platform	98
Menshikova A.A. Kantian Linguistic Tradition in Peter Strawson's Philosophy of Language	107
Pushkarsky A.G. The Fundamental Law of Thought: From Kant to Boole	115

SOCIOLOGY

Bogomiagkova E.S., Orekh E.A. The Current Concepts of Health: From Quality of Life to Fullness of Life	129
Polyanina A.K. Limitations of Creativity: Social Control over Advertising in the Context of Children's Information Security	140
Popkov V.D., Popkova E.A. Russian-Speaking Migrants in Germany: Connections with the Exodus Countries and Return Tendencies	149
Solodova G.S. Governance of the Turkestan Region: Some Principles	158
Iarskaia-Smirnova E.R., Yarskaya-Smirnova V.N., Zaitsev D.V. Students with Disabilities as Agents in the Field of Higher Education: The Role of Social Capital	167

POLITICAL SCIENCE

Danilova E.A. The Strategy of the Russian National Brand Formation in the Aspect of the Innovation Potential of the Defense Industry Complex of the Russian Federation	178
Pustoshinskaya O.S. Jihadist Terrorism as a Counter-Power: Explication in the Logic of Manuel Castells' Communication Network Concept	183
Shashkova Ya.Yu., Aseev S.Yu., Aseeva T.A., Kazantsev D.A. The Problem of the Efficiency of Institutional Forms of Political Participation Among the Russian Youth (On the Example of Altai Krai and Novosibirsk Oblast)	192
Shcherbinin A.I. Features of Political Socialization of Youth in a University City	205

INFORMATIONS ABOUT THE AUTHORS	215
---	-----

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

УДК 165.0

DOI: 10.17223/1998863X/51/1

А.Г. Андрушкевич

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС АСКРИПТИВНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ОБЫДЕННОМ ЯЗЫКЕ¹

Ставится вопрос об онтологической специфике аскриптивных выражений. Демонстрируется, что описательное выражение не является с необходимостью дескрипцией. Приводится обоснование применимости понятия аскриптивности Г. Харта применительно к обыденному языку.

Ключевые слова: язык, онтология, аскрипция, дескрипция, Г. Харт.

А. Стролл в своей книге «Аналитическая философия двадцатого века» подвергает критике так называемую аксиому референции. В его формулировке она выглядит следующим образом: «Не может быть референции к тому, чего не существует» [1. Р. 225]. В определенном смысле мы вынуждены согласиться с теми подозрениями, которые высказывает американский философ, поскольку референциальная функция языка оказывается неосуществимой тогда, когда не имеет места то, на что происходит указание. В этой связи мы обнаруживаем тесную, даже неразрывную, связь между языком и некой реальностью, которую этот язык описывает. У. Куайн, видя эту связь, утверждал, что задача современной философии заключается в «описании наиболее общих черт объективной реальности» [2. Р. 5], из чего следует, что приоритетной для нее оказывается именно онтологическая проблематика. Мы также полагаем, что целью философского исследования языка является выявление тех его механизмов, которые нагружены онтологически, т.е. позволяют определить и идентифицировать то, что имеет место.

Одним из способов осуществления референциальной функции языка является определенная дескрипция. Б. Рассел утверждал, что «фраза является обозначающей только ввиду своей формы» [3. С. 18]. Очевидно, что данное положение распространяется как на неопределенные, так и на определенные дескрипции лишь с той разницей, что некое языковое выражение в силу своей формы может стремиться либо к описанию двух и более объектов, либо к описанию одного и только одного объекта. В первом случае языковое выражение будет представлять собой неопределенную дескрипцию, тогда как во втором – определенную. Однако есть еще третий вариант, когда некоторое языковое выражение не описывает ни одного объекта. Описания, которым не соответствует ни один объект, мы будем называть неудачными дескрипциями. Очевидно, что выражение «единственный единорог, живущий в доме

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 18-18-00057.

Джона» стремится описать один единственный объект и, соответственно, осуществить к нему референцию. Не менее очевидно (во всяком случае для Джона, который однозначно не имел возможности наблюдать единорога и тем более делить с ним дом) также и то, что нет никакого объекта, удовлетворяющего данному описанию. Как для Джона, так и для любого адекватного носителя языка, знающего, что единорог – это белоснежный конь с одним рогом, выходящим из лба, не составит труда определить, что данная определенная дескрипция не описывает ни одного имеющего место объекта, т.е. данная дескрипция контринтуитивна. Тем не менее мы убеждены, что встречаются такие описательные выражения, которые интуитивно должны описывать некоторый объект, тогда как в действительности нет никакого объекта, удовлетворяющего данному описанию.

Однако описанная ситуация не представляет собой никакой проблемы, тем более философской. Нам известно множество дескриптивных выражений, которые, стремясь описать некоторый объект, тем не менее ничего и никого не описывают. К примеру, дескрипции «летающий слон» или «десятиметровый человек». Очевидно, что эти и другие подобные описания являются контринтуитивными не только в том смысле, что противоречат повседневному опыту, но и потому, что они не выступают основанием для какой-либо деятельности. Как мы обозначили выше, они являются неудачными дескрипциями. Однако, на наш взгляд, в обыденном языке встречаются такие языковые выражения, которые, во-первых, в силу своей формы являются описательными, но тем не менее не являются дескрипциями, и, во-вторых, не являются контринтуитивными, то есть не противоречат повседневному опыту. Мы полагаем, что основанием для различения неудачных дескрипций и описательных языковых выражений, не являющихся дескрипциями, выступают повседневный опыт носителей языка и те внеязыковые последствия, к которым приводит их употребление.

Подвергая критике принцип, который Стролл называет аксиомой референции и про который он пишет, что «он, без сомнения, является ложным» [1. С. 226], мы подходим к необходимости пересмотра наших взглядов на характер функционирования языка, и в частности референции. Мы полагаем, что монополия референции на язык, которая всячески поддерживается различными современными теориями, должна быть отброшена, поскольку она существенно искажает наши представления о языке. Так, чрезвычайно мало исследований посвящено феномену аскриптивности языка, который, помимо прочего, с легкой руки Г. Харта сегодня обсуждается преимущественно в рамках юридического языка. На наш взгляд, как минимум некоторая часть описательных выражений, не являющихся дескрипциями, является аскрипциями. В отличие от дескрипций, которые представляют собой вариант референции к объекту, аскриптивные выражения – это способ конструирования реальности. Монополия референции на язык в некотором смысле скрывает от нас всю полноту функционирования языка и его корреляции с действительностью. Настоящим исследованием мы намерены прояснить ситуацию с такими интуитивно верными описательными выражениями, которым не только не удовлетворяет ни один объект, но которые сущностно не являются дескрипциями. Мы полагаем, что прояснение настоящей ситуации позволит расширить наши представления об обыденном языке. Именно в этой связи

мы беремся за настоящую работу, которая предполагает выявление онтологической специфики указанных языковых выражений.

В качестве примера описательного языкового выражения, которое, однако, не является дескриптивным, мы рассмотрим выражение «преступление, которое совершил Билл». Очевидно, что рассматриваемое предложение является описательным в силу своей формы. Интуитивно можно предположить, что оно описывает некоторое положение дел, суть которого в том, что Билл преступил букву закона. При некоторых обстоятельствах оно также может являться определенной дескрипцией (в ситуации, когда Билл совершил одно и только одно преступление в своей жизни). Поскольку по форме рассматриваемое выражение является описательным, мы предположим, что оно является дескрипцией. Если выражение «преступление, которое совершил Билл» является дескрипцией, и притом определенной, то также возможны два варианта его употребления, о которых пишет К. Доннелан. Это референциальный и атрибутивный способы употребления определенных дескрипций [4]. Отметим, что «при референциальном употреблении дескрипции объект, который агент описывает, дан агенту независимым от описания образом; при атрибутивном употреблении объект дан только посредством дескрипции» [5. С. 19]. Можно предположить, что в ситуации, когда выражение «преступление, которое совершил Билл» является определенной дескрипцией и употребляется референциально, осуществляется референция, т.е. указание на некоторый единственный объект. Очевидно, что речь идет о некотором положении дел, в котором Билл нарушил существующее и распространяющееся на него положение закона. Мы думаем, что сторонники теории референции, в частности теории дескриптивизма, согласятся с этим утверждением. Однако мы полагаем, что это не так, и далее постараемся объяснить почему.

Представим два возможных мира, которые полностью совпадают за исключением одной детали. В первом возможном мире (обозначим его w-1) есть понятие преступления и преступлением, помимо прочего, считается ограбление. Во втором возможном мире (обозначим его w-2) такого понятия нет и, соответственно, ограбление преступлением не считается. В этом их единственное различие. Далее, в обоих возможных мирах происходят следующие события. Женщина идет по улице и держит в руке свою сумочку. С другой стороны улицы эту картину наблюдает мужчина, у которого есть намерение отобрать у женщины сумочку и скрыться с ней. Другими словами, он намеревается ее ограбить. Он следует за ней, держась на расстоянии, как вдруг подбегает, хватает сумочку и начинает тянуть ее на себя. Какое-то время мужчина и женщина борются за сумочку, перетягивая ее. Но в конечном итоге мужчина оказывается сильнее, отбирает сумочку и поспешно скрывается с ней.

В возможном мире w-1 мужчина совершил преступление, а именно ограбил женщину. В возможном мире w-2 мужчина хотя и ограбил женщину, тем не менее преступления не совершал просто потому, что в возможном мире w-2 нет понятия преступления. Как видно из этого примера, такое действие, как силой отобрать у какого-либо человека сумочку, принадлежащую этому человеку, против воли этого человека не является преступлением по своей сути. Более того, даже такое событие, как то, что произошло в возможных мирах w-1 и w-2, не является преступлением по своей сути или природе. Од-

нако в возможном мире w-1, где есть понятие преступления, оно все-таки будет расценено как преступление.

Несколько модифицируем данный пример. Представим два возможных мира w-1 и w-2. В возможном мире w-1 есть понятие преступления и преступлением считается ограбление. В возможном мире w-2 тоже есть понятие преступления, но преступлением считается только жульничество в карточных играх. Это единственное их различие. В обоих возможных мирах происходит ограбление женщины, описанное выше. Однако теперь также известно то, что ограбление совершил Билл, и это первый раз, когда он кого-то ограбил. Более того, Билл ранее никогда не совершал ничего такого, что в возможном мире w-1 считается преступлением, и ни разу в жизни не жульничал во время игры в карты. В таком случае для возможного мира w-1 языковое выражение «преступление, которое совершил Билл» интуитивно должно указывать на единственное действие Билла, которое в возможном мире w-1 можно квалифицировать как преступление. В возможном мире w-2, соответственно, данное выражение ни на что не указывает.

Возникает вопрос, является ли дескриптивным выражение «преступление, которое совершил Билл»? На первый взгляд создается впечатление, что да, в силу своей формы, о чем говорилось в начале работы. Интуитивно можно заключить, что описанию «преступление, которое совершил Билл» удовлетворяет одно и только одно определенное положение дел в мире w-1, в котором Билл совершает описанные выше действия, т.е. грабит женщину. Однако если в мире w-2 Билл совершает точно такие же действия, то как же объясняется то, что для возможного мира w-2 данное языковое выражение ни на что не указывает, хотя событие имело место в обоих возможных мирах?

Ответ на данный вопрос, как мы полагаем, дает юридический позитивизм Герберта Харта. Одним из центральных понятий его концепции является понятие аскриптивности. Харт пишет: «В нашем... языке существуют предложения, чья первичная функция состоит не в том, чтобы описывать вещи, события, лиц... но в том, чтобы производить действия, например заявлять о правах... признавать права, заявленные другим... приписывать права... передавать права... а также признавать, приписывать или вменять ответственность» [6. С. 343]. И далее: «Предложения „Я сделал это“, „Вы сделали это“, „Он сделал это“ представляют собой первичные высказывания, посредством которых мы признаем или допускаем обязанность, выдвигаем обвинения либо приписываем ответственность» [Там же. С. 360]. По мысли Харта, одним из аспектов юридического языка является приписывание. В ситуации, когда Алекс заявляет: «Это мое», – имея в виду сотовый телефон, он приписывает себе определенные имущественные права на предмет. Безусловно, в нашем мире имеет место множество правовых систем, следовательно, характер приписываемых прав определяется спецификой правовой системы, которая распространяется на агента речи или в которую он погружен. Может показаться, что Харт ограничивает сферу применения аскрипции, постулируя аскриптивность как свойство юридического языка. Однако мы полагаем, что аскриптивность представляет собой свойство не только юридического языка, но и обыденного. Более того, мы полагаем, что, в сущности, Харт в своей концепции не просто сужает сферу применения понятия аскрипции, но и упускает значимый ее аспект – онтологический.

В ситуации с языковым выражением «преступление, которое совершил Билл», которое является описательным в силу своей формы и которое стремится описать одно и только одно положение дел, не осуществляется референции. Мы не квалифицируем рассматриваемое выражение как неудачную дескрипцию, поскольку утверждаем, что фраза «преступление, которое совершил Билл» не является дескрипцией, несмотря на свою форму. На наш взгляд, рассматриваемая фраза является не описанием некоторого положения дел, а приписыванием определенного статуса.

Итак, давайте еще раз вернемся к возможным мирам $w-1$ и $w-2$. Напомним, что единственное различие между ними заключается лишь в том, что считается преступлением. Итак, Билл и в $w-1$, и в $w-2$ никогда не жульничал, играя в карты, и описанный случай – это первый раз, когда он кого-либо ограбил. Однако событие, которое в мире $w-1$ квалифицируется как преступление, имеет место и в $w-2$. В возможном мире $w-2$ мы, соответственно, не имеем никаких оснований для того, чтобы квалифицировать действия Билла как преступление. На основании этого мы делаем вывод о том, что одно и то же положение дел в одном возможном мире может быть квалифицировано как преступление, тогда как в другом – нет. Следовательно, положение дел, при котором Билл грабит женщину, само по себе еще не является преступлением. В случае с $w-1$ мы приписываем статус «преступления» действиям Билла. На основании этого мы делаем вывод о том, что преступление как таковое не имеет места.

Ситуация, при которой преступлений не существует, нас не устраивает. Квалификация выражения «преступление, которое совершил Билл» в качестве неудачной дескрипции, на наш взгляд, также в корне неверна. Интуитивно мы полагаем, что преступление должно иметь место, в противном случае вся правоприменительная практика основывалась бы на иллюзии существования неких преступлений и правонарушений. Однако благодаря аскриптивности, которую мы определяем как фундаментальное свойства языка, настоящая проблема разрешается. Итак, положение дел, при котором Билл совершает ограбление, имеет место в обоих возможных мирах, однако, в случае с $w-1$ мы приписываем ему статус преступления, поскольку у нас имеются достаточные для этого основания. В случае с $w-2$ мы этого не делаем, так как у нас нет для этого никаких оснований. Мы могли бы поступить в точности наоборот: в возможном мире $w-1$ не приписывать статуса преступления действиям Билла, но сделать это в $w-2$. В таком случае мы, очевидно, совершили бы ошибку: наши основания для приписывания статуса преступления действиям Билла в $w-2$ не выдерживают никакой проверки. Давайте представим ситуацию в $w-2$, в которой Джон обращается к Алексу со словами: «Преступление, которое совершил Билл, повергло меня в шок», – на что Алекс вполне может ответить: «Я не ожидал, что Билл окажется шулером». Очевидно, что приписывание статуса без достаточных на то оснований не выдержит проверки практикой языка, с необходимостью приведет к недопониманию. Мы утверждаем, что факт ошибки при приписывании статуса неизбежно обнаружится. И после обнаружения ошибки приписанный статус будет необходимо отменить.

Мы коснулись еще одного аспекта теории юридического языка Герберта Харта – отменяемости юридических высказываний. Под отменяемостью пра-

вовых понятий Харт понимает то, что они «подвержены аннулированию или „отмене“ по ряду различных обстоятельств, но сохраняются нетронутыми, если такие обстоятельства не наступили» [7. С. 248]. Логично предположить, что и аскриптивность, и отменяемость касаются исключительно юридического языка и к обыденному никакого отношения не имеют. Но, на наш взгляд, Харт все-таки существенно сужает поле применимости базовых понятий своей теории. Мы полагаем, что и отменяемость, и аскриптивность представляют собой свойства языка вообще, а не только юридического языка. И далее мы постараемся предоставить свои соображения по этому поводу.

Первое, о чем необходимо сказать, это то, что языковое выражение «преступление, которое совершил Билл» не является с необходимостью выражением юридического языка. Определяющим фактором для определения выражения как принадлежащего юридическому либо обыденному языку является контекст его употребления. Сторонники теории прямой референции, такие как Д. Каплан и Дж. Перри, закрепляют роль контекста в осуществлении референции. К примеру, демонстративы и индексалы, референт которых напрямую определяется конкретной ситуацией их употребления [8]. Определяющая роль контекста для прояснения характера функционирования языка также признается и Джоном Перри, который учитывает не только такие контекстуальные параметры, как агент, время, место и т.п., но и чистые демонстрации, характер ситуации употребления выражения и пр. [9]. Точно также контекст употребления выражения «преступление, которое совершил Билл» позволяет определить принадлежность к определенному дискурсу (например, правовому). Непосредственно юридические высказывания имеют отношения к правоприменительной практике, судопроизводству и т.д. В то же самое время случаются и ситуации употребления тех или иных выражений вне юридического дискурса, но косвенно отсылающих нас к нему. Это, однозначно, будут высказывания обыденного языка. Несложно предположить вполне повседневную ситуацию: Джон в разговоре со своим братом комментирует недавно прочитанный им в криминальной сводке сюжет предложением: «Преступление, которое совершил Билл, ужасно». На наш взгляд, очевидно, что данное предложение в данном контексте лишь косвенно отсылает нас к юридическому дискурсу и, будучи лишь косвенно правовым, все-таки является предложением обыденного языка. Безусловно, квалификация действий Билла как преступления, т.е. приписывание им соответствующего статуса, происходит, так сказать, в рамках юридического языка, из чего не следует, что всякое дальнейшее употребление данной аскрипции с необходимостью происходит именно в юридическом, а не в обыденном языке. Более того, Джон непосредственно не совершает никакого нового приписывания, а лишь соглашается к квалификации действий Билла как преступления. Нельзя также сказать, что если полицейский или государственный обвинитель квалифицировали действия Билла как преступные, то все дальнейшие употребления выражения «преступление, которое совершил Билл», относящиеся к обыденному языку, теперь являются дескрипциями. Однажды совершенное приписывание не является гарантом того, что ситуация не поменяется. Как было показано выше, любой приписанный статус может быть отменен. Приведенный ранее пример с возможными мирами w-1 и w-2 достаточно убедительно, на наш взгляд, демонстрирует несостоятельность попыток опреде-

лить рассматриваемое высказывание как дескриптивное. Однако мы ожидаем, что приведенная выше аргументация в пользу того, что выражение «преступление, которое совершил Билл» не является с необходимостью выражением юридического языка, может показать недостаточной. Ниже мы рассмотрим еще один пример употребления аскрипции в быденном языке.

Итак, давайте представим себе следующую ситуацию. Джон смотрит по телевизору трансляцию футбольного матча. В первом тайме происходит следующая ситуация: игрок одной из команд забивает мяч в ворота. Джон комментирует произошедшее словами: «Это был первый гол Джорджа Беста в этом сезоне». Однако рефери не засчитывает взятия ворот и в своем решении основывается на том, что в момент начала паса, который стал голевым, принимающий передачу футболист находился в положении «вне игры». Поняв, что произошло и почему гол не засчитан, Джон произносит: «Офсайд, в котором оказался Джордж Бест, было легко не заметить». Теперь давайте разберемся в том, что произошло на футбольном поле, и том, как произошедшее комментировал Джон.

Сперва обратимся к первому высказыванию Джона. Очевидно, что фраза «первый гол Джорджа Беста в этом сезоне» является описательной по своей форме. Однако она, как мы полагаем, не является дескриптивной, но представляет собой аскрипцию. Рассматриваемым выражением Джон приписывает статус взятия ворот определенному положению дел, при котором мяч полностью пересек линию ворот и при этом ни один из игроков команды, забившей гол, не нарушил правила. Поскольку Джон основывается лишь на увиденном на экране, он полагает, что у него есть все основания для того, чтобы квалифицировать произошедшее на поле как взятие ворот. В частности, он имеет пресуппозицию того, что мяч полностью пересек линию ворот и не было нарушений правил. Другими словами, Джон приписывает данному положению дел статус взятия ворот, руководствуясь определенным правилом и имея некоторые основания полагать, что ситуация полностью им соответствует. Безусловно, можно возразить, что конечное слово в футбольном матче остается за арбитром, и у Джона нет определенных полномочий засчитывать гол или не засчитывать. Однако мешает ли нам что-нибудь сформулировать пример, в котором Джон будет наблюдать за тем, как дети во дворе его дома играют в футбол?

Перейдем к факту отмены гола. Рефери, располагая достаточными основаниями, которые он, вероятно, получил от боковых арбитров, не находит возможным квалифицировать описанное выше положение дел как взятие ворот. Основанием для этого выступает то, что в соответствии с правилом «вне игры» он квалифицирует ситуацию как офсайд. Аналогичным образом и Джон, основываясь на тех же сведениях о положении игроков на поле относительно друг друга, соглашается с решением судьи и фразой «офсайд, в котором оказался Джордж Бест» приписывает уже иной статус рассматриваемому положению дел. Очевидно, что это оказывается возможным благодаря свойству отменяемости языковых высказываний, в частности аскрипций.

На наш взгляд, рассмотренный пример с футболом однозначно демонстрирует ситуацию употребления аскрипций вне юридического дискурса. Мы согласны с тем, что ситуация на футбольном поле имеет нечто общее с правовыми примерами их употребления: и «преступление, которое совершил

Билл» и «первый гол Джорджа Беста в этом сезоне» приписывают соответствующим положениям дел некоторый статус на основании определенного правила. В первом случае этим правилом выступает действующее положение закона, тогда как во втором – правило взятия ворот в футболе. Однако данное обстоятельство не является достаточным основанием для того, чтобы определить оба языковых выражения как принадлежащие к юридическому дискурсу. Более того, если вторая фраза, вероятнее всего, не имеет к нему отношения (если, конечно, мы не предполагаем, что она произносится во время судебного разбирательства по поводу, например, договорного матча или употребления допинга), то и первая фраза может фигурировать в неправоном контексте.

По мысли Стролла, аксиома референции является ложной постольку, поскольку в «в обыденной речи люди с одинаковым успехом говорят как о существующих предметах, так и о несуществующих» [10]. Про такие объекты, как гол в футболе или преступление, нельзя сказать, что они существуют, как мы говорим о столе или ноутбуке, поскольку аскриптивность языка предполагает конструирование реальности посредством введения нового объекта. Новый объект, гол или офсайд в футболе, вводится как бы «поверх» некоего существующего положения дел. И, как мы знаем, не только футбольные фанаты много говорят о голах и офсайдах, которые не существуют вне практики языка, но офсайд становится основанием для выполнения свободного удара. Нечто несуществующее вне языка оказывается достаточным основанием для некой деятельности.

Литература

1. *Stroll A.* Twentieth-Century Analytic Philosophy. New York, 2001. 304 p.
2. *Quine W.V.O.* Word and object. Cambridge : MIT Press, 1960. 294 p.
3. *Рассел Б.* Об обозначении : избранные труды / вступит. статья В.А. Суровцева; пер. с англ. В.В. Целищева, В.А. Суровцева. Новосибирск : Сиб. ун-в. изд-во, 2009. 260 с.
4. *Donnellan K.S.* Reference and Definite Descriptions // *The Philosophical Review*. 1966. Vol. 75, № 3. P. 281–304.
5. *Борисов Е.В.* Референциальное употребление определенных дескрипций: семантический и прагматический подходы // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. 2014. № 4 (16). С. 18–25.
6. *Харт Г.Л.А.* Приписывание ответственности и прав // *Касаткин С.Н.* Как определять социальные понятия? Концепция аскриптивизма и отменяемости юридического языка Герберта Харта. Самара, 2014. С. 343–367.
7. *Харт Г.Л.А.* Понятие права / пер. с англ.; под общ. ред. Е.В. Афонасина и С.В. Моисеева. СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 2007. 302 с.
8. *Kaplan D.* «Demonstratives», Themes from Kaplan // *J. Almog, J. Perry, H. Wettstein (eds.)*. Oxford : Oxford University Press, 1989.
9. *Perry J.* Indexicals, Contexts and Unarticulated Constituents // *Computing Natural Language / A. Aliseda, Rob van Glabbeek, Dag Westerstaahl (eds.)*. Stanford, CA : CSLI Publications, 1998.
10. *Макеева Л.Б.* Некоторые соображения о связи между референцией и онтологией // *Epistemology & Philosophy of Science*. 2010. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-soobrazheniya-o-svyazi-mezhdu-referentsiy-i-ontologiy> (дата обращения: 14.08.2019).

Alexandr G. Andrushkevich, Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation); Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: andryusha.fsf@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 51. pp. 5–13.

DOI: 10.17223/1998863X/51/1

THE ONTOLOGICAL STATUS OF ASCRIPTIVE EXPRESSIONS IN ORDINARY LANGUAGE

Keywords: language; ontology; ascription; description; Hart.

The criticism of “axioms of reference” leads us to a revision of existent views on the character of language functioning and ways of its connection with the reality. One of the ways to connect language and reality is reference, which modern analytic philosophy pays great attention to. At the same time, other aspects of language, the phenomenon of ascriptivism for instance, lack attention. In everyday language, there are expressions which are descriptive in the form but they do not describe any objects. Nevertheless, first, they are not counterintuitive, and, second, their usage leads to different extralinguistic consequences. The specificity of such expressions is being distinguished, and their connection with ontology is being identified. The example of a linguistic expression “the crime that Bill committed” demonstrates that some descriptive expressions are not really descriptions. The use of the expression “the crime that Bill committed” in two possible worlds is different only because crime is defined in different ways in each of the worlds. In case of the first possible world w-1 it is reasonable, whereas in case of the world w-2 it is not. In spite of the fact that a particular situation has happened in both of the possible worlds, in the possible world w-2 there was no occasion which can be indicated by the phrase “the crime that Bill committed”. It is concluded that some descriptive expressions do not tend to describe a certain object, but ascribe a certain status to an object. Herbert Hart elaborates the idea of ascription. Ascriptivism by Hart is a characteristic of the language of law. In the article, ascriptivism of everyday language is demonstrated. Thus, for example, the analyzed expression “the crime that Bill committed” can be both the phrase of the language of law and of everyday language depending on the context of its usage. Hart’s conception gives an impression that only expressions of the language of law have such qualities as ascriptivism and cancellation. On the example of goal scoring in football, ascriptivism and cancellation in everyday language are demonstrated. Ascriptivism of language represents another, different to the reference, way to connect language and reality. While descriptions point at a certain object, that is refer to it, ascriptive expressions construct ontology ascribing a certain status to an object thus introducing a new object. Such objects as crime, goal and offside do not exist outside the practice of language. For example, having a good reason, circumstances when during the game the ball crosses the line of the gate can be qualified as a goal. However, in the situation of a foul, circumstances when the ball crosses the line of the gate will not be qualified as a goal.

References

1. Stroll, A. (2001) *Twentieth-Century Analytic Philosophy*. New York: Columbia University Press.
2. Quine, W.V.O. (1960) *Word and Object*. Cambridge: MIT Press.
3. Russel, B. (2009) *Ob oboznachenii: Izbrannye trudy* [About the designation: Selected Works]. Translated from English by V.A. Surovtsev, V.V. Tselishchev. Novosibirsk: Sib. univ. izd-vo.
4. Donnellan, K.S. (1966) Reference and Definite Descriptions. *The Philosophical Review*. 75(3). pp. 281–304.
5. Borisov, E.V. (2014) Referential use of definite descriptions: semantic and pragmatic approaches. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 4(16). pp. 18–25. (In Russian).
6. Hart, G.L.A. (2014) Pripisyvanie otvetstvennosti i prav [Attribution of responsibility and rights]. In: Kasatkin, S.N. *Kak opredelyat' sotsial'nye ponyatiya? Kontseptsiya askriptivizma i otmenyamosti yuridicheskogo yazyka Gerberta Kharta* [How to define social concepts? The concept of ascriptivism and revocability of the legal language of Herbert Hart]. Samara: Samara Academy for the Humanities. pp. 343–367.
7. Hart, G.L.A. (2007) *Ponyatie prava* [The concept of law]. Translated from English by E.V. Afonasin, S.V. Moiseev. St. Petersburg: St. Petersburg State University.
8. Kaplan, D. (1989) “Demonstratives”, *Themes from Kaplan*. Oxford University Press.
9. Perry, J. (1998) Indexicals, Contexts and Unarticulated Constituents. In: Aliseda, A., Glabbeek, R. van & Westerstahl, D. (eds) *Computing Natural Language*. CSLI Publications.
10. Makeeva, L.B. (2010) Nekotorye soobrazheniya o svyazi mezhdru referentsiey i ontologией [Some considerations on the relationship between reference and ontology]. *Epistemology & Philosophy of Science*. 3 [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-soobrazheniya-o-svyazi-mezhdru-referentsiey-i-ontologiy> (Accessed: 14th August 2019).

УДК 1.16

DOI: 10.17223/1998863X/51/2

Г.Г. Антух

ПАРАДОКС НЕРЕДУКТИВНОГО ОБЪЯСНЕНИЯ

Обсуждается проблема философских оснований научной редукции в контексте противопоставления редуктивного и нередуктивного объяснений. Проводится анализ редуктивной модели Дж. Смарта с привлечением теории идентичности типов. Рассматривается нередуктивная объяснительная стратегия, предложенная философом-эволюционистом К. Лоренцем. Закон «фульгурации» Лоренца сравнивается с концепцией нередуктивного эмерджентизма и принципом «системности» гештальт-психологии. Демонстрируется противоречивость нередуктивной объяснительной модели и делается вывод о необходимой связи редукции и объяснения.

Ключевые слова: объяснение, редукция, причинность, редукционизм, фульгурация, эмерджентность, редуктивное и нередуктивное объяснения.

Наука выполняет различные функции, из которых следующие три составляют ее смысл и самоценность: описание, объяснение и предсказание явлений. Описание – первый шаг на пути к научному осмыслению мира, суть его сводится к экспликации класса феноменов и выявлению общих признаков, им присущих. Описание нельзя считать полным без научного объяснения, раскрывающего сущность явлений, результатом которого в случае его релевантности фактам мира становятся научные законы, позволяющие с той или иной вероятностью предсказывать поведение изучаемых объектов – атомов, молекул, небесных тел, микроорганизмов, животных, человека, общества и т.д. Несмотря на важность каждой из обозначенных функций науки, особый интерес для философского анализа представляет научное объяснение.

Не касаясь частностей, объяснить означает представить сложное через простое, неизвестное через уже известное, а целое через его части. Наука дает структурные, функциональные, генетические, каузальные, телеологические (и прочие?) объяснения. Один из вопросов, на который пытается ответить современная философия науки, может быть сведен к следующей формулировке: какова связь между объяснением и редукцией? В широком смысле редукция – это упрощение, а редукционизм – учение о том, что всякое знание о частном может быть выражено знанием об общем. Радикальный ответ на поставленный вопрос предполагает две точки зрения, высказывающиеся, с одной стороны, за необходимую связь объяснения и редукции, с другой – против отождествления данных понятий. Кратко обсудим специфику редуктивного и нередуктивного объяснений.

Редуктивное и нередуктивное объяснения

Редуктивное объяснение – это тип научного объяснения, подразумевающий возможность перевода языка высокоуровневых теорий на язык теории фундаментальной. Считается, что для редуцируемости области знания *A* к области знания *B* необходимо выполнение двух условий: 1) определимость понятий *A* в терминах *B*; 2) выводимость высказываний *A* из высказываний *B*.

В методологической литературе различается редукция первого и второго порядка [1]. Редукция первого порядка осуществляется в случае однотипных теорий с общими понятиями и едиными принципами, описывающими однородные явления. Для примера, редукция первого порядка когда-то продемонстрировала связь законов Кеплера с механикой Ньютона, а теория электромагнетизма Д. Максвелла свела вместе феномены электричества и магнетизма [2]. Редукция второго порядка направлена на синтез неоднотипных теорий, описывающих и объясняющих разнородные классы феноменов, с целью сведения их к единому теоретическому компендиуму. Редукция данного типа – если полагаться на авторитетное мнение некоторых исследователей, таких как, например, Э. Нагель [3] и П. Фейерабенд [4] – порождает серьезные трудности теоретического и философского характера, преодолеть которые без допущений порой не представляется возможным. Для справки, философское обсуждение редуктивных отношений второго порядка в естествознании было инициировано исследованиями комплементарности ньютоновской механики и теории относительности, химии и атомной физики, газовых законов и статистической механики [5].

Предметом редукции второго порядка может выступать синтез не только частнонаучных концепций, но и теорий, относящихся к различным отраслям науки. В современной аналитической философии широко обсуждается возможность редукции данного типа между математикой и логикой, психологией и нейрофизиологией, биологией и химией, каузальным и телеологическим объяснениями причинных связей и т.д. Пожалуй, всего два масштабных проекта за последнее столетие оказались ближе всего к целям редукции данного типа – логицизм и физикализм. Многочисленные дискуссии дали понять, что цели эти в полной мере так и не были достигнуты. Программа логицизма Б. Рассела и А.Н. Уайтхеда [6] по редукции чистой математики к логике с самого начала вызвала у математиков и логиков скепсис из-за необоснованности отдельных аксиоматических допущений, а ее критика позволила сформулировать ряд теоретических проблем, на решение которых сегодня направлены силы отечественных и зарубежных исследователей [7]. Физикализм же увяз в междисциплинарных разночтениях и противоречиях на уровне фундаментальной физической теории, где, если верить популярным изложениям по астрофизике, до сих пор нет единого мнения даже в отношении таких общих понятий, как пространство и время [8]. Тем не менее редукционизм в науке и философии никогда не терял своей привлекательности для исследователей. Видимо, такова участь каждой радикальной идеологии: подкупить своей избыточной простотой и остаться недостижимым идеалом. И хоть концепция редуктивного объяснения удачно вписалась в логику современных представлений о природе и развитии научного знания, все чаще философы и ученые вынуждены обращаться к нередуктивным способам объяснения.

Нередуктивное объяснение – это объяснение, исключающее возможность однозначного сведения высокоуровневых теорий к общим принципам и закономерностям. В случае нередуктивного объяснения понятия и высказывания теории T не определены в понятиях и высказываниях фундаментальной теории T' . Аналогично редуктивному объяснению нередуктивная стратегия может применяться как на уровне частнонаучной методологии для

однотипных и неоднотипных теорий, так и в случае трансдисциплинарного синтеза. Нередуктивные допущения в научном объяснении встречаются довольно часто, но так же часто сменяются редуктивным объяснением спустя время, когда вновь полученные теоретические или эмпирические данные позволяют восполнить объяснительные лакуны. Так, на смену гипотетической нередуктивной теории флогистона, объясняющей множество химических феноменов, пришла редуктивная теория кислородного горения. Подобным образом нередуктивная концепция теплорода сменилась молекулярно-кинетической теорией. Отсюда можно предположить, что нередуктивное объяснение на частнонаучном уровне есть всего лишь временная мера – подготовительный этап на пути к объяснению редуктивному. Тогда успех перехода от гипотетической нередуктивной модели к полноценному редуктивному объяснению всецело зависит от научного прогресса. Стоит ли в таком случае подвергать философской ревизии то, что в ней совсем не нуждается?

Другое дело – это работа с наиболее общими фундаментальными понятиями.

Для философии в силу ее специфики и предназначения нередуктивное объяснение является необходимой мерой. Нужно ли говорить о происхождении полярных понятий и дизъюнктивных принципов, повсеместно используемых в философии? В их число входят и устоявшиеся категориальные оппозиции философского анализа, такие как «идеальное–материальное», «объективное–субъективное», «реальное–виртуальное» «дескриптивное–нормативное» и т.д., и многие другие антитезы и дистинкции, встречающиеся в авторских концепциях: «эйдосы» и «вещи» Платона, «*res cogitans*» и «*res extensa*» Р. Декарта, «мышление» и «протяженность» Б. Спинозы, «феномены» и «*ноумены*» И. Канта, «смысл» и «значение» Г. Фреге и т.п. В случае с нередуктивными сущностями, описываемыми той или иной доктриной, действует аналогичное правило: в рамках фундаментальной теории T существуют объекты типа P и Q , где ни для одного x из Q не существует y из P таких, что $x = y$. Основная сложность работы с нередуктивными философскими принципами в применении к частнонаучным концепциям заключается в выборе непротиворечивой последовательности философских установок таким образом, чтобы нередуктивные сущности не попадали под одни и те же концептуальные основания. В современной аналитической философии и философии науки имеется определенная группа концепций, явно игнорирующих этот запрет.

Общим основанием данных концепций выступает положение о существовании нередуктивных свойств универсума, будь то органической материи, психики, сознания, разума, общества, культуры, смысла или информации, – и в то же время утверждается возможность их адекватного описания и объяснения по нередуктивному типу. Формально это означает, что фундаментальная теория T' , описывающая объекты P и Q , где ни для одного x из Q не существует y из P таких, что $x = y$, включает объекты z , для каждого из которых выполняется условие: если $z = x$, то $z = y$. Несложно понять, что существование нередуктивного свойства z , связывающего сущности x и y , прямо противоречит их онтологическим предпосылкам. Как правило, сторонники нередуктивных объяснительных моделей оставляют это замечание без внимания, акцентируя его, скорее, на эпистемологических аспектах проблемы редукции, что, как будет показано, несколько искажает суть дела. Тем не

менее подобный тип философской рефлексии занимает умы многих ученых и особо распространен среди исследователей, работающих в развивающихся областях интегративной науки – когнитивистике, нейрофилософии, философии биологии, философии сознания и философии искусственного интеллекта. Среди концепций, опирающихся на аналогичные принципы, в современной философии можно выделить концепцию эмерджентности, учение о супервентности и частично основанную на этом учении теорию сознания Д. Чалмерса, которая ранее уже разбиралась на предмет противоречий [9]. Задача настоящей статьи – показать непоследовательность философской трактовки нередуктивного объяснения данного типа. Однако для начала имеет смысл в общих чертах представить онтологические и эпистемологические основания редукционизма.

Редукция и учение о полноте реальности

Для ясности обратимся к определению редуктивных отношений, сформулированному Дж. Смартом и гласящему: «Сущность x сводится к сущности y тогда и только тогда, когда x не существует „сверх“ y » [10. Р. 143]. Нагляднее всего данный тип связи может быть представлен с точки зрения «школьного учебника» естествознания. Например, физико-химические редуктивные отношения предполагают, что химические свойства на молекулярном и атомарном уровнях существуют, только если существуют фундаментальные физические атомарные и субатомарные свойства. Также все эффекты или изменения на молекулярном уровне связаны с изменениями на уровне атомарном. Другой пример можно позаимствовать у психологов, разделяющих физиолого-редукционистские взгляды на природу психики. Согласно данной позиции все психические функции, в том числе и высшие формы рефлексивного самосознания, редуцируемы к психо- и нейрофизиологическому субстрату и должны быть объяснены в терминах физиологии. Более подробную трактовку редукционизма смартовского типа предлагает «теория идентичности типов».

В соответствии с данной теорией редукция осуществляется тогда, когда для типов некоторой области F_1 (например, психологии) существуют типы области F_2 (нейрофизиологии), такие что для любого x в F_1 существует y в F_2 , где $x = y$. В свое время Г. Фейгл, отвечая на вопрос о связи ментального и физического, высказался в пользу теории идентичности типов с тем, что определенные поведенческие паттерны вполне могут быть в будущем отождествлены с некоторыми типами нейрофизиологических процессов [11]. Сегодня, к слову, для многих нейроученых стало обыденным делом проводить подобные отождествления, которые между тем успешно приживаются в массовой культуре. Случается услышать нечто подобное: «за страх и агрессию отвечает адреналин и норадреналин», «...за сочувствие и эмпатию – зеркальные нейроны», а «...за кратковременную память – гиппокамп» и т.п. Философы-натуралисты не упускают возможности подчеркнуть слабость такого рода редукционизма. Д. Деннет точно подметил: «В адреналине столько же гнева или страха, сколько глупости в бутылке виски. Эти субстанции так же не имеют отношения к психическому, как не имеют отношения к нему бензин или углекислый газ» [12. С. 82]. Впрочем, вопреки поспешности некоторых обобщений, редуктивная стратегия менее обоснованной не становится. Если

мы все же соглашаемся с тем, что психические типы идентичны физиологическим типам, а психические феномены должны объясняться в терминах нейрофизиологии, то мы вынуждены признать, что психологическая теория редуцируема к физиологии. Вопрос о том, являются ли теории F_1 и F_2 частью общей фундаментальной теории F' , перестает быть хоть сколько-нибудь значимым после однозначного решения в пользу смартовского редукционизма.

Фундаментальным аспектом редукционизма Смарта, что немаловажно, выступает принцип онтологической преемственности и единообразия, указывающий на необходимость признания детерминистской установки. Условия редукции, данные в части «тогда, когда x не существует „сверх“ y », возможно представить в виде двух импликаций: 1) если существует y , то x может существовать; 2) если существует x , то необходимо существует y . Рассуждая по аналогии, можно предположить, что из онтологического постулата, устанавливающего идентичность типов x и y , следует каузальная обусловленность подпадающих под них объектов. Например, Нагель предлагает следующую интерпретацию редукции психического к физическому: «Объяснить головную боль, значит установить все физические, химические и физиологические условия, при которых она возникает» [3. Р. 366]. В нашем случае каузальная аналогия требует сопоставления событий: S_x – «головная боль» и P_y – «условия, при которых она возникает», где S_x не существует, если не существует P_y . Теперь становится понятным, почему нельзя согласиться с фактической обусловленностью событий, но отказать им в причинной взаимосвязи, сохранив при этом твердое убеждение в непротиворечивости собственной позиции. Прочие трактовки, помимо той, которая подразумевает возможность сопоставления принципа идентичности типов с принципом причинности, малоубедительны. И хоть принцип Смарта ничего не утверждает о причинности, детерминизм имплицитно содержится в нем и усматривается с необходимостью логического следования.

И в самом деле, достаточно обратиться к спекулятивной истине о том, что *все происходящее имеет свою причину*, чтобы понять, что смартовский редукционизм апеллирует к интуитивно понятным, но, как показал в свое время Д. Юм, эпистемологически необоснованным положениям. Уточним, что в структуре причинности Юм выделил несколько основных аспектов: последовательность событий, физический контакт и логическую необходимость их связи. Первое и второе Юм предпочел списать на счет тривиальной очевидности, но вот аспект логической необходимости связи событий подверг критике, указав на индуктивную природу принципов, устанавливающих каузальные связи. Если Солнце до этого момента всегда всходило на востоке, из этого не следует, что завтра или через миллионы лет это повторится вновь. Все дело в силе привычки и наших ожиданиях, которые, однако, не сообщают ничего достоверного о бесконечном количестве вариантов вероятного будущего. И хоть Юм и показал, что у нас нет и не может быть достоверного знания о необходимой взаимосвязи тех или иных событий, само знание о том, что такие связи существуют, он не оспаривал. К сожалению, некоторые современные философы, отстаивающие принципы нередуктивного объяснения, примеру Юма не следуют и не проводят различий между онтологическими и эпистемологическими основаниями своих концепций. Рассмотрим некоторые положения одной из них.

Эпистемологические предассудки нередуктивного объяснения

По мнению выдающегося зоопсихолога и одного из основоположников этологии К. Лоренца, склонность к противопоставлению общих понятий, таких как, например, природа и культура, душа и тело, животное и человек и т.д., «есть форма мышления, которая, как и стремление к объяснению из единого принципа, несомненно является у человека врожденной» [13. С. 67]. Тут же Лоренц замечает, что биологическая целесообразность принципа экономии мышления, выраженного, в частности, в противопоставлении полярных понятий и дизъюнктивных принципов, совсем не способствует целесообразности исследовательской и порой затемняет здравый смысл. Поиск однозначно редуктивного объяснения фактов может считаться потребностью, экономически прозрачной, но сопутствующие подобному объяснению допущения зачастую требуют взаимоисключения таких понятий, которые в действительности описывают то, что сосуществует вместе и должно быть понятно и объяснено как нечто неотъемлемое, но взаимодополняющее друг друга. Противопоставление следующего рода, по мнению Лоренца, как раз и демонстрирует это.

Можно утверждать, что все процессы в нашем мире не более чем химические и физические явления, в том числе и интрапсихические феномены, основанные на физиологических механизмах, суть не более чем высокоуровневые физико-химические процессы. Правомерно защищать и противоположную точку зрения, согласно которой человек и его психика, его духовная жизнь и культура есть вещи, принципиально отличные и не сводимые к сумме химических и физических свойств. Противоречие между данными точками зрения, полагает Лоренц, лишь кажущееся, а преодоление этой мнимой проблемы может быть найдено в онтологическом учении Н. Гартмана и каузально-аналитической биологии. Несколько упрощенно концепция, к которой склоняет своего читателя Лоренц, состоит в следующем. Мир складывается из четырех основных (по Гартману, «великих») категорий *реального* бытия: неорганического, органического, психического и духовного уровней. Каждый следующий уровень основывается на предыдущем, но не может быть полностью сведен к одному из них. Из этого, например, не следует, что принципы природы на неорганическом и органическом уровнях теряют свою силу в сфере сознательной и духовной жизни [человека], наоборот, законы низших слоев бытия действуют в области высших, но не исчерпывают их, так как за каждой границей данных уровней дополнительно действуют законы высших уровней. В попытке дать рациональное объяснение появлению нередуктивных высокоуровневых свойств Лоренц предлагает причудливую формулу, замечая при этом: «...вследствие одностороннего характера проникновения между слоями или уровнями интеграции к ним неприменима форма мышления, основанная на взаимоисключающих противоположностях» [Там же. С. 68]. Из этого следует, что *B* никогда не есть не-*A*, но только $A + B$, *C* есть $A + B + C$ и т.д. Положим, «сознание» никогда не есть «не-тело», но только «тело + сознание», а «человек» никогда не есть просто «не-животное», но исключительно «животное + человек». Иллюстрацией к данному принципу мышления Лоренц предлагает взаимодополнение двух систем в цепи конденсатора и катушки. Великий ученый замечает, что по отдельности электриче-

ская цепь с конденсатором и цепь с катушкой якобы не демонстрируют того системного качества, которое появляется в случае, когда в одну цепь включены и катушка, и конденсатор. Только одно, кажется, забывает Лоренц: подобные эффекты в электрической цепи с переменным током не принадлежат к различным уровням онтологии, да и вообще редуکتивно объясняются в учении об электрических цепях. Что же касается содействия причин, то на заре позитивизма Дж.Ст. Милль уже рассказал об индуктивных принципах и о том, каким образом следует толковать подобные эффекты. В случае же с возникновением новых «уровней бытия», тут все представляется намного прозаичнее.

Популярное некогда учение об «эмерджентности» широко обсуждалось в кибернетике, теории систем, философии науки, философии сознания, биологии, психологии, социологии и т.д. Сам Лоренц отмечает, что понятие эмерджентности кажется ему многозначным, и, как полагается первооткрывателю, предлагает свой термин «фульгурация» (от лат. *fulguration* – вспышка молнии). Несмотря на терминологические новации, методологические принципы, отстаиваемые Лоренцем, недвусмысленно указывают на его приверженность теории эмерджентности, что в общем виде он демонстрирует своим «законом». Независимо от обозначения этой концепции, суть ее может быть сведена к нескольким утверждениям: 1) в мире существуют простые и сложные объекты; 2) сложные объекты складываются из простых; 3) сложные объекты могут обладать качествами, не присущими ни одному простому объекту, а также свойствами, не сводимыми к сумме свойств составляющих его объектов. Собственно, весь пафос с долей научного мистицизма сторонники эмерджентности данного типа вкладывают во вторую часть утверждения 3, гласящую, что сложные объекты могут обладать качествами, которые не сводимы к сумме качеств составляющих их объектов. Данный принцип мышления в несколько иной формулировке в начале прошлого века отстаивали гештальт-психологи. Протест против укоренившегося в психологии того времени структурализма В. Вундта и Э. Титченера сопровождался антиредукционистским лозунгом: «Целое не всегда равно сумме его частей» [14. С. 290]. Лозунг этот как нельзя лучше описывает смысл и следующий из него парадокс нередуکتивного объяснения. Ведь если мы соглашаемся с тем, что известное целое не равно сумме его частей, чему же оно тогда равно? В случае, если мы попытаемся взглянуть на вещи с позиции спекулятивной метафизики, положение дел можно оценить двояким образом.

Основное противоречие

Научная теория, как известно, не имеет дела с чистым опытом, но всегда с концептуально «нагруженным» мировосприятием. Несмотря на то, что предметом рассмотрения научной теории выступают идеализированные объекты, их прототипы укоренены в случайных предпосылках познания, данных в опыте. Стало быть, каждый следующий теоретический объект или система объектов суть абстракция от случайных предпосылок из опыта, а значит, и последовательность таких систем и подсистем оказывается случайной, что, строго говоря, указывает на спонтанность теоретического знания в эмпирических науках. Каждое целое из опыта всегда есть часть целого сверхопытного необозримого в рамках конкретного изучения. Целым можно обозначить

только предмет мышления, за границами которого, без всяких сомнений, простирается бесконечное множество возможностей интерпретации части как целого и целого как части. После признания фундаментальной неопределенности опыта и, что само собой разумеется, спонтанности всякого утверждения, на нем основанного, следует признать, что за выражением «целое не всегда равно сумме его частей» не скрывается ничего принципиально значимого для прояснения специфики нередуктивного объяснения, если таковое вообще мыслимо в границах здравого смысла. В этом случае траектория эвристического потенциала, описываемая данным принципом, совпадает с классической формулой научного метода, подразумевающего планомерное движение от фактически известного к гипотетически неизвестному, направление которого главным образом диктуется индуктивным методом – основным методом эмпирического естествознания.

Решающим же для нашего обсуждения является то обстоятельство, что без возможности редуктивных отношений связи между исходными посылками и общими положениями не могли бы состояться вообще. Скажем, такие факты, как смерть Сократа, Платона, Аристотеля и еще многих известных и неизвестных людей, предпосылают к общему выводу о смертности каждого человека. Общее понятие «человек» и атрибутируемое ему свойство «смертность» редуктивно распространяются на каждое отдельное частное, описываемое термином «человек». Более того, возможность редуктивного объяснения предполагает наличие каузальных отношений между изучаемыми объектами. Для примера обратимся к индуктивному утверждению, описывающему каузальную связь: «Каждый раз, когда идет дождь, крыши домов становятся мокрыми», – где событие причины – «дождь», а событие следствия – «мокрые крыши». Известно, что в этот четверг в центре Дрездена прошел ливень, из чего мы делаем небезосновательное предположение о том, что крыши домов в исторической части города сухими не остались. Однако как быть в случае, если какой-то из домов в этом районе города избежал похожей участи? Ожидаемо, задачей становится поиск причины, по которой дом этот стал исключением из общего правила. Но что бы сделал сторонник концепции нередуктивного объяснения, столкнувшись с подобной проблемной ситуацией? Возможно, он объявил бы о «системном свойстве» крыш домов, состоящих из черепицы с зеленым отливом, не намокать по четвергам в центре Дрездена. Может ли претендовать подобная формулировка на статус положения, описывающего закономерные регулярные связи? Вероятнее всего, нет. В любом случае трудностей за таким прочтением нередуктивных отношений видеть не стоит, в отличие от буквальной трактовки.

Как представляется, понятие целого обозначает то же, что и понятия сложного, составного или суммы. Взятые вместе A и B как целое тождественно целому A и B , как и сумма $X + Y$ равняется сумме $X + Y$ или $Y + X$, иные вариации логически незаконны. Стало быть, если «целое» как принцип суть то же, что и «сумма», то обозначения «целого» и «суммы» взаимозаменяемы в предложениях, частью которых они являются. Воспользовавшись возможностью взаимозаменяемости данных обозначений, перефразируем тезис гештальт-психологии: «Сумма не всегда равна сумме собственных частей». Усугубить и без того шаткое положение противоречивого высказывания поможет подстановка слова «слагаемое» на место слова «часть». Как видно,

буквальное прочтение принципа «системности» в трактовке гештальт-психологии низводит претенциозный принцип до бессмыслицы. Закон *фульгурации* Лоренца в этом смысле в лучшую сторону не отличается. Допустим, B никогда не есть не- A , но только $A + B$. Пусть A есть известная часть неизвестного целого B . Отвечая на вопрос о предпосылках *неизвестного- B* , я, согласно принципу Лоренца, должен думать, что B есть *известное- A + неизвестное- B* . Согласившись с такой постановкой вопроса, я не узнаю ничего нового, помимо того, что уже было налицо – в моем распоряжении по-прежнему *известное- A* , о котором я определенным образом осведомлен, и *неизвестное- B* . Для примера обратимся к противопоставлению «животное–человек» и обозначим A как «животное», B – «человек». Тогда B -человек есть A -животное + B -человек. Ситуация похожая, ничего нового о «человеке», кроме того, что он «животное», не открывается. Вероятно, арифметическое сравнение будет куда нагляднее. Положим, мы имеем некоторую переменную x , в отношении которой нам ничего не известно, кроме того, что значительную часть ее составляет y . Пусть числовое значение y равняется 5, тогда, следуя учению Лоренца, искомый x может быть найден через следующую подстановку: $x = 5 + x$. Достаточно заменить x на любое число, чтобы понять, что данная формула противоречива: если $x = 1$, то получается, что $1 = 5 + 1$. И вновь формула Лоренца в приложении не демонстрирует никакой ясности. Быть может потому, что она алогична?

В целом настоящее исследование позволило выявить ряд принципиальных вопросов относительно проблемы соотношения редукции и объяснения. Первое предположение может быть сведено к радикальному тезису о необходимой связи объяснения и редукции, что, собственно говоря, означает, что объяснения без редукции не бывает. Не менее важным аспектом рассмотренной проблемы выступает вопрос о соотношении редукции и причинности. Всегда ли редуктивные отношения предполагают наличие каузальных связей? Положительный ответ на поставленный вопрос является вторым предположением. Основным выводом, результирующим затронутые темы, следует считать утверждение о бессосновательности концепции нередуктивного объяснения.

Литература

1. Рузавин Г.И. Научная теория. Логико-методологический анализ. М. : Мысль, 1978. 244 с.
2. Микешина Л.А. Редукционизм как проблема философии науки и эпистемологии // Эпистемология и философия науки. 2013. Т. XXXVII, № 3. С. 5–13.
3. Nagel E. The Structure of Science: Problems in the Logic of Scientific Explanation. New York : Harcourt, Brace, 1961. 618 p.
4. Фейерабенд П. Объяснение, редукция, эмпиризм // Избранные труды по методологии науки. М. : Прогресс, 1986. 542 с.
5. Scientific Reduction // Stanford Encyclopedia of Philosophy. URL: <https://plato.stanford.edu/entries/scientific-reduction/>
6. Whitehead A., Russell B. Principia Mathematica : in 3 vols. New York : Cambridge University Press, 1910–1913.
7. Ладов В.А. Решение логических парадоксов в семантически замкнутом языке // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 52, № 2. С. 104–119.
8. Хокинг С., Млодинов Л. Кратчайшая история времени / под ред. А.Г. Сергеева. СПб. : Амфора, 2014. 184 с.

9. Антух Г.Г. О самопротиворечивости антифизикализма в теории сознания Д. Чалмерса // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2018. № 45. С. 92–102.

10. Smart J. Sensations and Brain Processes // Philosophical Review. 1959. № 68. P. 141–156.

11. Feigl H. The “Mental” and the “Physical”. The Essay and a Postscript. Minneapolis : University of Minnesota Press, 1967. 192 p.

12. Деннет Д. Виды психики: на пути к пониманию сознания. М. : Идея-Пресс, 2004. 184 с.

13. Лоренц К. Обратная сторона зеркала. Восемь смертных грехов цивилизованного человечества : [сб.] / пер. с нем. А.И. Федорова. М. : АСТ, 2019. 480 с.

14. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии / под ред. А.Д. Наследова; пер. с англ. А.В. Говорунов, В.И. Кузин, Л.Л. Царук. СПб. : Евразия, 2002. 532 с.

Gennady G. Antukh, Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: g.antukh@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 51. pp. 14–24.

DOI: 10.17223/1998863X/51/2

THE PARADOX OF A NON-REDUCTIVE EXPLANATION

Keywords: explanation; reduction; causality; reductionism; fulguration; emergence; reductive and non-reductive explanation.

One of the questions that contemporary philosophy of science is trying to answer is how the concepts of explanation and reduction are related. There are two polar positions on the question: one approves the necessary connection between explanation and reduction, and the other is against the identification of these concepts. The principles of reductive explanation imply the possibility of translating the language of high-level theories into the language of fundamental theory. From a philosophical point of view, this means that entities postulated by a high-level theory exist only if there are objects described by the fundamental concept. This view on the problem of reduction entails the need to accept the principle of ontological homogeneity and, as a result, the deterministic stance which in essence does not give rise to contradictions in the case of the methodology of empirical natural science. A non-reductive explanation model denies the possibility of an unequivocal translation of high-level theories into general principles and laws. The main problem of the concept of non-reductive explanation is the statement of the existence of entities non-reducible to the fundamental theory, yet knowable. It seems that this position does not stand up for non-contradiction testing and is inconsistent with the epistemological principles of natural science. In the article, John Smart's reductive model is analyzed with the involvement of the type identity theory. The non-reductive explanatory strategy proposed by the philosopher-evolutionist Konrad Lorenz is considered. Lorenz's law of “fulguration” is compared with the concept of non-reductive emergentism and with the “systemic” principle of Gestalt psychology. The incoherence of the non-reductive explanatory model is demonstrated, and the conclusion is made about the necessary connection between reduction and explanation.

References

1. Ruzavin, G.I. (1978) *Nauchnaya teoriya. Logiko-metodologicheskii analiz* [Scientific theory. Logical and methodological analysis]. Moscow: Mysl'.

2. Mikeshtina, L.A. (2013) Reductionism as a Problem of Philosophy of Science and Epistemology. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 37(3). pp. 5–13. (In Russian).

3. Nagel, E. (1961) *The Structure of Science: Problems in the Logic of Scientific Explanation*. New York: Harcourt, Brace.

4. Feyerabend, P. (1986) *Izbrannyye trudy po metodologii nauki* [Selected Works on the Methodology of Science]. Translated from German. Moscow: Progress.

5. Zalta, E.N. (ed.) (n.d.) *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. [Online] Available from: <https://plato.stanford.edu/entries/scientific-reduction/>

6. Whitehead A. & Russell, B. (1910–1913) *Principia Mathematica*. In 3 vols. New York: Cambridge University Press.

7. Ladov, V.A. (2017) Reshenie logicheskikh paradoksov v semanticheski zamknutom yazyke [The solution of logical paradoxes in a semantically closed language]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 52(2). pp. 104–119.
8. Hawking, S. & Mlodinov, L. (2014) *Kratchayshaya istoriya vremeni* [A Briefer History of Time]. Translated from English. St. Petersburg: Amfora.
9. Antukh, G.G. (2018) On self-contradiction of antiphysicalism in David Chalmers' theory of consciousness. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 45. pp. 92–102. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/45/10
10. Smart, J. (1959) Sensations and Brain Processes. *Philosophical Review*. 68. pp. 141–156. DOI: 10.1007/978-1-349-15364-0_3
11. Feigl, H. (1967) *The “Mental” and the “Physical”. The Essay and a Postscript*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
12. Dennett, D. (2004) *Vidy psikhiki: Na puti k ponimaniyu soznaniya* [Kinds of Minds: Towards an Understanding of Consciousness]. Translated from English by A. Veretennikov. Moscow: Ideya-Press.
13. Lorenz, K. (2019) *Oborotnaya storona zerkala. Vosem' smertnykh grekhov tsivilizovannogo chelovechestva* [The back side of the mirror. Eight Deadly Sins of Civilized Mankind]. Translated from German by A.I. Fedorov. Moscow: AST.
14. Schulz, D.P. & Schulz, S.E. (2002) *Istoriya sovremennoy psikhologii* [A History of Modern Psychology]. Translated from English by A.V. Govorunov, V.I. Kuzin, L.L. Tsaruk. St. Petersburg: Evraziya.

УДК 165.9

DOI: 10.17223/1998863X/51/3

Е.З. Бахтиярова, Р.А. Юрьев

МИФООБРАЗЫ СУДЬБЫ КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ КАТЕГОРИЙ ФИЛОСОФИИ И НАУКИ

Тот, кто духом не проникнет
В толщу трех тысячелетий,
К темноте как крот привыкнет,
Век живя на белом свете.

И. Гёте

Рассматривается идея укорененности концептуально-понятийного каркаса философских и научных онтологий в глубинах древнего дотеоретического жизненного опыта архаических людей, в мифосозерцании которых оседали смыслосложившиеся и мировоззренческие представления и образы. Анализируется судьба как культурная универсалия, содержание которой представляет комплекс мифообразов – необходимости и случайности, закона, причины, времени, которые в результате осмысления в философии и науке сформировались как фундаментальные категории.

Ключевые слова: судьба как универсалия культуры, мифообразы судьбы, категории науки и философии, научная онтология.

Человечество уверенно шагнуло в XXI век, благодаря научным знаниям и техническому прогрессу открываются невиданные ранее горизонты развития цивилизации. Начиная с XVII в. наука становится центром западной культуры, определяя мировоззрение и направляя вектор развития цивилизации, но появляется она не на пустом месте, а пройдя большой путь становления и развития от мифологических и философских построений к научному способу познания. Обращение к мифологическим и философским основаниям науки – это поиск и выявление «корней», истоков, сделавших (в смысле создавших) науку и сохраняющих свое значение в имплицитном виде в настоящее время.

В данном контексте нелишне в очередной раз обратиться к исходным детерминантам генезиса и развития науки, к тем глубинным основаниям, благодаря которым она формирует, а затем сохраняет свой логико-теоретический стержень, категориально-понятийный каркас, остающийся инвариантным на всех исторических этапах развития, что позволяет науке оставаться наукой и производить соответствующие ее природе и назначению знания, так необходимые для общественного прогресса. Тем более что в исследовании факторов, влияющих на становление и развитие науки, чаще обращают внимание на роль социокультурных факторов, практических потребностей в образовании, управлении, на роль личностно-психологических особенностей человека и тому подобное и реже обращаются к анализу ее истоков, коренящихся в до-рефлексивных, дотеоретических глубинных слоях культуры.

В настоящее время есть настоятельная потребность в осмыслении сущности науки именно со стороны выявления ее инвариантных констант, выра-

женных, как правило, в категориально-понятийной форме и в определенных онто-гносеологических принципах, оснований того концептуально-категориального каркаса, благодаря которому наука сохраняет свое сущностное единство и специфику как особой формы познания, несмотря на культурно-историческое своеобразие исторических форм ее развития.

В предлагаемой статье анализу подвергается мифологема судьбы, смыслообразы которой вошли в содержание особой универсалии культуры, образующей вместе с другими универсалиями систему. «Культура может быть определена как система исторически развивающихся надбиологических программ человеческой жизнедеятельности (деятельности, поведения и общения), обеспечивающих воспроизводство и изменение социальной жизни во всех ее основных проявлениях» [1. С. 33]. Взаимосвязь культурных универсалий, или «мировоззрение эпохи», по терминологии В.С. Степина, в качестве «обобщенной картины человеческого мира» вводит «определенную шкалу ценностей, принятую в данном типе культуры, и поэтому определяет не только осмысление, но и эмоциональное переживание мира человеком» [2. С. 220]. Исходя из концепции культуры, предложенной Степиным, можно сделать вывод, что система культурных универсалий фундирует освоение, передачу и совершенствование надбиологических программ человеческой деятельности во всех ее формах, включая и научную деятельность.

В системе мировоззренческих универсалий Степин выделяет два основных блока: «...первый из них образуют категории, в которых фиксируются наиболее общие характеристики объектов, преобразуемых в деятельности: „пространство“, „время“, „движение“, „вещь“, „свойство“, „отношение“, „количество“, „качество“, „причинность“, „случайность“, „необходимость“ и т.д. Это – „объектные“ категории, они имеют универсальную применимость. Второй блок составляют категории, характеризующие человека как субъекта деятельности – категории „человек“, „общество“, „я“, „другие“, „труд“, „свобода“, „совесть“ и т.д.» [Там же. С. 216]. В предложенной Степиным концепции культуры системная взаимосвязь «объектных» и «субъектных» категориальных рядов образует «категориальную сеть», или «категориальную модель мира», исторически сложившуюся и закреплённую традицией. «Категориальная модель мира» обеспечивает воспроизводство и взаимодействие необходимых обществу видов деятельности на определенном историческом этапе, но в переходные эпохи традиционные смыслы универсалий культуры начинают критически переоцениваться в поисках новых жизненных смыслов и ценностей. Особую роль в этом процессе играет философия, осуществляя рефлексию над основаниями культуры, представленными универсалиями. Из неосознанных, неявных функционирующих категориальных структур человеческого сознания и деятельности универсалии культуры становятся предметом критического рассмотрения философии и обретают статус философских категорий, на которые направлено познание. «Выявляя мировоззренческие универсалии, философия выражает их в понятийно-логической форме, в виде философских категорий», что представляет как бы высший уровень философской рационализации оснований культуры, осуществляемый, как правило, в рамках профессиональной философской деятельности. Этому уровню предшествует сложный процесс экспликации общих смыслов в качественно различных областях человеческой культуры с пониманием их

единства и целостности. «Поэтому первичными формами бытия философских категорий как рационализации универсалий культуры выступают не столько понятия, сколько смыслообразы, метафоры и аналогии» [2. С. 223]. Философемы, образованные в процессе рационального осмысления мифологем, выступают основанием формирования более строго понятийного аппарата, где универсалии культуры уже определяются в своих наиболее общих и существенных признаках, образуя философские категории, на основании которых формируется в дальнейшем категориальный каркас науки.

В этом отношении интерес представляет анализ мифообразов культурной универсалии «судьба» как порождающего источника теоретических представлений первого слоя «философем» о наиболее общих мировоззренческих основаниях культуры, которые необходимо уловить и выявить, чтобы сделать предметом философского рассмотрения.

Мы опираемся на понимание судьбы «как универсалии культуры субъект-объектного ряда, фиксирующей представления о событийной наполненности времени конкретного бытия, характеризующейся телеологически артикулированной целостностью и законченностью» [3. С. 1003]. Данное определение судьбы подчеркивает взаимосвязь категориальных блоков *объективное* и *субъективное*, благодаря которой формируются целостный образ мира, человека и способ взаимодействия между ними.

Рефлексивное осмысление данной универсалии культуры сыграло существенную роль в формировании стиля мышления западного образца, воплотившегося в зарождении и развитии античной философии и науки. Были отмечены многозначность этого понятия и многогранность выражаемых им представлений в древнегреческом языке – Мойра, Дике, Ананка, Тюхе. В рамках данной семантики судьба понимается как Фатум (рок), внешний по отношению к индивиду или Космосу.

Существует и другая интерпретация, где внешней детерминантной по отношению к судьбе выступает сам субъект (как автор судьбы), т.е. судьба мыслится как продукт сознательного ее созидания: по мысли К. Маркса «человек – автор и исполнитель своей собственной исторической драмы».

В целях нашей статьи важна первая интерпретация мифологемы *судьба*, истоки которой обнаруживаются в древнегреческих поэмах Гомера «Илиада», «Одиссея», вобравших в себя множество мифологических сюжетов из предшествующей устной традиции. Различные интерпретации темы судьбы, связанные с более древними дописьменными представлениями, встречаются у всех народов вне зависимости от локальных и пространственных характеристик, что подтверждает необходимость появления данной мифологемы в культуре [4]. В мифе отражен путь постижения человеком окружающего мира и своего места в нем, через мифологему судьбы можно проследить изменения представлений о мире, связанные с развитием и общественных отношений, и когнитивных практик. Для первобытного, архаического сознания характерны неспособность отделения личного бытия от общинного, зависимость и встроенность в ритмы природы, поэтому образ судьбы слит с естественной причинностью и «волей духов». Здесь властвует необходимость, поэтому особым акцентом толкования судьбы является идея предопределения, неподвластного усилиям человека и даже «воле богов». Судьба предстает как внешняя по отношению к человеку сила, довлеющая над ним, безлич-

ный характер ее проявления придает ей статус объективного закона. Можно только согласиться с В.П. Гораном, что мифологема судьбы явилась источником формирования категорий *необходимость*, *случайность*, *закон*, оказавших влияние на становление научного мировоззрения.

Становление мифологемы *судьба* проходило под влиянием как гносеогенных факторов, связанных с накоплением опыта наблюдений за природным миром и познанием объективного характера явлений природы, так и социогенных факторов, под которым понимается место индивида в социальной структуре общества согласно доле, участи. С ростом личного сознания и разделением первобытного общества на социальные группы появляется необходимость регулирования и обоснования занимаемого положения в социальной структуре. Социогенные факторы оказали решающее влияние на становление мифологемы *судьба* именно в греческой традиции.

Мойра – один из центральных образов для обозначения судьбы у Гомера, он (образ) окажет влияние на всю последующую мифопоэтическую традицию. Образ Мойры вносит в сознание древнего грека представления о доле, части, участи, которые распределяются каждому при рождении. В центре античного миропонимания находится Космос как высший порядок и целостность, к которому сопричастно все. Каждый человек как часть этого целого имеет свою судьбу (долю, часть) в нем. Даже боги имеют свою долю и не смеют противиться ей, что уж говорить о простом человеке. Устами бога Посейдона Гомер показывает силу жребия, силу судьбы – «Жребий бросившим нам, в обладание вечное пало Мне волношумное море, Аиду поземные мраки, Зевсу досталось меж туч и эфира пространное небо» [5. С. 253].

Особым акцентом толкования судьбы является идея предопределения, неподвластности усилиям человека, истоки этой идеи восходят еще к архаическим временам. «Мойра – самая распространенная персонификация судьбы в древнегреческой мифологии и наиболее „сильная“ в фаталистическом выражении» [6. С. 10]. Загадочность и туманность мифообраза *судьба* подчеркивается отсутствием четких персонификаций, в отличие от других мифологических богов Зевса, Посейдона, Афины, Геры и др., которые имеют конкретный лик и олицетворяют собой определенную силу и грань бытия. Образ судьбы распадается на множество значений: Мойры представлены тремя сестрами-пряжами: Клото, Лахезис, Атропос, они прядут нить человеческой жизни, олицетворяя собой предел всего сущего. Наличие матери Ночи подчеркивает невозможность человеческого понимания и познания их. Таким образом, Мойра как мифообраз, превышающий по силе других мифологических богов, выполняет мирообразующую функцию, придавая бытию целостный и законченный вид. Для ранней античности бытие человека органически определено его «долей» в полисном укладе, таково значение слова Мойра. Важность социогенных истоков при рассмотрении мифологемы судьбы исследуется в работе В.П. Горана [7].

С изменением самосознания человека происходит трансформация представлений образа судьбы. Если в первом рождении судьба связана с первожденным хаосом, то во втором своем рождении образ судьбы связан с правосудием и законной властью Зевса, стабильностью и порядком. У Гесиода обнаруживается сближение образов Мойры и Ананки, означающей необходимость. Получается, что Мойра осуществляется через Ананку как необхо-

димось. После Мойры-Ананки появляется образ Адрастии – неотвратимое, это уже не только космическая сила, простирающаяся над всем универсумом, а конкретное и справедливое воздаяние человеку за его поступки, приобретающее индивидуально окрашенный характер. Немезида – еще одна значительная мифологическая персонификация судьбы греками, символизирующая собой справедливое распределение благ между людьми, соединяющая в себе смыслы меры, ограничения, равновесия, она определяет поведение людей. К периоду расцвета древнегреческого полиса появляется новый образ судьбы – Дике, который наряду с Немезидой представляет справедливость и правосудие, неся в себе разумное основание, в отличие от Мойры. Таким образом, можно заключить, что через различные персонификации мифологемы *судьба* прослеживается движение в мышлении древних греков на различение объективного и субъективного.

В мифопоэтической традиции Древней Греции особое место занимает героическая тематика. Интересно проследить развитие темы героя в мифологии, поскольку она напрямую связана с мифологемой судьбы через образ героя и героическое время. В привычном понимании герой – это человек, совершающий поступок ради общего блага, часто сопряженный с самопожертвованием. В мифопоэтической традиции герой имеет двойственную природу в силу того, что один из его родителей принадлежит пантеону богов, другой – к смертному роду людей. От божественного родителя герой наделен исключительными способностями – физической силой, хитростью, даром прорицания и др., близость к Олимпу открывает герою предначертанное судьбой, но не освобождает его от смертной человеческой природы. Соединение в герое божественного и человеческого начал создает напряжение, требующее своего разрешения. Драматической развязкой этого напряжения выступает осуществление предначертанного и, как следствие, обретение бессмертия. Попытки избежать, обойти судьбу терпят неудачу (Эдип), но чаще всего герой принимает вызов судьбы и осуществляет предначертанное. «Герой всегда реализует предназначенное либо свободным выбором, как Ахилл или Прометей, либо признавая себя виновным и принимая кару (Орест), даже сам осуществляя наказание (Эдип). Но при таком сознательном осуществлении судьбы, очевидно, нельзя говорить о ней как о чем-то абсолютно внешнем, будь то слепой случай или неведомый рок. Скорее, жизнь героя, все его поступки являются частью какого-то упорядоченного целого; если бы хоть одна часть отсутствовала, целое распалось бы» [8. С. 92]. Но и в том и в другом случае герою не удастся избежать предначертанного судьбой, что наглядно демонстрирует невозможность изменения заданного хода событий. Благодаря своей двойственной природе, герой в мифе выступает посредником между миром олимпийских богов и миром людей; можно предположить, что образ героя является своего рода образцом поведения для простого человека, в частности примером принятия судьбы как предопределения.

Тема судьбы и культ героя, поскольку он связан с судьбой, охватывают все стороны жизни древних греков, всю сферу их мирозерцания. В этом контексте обнаруживается способ осмысления времени и вечности.

Судьба – это всеохватывающее единство существующего, в котором все от века предзадано и предсозвучено. Судьба как некоторая завершенная целостность выступает прообразом, аналогом вечности. Здесь неприменимы

временные определения: было, будет, бывает. Здесь все всегда есть. В этом отношении определяется рассмотрение времени. Образу судьбы в древнегреческих мифах соответствует представление о предзаданном сверхмировом порядке, который реализуется в существовании мира. Вечность характеризует этот порядок, время же – свойство существующего мира, необходимо возникающее в осуществлении судьбы.

Понимание времени связано с двумя моментами: а) связью с представлением о целостности всего, в котором каждое существо имеет свою «часть», свое «предназначение», где оценка успеха осуществления «части» определяется мерой соответствия «предназначению». Так же оценивается и время. Время события, соответствующее назначению этого события, есть подобающее время, «благовремя» (*cairos*); б) представлением о времени как о неотвратимой характеристике предмета, что делает его для всякого существа однозначной определенностью. В связи с этим время дается одной точкой, а не двумя, содержащими отрезок (период). Для грека этот период, независимо от его продолжительности, по-видимому, представляется как бы некой точкой, характеризующей предмет, событие – точкой как неким единством, которое есть характерное для предмета, подобающее ему время (*cairos*).

На особое соотношение вечности и времени в мифологическом сознании и религиозном мировоззрении обращает внимание В.М. Межуев. «В мифологическом сознании вечность, символизируемая тотемом или племенным божеством, является истоком всего происходящего, началом времен и той силой, которой люди поклоняются, но с которой не отождествляют себя. Время здесь целиком во власти богов, добрых или злых духов, не знающих смерти. Люди умирают здесь не в силу естественных причин, а по воле богов, и единственный способ продлить жизнь – это умиловить богов посредством разного рода ритуальных действий. Люди с мифологическим сознанием не живут еще в истории, воспринимая настоящее либо как движение по кругу, либо как отклонение от изначального и более совершенного порядка вещей» [9. С. 38]. В мифологическом сознании жизнь воспринимается как отведенное каждому время, доля, участь, реализуемая через индивидуальную судьбу. Каждая индивидуальная судьба сопричастна мировому целому, обрести бессмертие возможно через преодоление времени, за границами которого – вечность, но для простого человека этот путь недостижим, он открывается только героям через принятие судьбы. В монотеистических религиях мотив времени как неотвратимой судьбы, перед которой не могут устоять ни вещи, ни люди, сохраняется. «Время несет неминуемое исчезновение, но, в отличие от мифа, религия дает надежду на личное спасение по ту сторону времени. Вертикаль, ведущая на небо, единственная возможность для человека прорваться в вечность» [Там же].

Философская рефлексия темы времени и вечности началась в европейской культуре в античной философии. По словам П.П. Гайденко, «Платон впервые в истории философской мысли попытался дать метафизическое понятие времени, сопоставив его с вневременной вечностью» [10. С. 25]. По его разумению, время – и способ осуществления вечности, и момент определения вечности: время – «подвижный образ вечности» (Платон). По мнению философа, есть два мира – чувственно-воспринимаемый, в котором правит время, и трансцендентный мир, над которым время уже не властно. Платон, как из-

вестно, назвал последний миром идей: идеи существуют изначально, извечно и доступны человеку в акте их мысленного созерцания. «Мышление как бы образует «дыру» во времени, сквозь которую человек проникает в царство вечных истин. Человек – единственное живое существо, совмещающее в себе время и вечность: как природное существо он живет во времени, как мыслящее – в вечности. Вечность открывается, однако, не каждому, а только избранным – тем, кто способен мыслить (метод трансцендирования, рефлексии, абстрактное мышление) и действовать, будучи свободным от повседневных забот и трудов, физического выживания и продолжения рода, кто ради истины и красоты способен „пренебречь земной пользой“» [9. С. 38].

Как видим, Платон еще не порвал полностью с мифологическим представлением о времени и вечности: для него также характерно предпочтение отдаться вечности, но все-таки он существенно продвинулся в постижении связи между вечностью и временем: время – и способ осуществления вечности, и момент определения времени вечностью. Важна платоновская мысль о способности человека через определенные мыслительные практики осуществлять прорывы к вечности, показывающая путь преодоления господства сакрального (мир вечного) над мирским (мир временного), субстанционального над темпоральным, «откровения» над опытным знанием.

Постепенно, с развитием опытного естествознания, формируется новое мировоззрение, в плоскости которого главный интерес в познании мира смещается из области сакрального в область мирского. В этом контексте «вечность из трансцендентального (потустороннего) переносится в посюсторонний мир – причем не той вечности», которая позади и навсегда утрачена (как в мифе), а той, которая впереди и должна рано или поздно обнаружить себя. «Спасение от всесокрушающей власти времени будут искать теперь не на небе, а на земле – вертикаль, ведущая на небо, как бы опрокинулась, превратилась в горизонталь, связывающую настоящее и будущее. На смену упованию небесного царства придет социальная утопия с ее верой в „светлое будущее“, построенное руками человека, исключительно по его воле и желанию» [Там же. С. 39]. Тема времени надолго станет одним из главных предметов осмысления в философии истории и в науке, где раскрываются новые грани и метаморфозы соотношения времени и вечности.

В мифологическом сознании сложилась смыслообразная система, порождающая идеи необходимости, закона, причины, времени, вечности. Эти идеи стали предметом философской рефлексии, в результате которой был выделен слой особых категорий – логико-онтологических. Они выступают как объективные универсальные формы мышления и бытия. «Объективность этих категорий состоит в том, что они по большей части присутствуют в момент наших рассуждений, когда мы мыслим, говорим о чем-либо, но не подразумеваем об этом» [11. С. 5]. Выявляются и осознаются они с помощью философского и логического анализа. «Как формы мышления, они выступают в качестве логических, как формы бытия – в качестве онтологических» [Там же. С. 6].

Данный слой категорий в научном познании входит в состав философских оснований науки. Они присутствуют прежде всего в составе их онтологической подсистемы, представленной сеткой категорий, которые служат

матрицей понимания и познания исследуемых объектов, – категорий *причинность, необходимость, закон, случайность, время* и т.д.

Философия создает необходимые предпосылки для поступательного развития науки за счет разработки категориальных оснований последней, обеспечивая постижение предметных структур, еще не освоенных в практике той или иной исторической эпохи. «Философия способна генерировать категориальные матрицы, направляющие научные исследования, до того, как наука начинает осваивать новые типы объектов» [2. С. 211]. Сопоставление истории философии и истории естествознания показывает, что философия обладает прогностическими возможностями по отношению к научному поиску, заранее вырабатывая необходимые для него категориальные структуры.

Эти категориальные матрицы лежат в основе построения научных онтологий, что представляет необходимый уровень научного исследования наряду с эмпирическим и теоретическим, предваряя последние. Приступая к изучению нового типа объектов, ученый должен иметь предварительные представления о них – какие это объекты, какими свойствами они в принципе могут обладать и в какие отношения вступать, т.е. исследователь «должен иметь концептуальную схему объектов, свойств и отношений, желательно разделяемую другими участниками научной коммуникации» [12. С. 18].

Такого рода концептуальная схема, или научная онтология, по мнению И.Ф. Михайлова, «логически независима от теоретического и эмпирического уровня науки, и ее выбор является творческим актом исследователя – автора научной теории; любая научная онтология служит общей областью интерпретации теоретических и эмпирических предложений данной науки; предложения онтологий не могут быть истинными или ложными» [Там же]. Научные онтологии представляют «чистую» часть науки, в которой репрезентируется «априорное» познание природных вещей. Это значит, используя терминологию И. Канта, что познаваемые данной наукой «вещи» должны быть в общем и целом даны ученому до того, как он приступит к изучению действительных положений дел. Речь, конечно же, идет о модели изучаемой реальности (объектов), описанной с точки зрения ее существенных свойств и отношений с помощью научного языка. Выбор или построение научной онтологии, по мысли Михайлова, «действительно не зависит от данных, но не потому, что предопределен трансцендентальной природой познающего субъекта, а напротив, потому что представляет собой свободный творческий акт создателя теории, ограниченный только рамками свободной и в идеале честной научной конкуренцией» [Там же. С. 21].

Категориальные основания науки – особая область, которая одновременно принадлежит внутренней структуре науки и ее инфраструктуре, через которую реализуется постоянная связь науки с философией и с культурой в целом.

Таким образом, анализ мифообразной структуры и мировоззренческой функции судьбы как культурной универсалии раскрывает ее способность служить важнейшей культурной детерминантой, внешним источником философской рефлексивной работы по созданию теоретических моделей мира, передавая их в качестве онтологических оснований для поступательного развития научного познания. Одновременно с помощью применения аппарата логического оперирования философскими категориями как особыми идеаль-

ными объектами «запускается» внутренний источник их развития в поле философских проблем, что позволяет выявлять связи между категориями и вырабатывать их новые определения.

Существует и обратная связь со стороны философии и науки на универсалию судьбы – постоянно обогащать ее содержание за счет философской рационализации и рефлексии ее смыслов в новых исторических условиях, за счет философского анализа научных знаний, искусства, нравственных проблем, языка и других феноменов культуры, но это тема специального исследования.

Литература

1. *Степин В.С.* Философская антропология и философия культуры. М. : Академический проект ; Альма Матер, 2015. 542 с.
2. *Степин В.С.* Философия науки. Общие проблемы : учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук. М. : Гардарики, 2006. 384 с.
3. *Новейший философский словарь.* 2-е изд., пер. и доп. Минск : Интерпрессервис, 2001. 1280 с. (Мир энциклопедий).
4. *Понятие* судьбы в контексте разных культур / Науч. совет по истории мировой культуры. М. : Наука, 1994. 320 с.
5. *Гомер.* Илиада. Одиссея : пер. с древнегреч. М. : Худож. лит., 1967. 765 с.
6. *Круглова И.Н.* Метафизика судьбы как онтология свободы. Красноярск : СибГТУ, 2007. 152 с.
7. *Горан В.П.* Древнегреческая мифологема судьбы. Новосибирск : Наука, 1980. 335 с.
8. *Гайденок В.П.* Тема судьбы и представление о времени в древнегреческом мировоззрении // Вопросы философии. 1969. № 9. С. 88–98.
9. *Межуев В.М.* История как философская идея // Вопросы философии. 2018. № 8. С. 34–41.
10. *Гайденок П.П.* Время. Длительность. Вечность. Проблема времени в европейской философии и науке. М. : Прогресс-Традиция, 2006. 464 с.
11. *Книгин А.Н.* Учение о категориях : учеб. пособие. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2002. 292 с.
12. *Михайлов И.Ф.* Прошло ли время философии? // Вопросы философии. 2019. № 1. С. 15–25.

Elena Z. Bakhtiyarova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: elenazbest@yandex.ru

Roman A. Yuriev, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: yuriev2003@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 51. pp. 25–34.

DOI: 10.17223/1998863X/51/3

MYTHOLOGICAL IMAGES OF FATE AS A SOURCE FOR CATEGORIES OF PHILOSOPHY AND SCIENCE

Keywords: fate as a universal of culture; mythologems of fate; categories of science and philosophy; scientific ontology.

The article focuses on the rootedness of the conceptual framework of scientific ontologies (as well as philosophical ones) in the ancient pre-reflexive and pre-theoretical life experience of archaic people, whose mythological contemplation shaped their worldview representations and attitudes. Fate is analyzed as a cultural universal which represents a complex of mythological images – necessity, chance, law, reason, time, which turned into fundamental categories as a result of philosophical and scientific reflection. Science is the center of modern civilization, changing the shape and setting the vector of its development. During the study of the factors that had influence on the formation and development of science, researchers more often pay attention to the role of sociocultural ones and rarely turn to the analysis of their origins, rooted in the pre-reflective, pre-theoretical deep layers of culture. An appeal to the mythological and philosophical foundations of science is the search and identification

of the “roots”, the origins that made (created) science and preserve their meaning in an implicit form at present. In this respect, the analysis of mythological images of the cultural universal “fate” is very interesting. The content of this universal is a set of mythological images – necessity and chance, law, reason, time. These images were the source of theoretical ideas in the first layer of “philosophemes” about the most general philosophical foundations of culture, the further understanding of which allowed to form fundamental categories in philosophy and science. The mythologem “fate” was formed under the influence of gnoseogenic factors, which are connected with the accumulation of experience of observing the natural world and with the cognition of the outer characteristic of the phenomena of nature, and also of sociogenic factors, which refer to the place of the individual in the social structure according to their destiny. With the growth of personal consciousness and the division of primitive society into social groups, there emerged a necessity to regulate and justify one’s position in the social structure. Sociogenic factors had an overwhelming influence on the formation of the mythologem “fate” in the Greek tradition. A special emphasis in the interpretation of fate is the idea of everything being predetermined, independent of the efforts of man; the origins of this idea go back to archaic times. In mythological consciousness, there was a semantic system that generated the ideas of necessity, law, reason, time, eternity. These ideas became the subject of philosophical reflection, which resulted in a layer of special categories – logical-ontological categories. This layer of categories in scientific knowledge is a part of the philosophical foundations of science. They are primarily included in their ontological subsystem, represented by a grid of categories that serve as a matrix of understanding and cognition of the researched objects – categories of causality, necessity, law, chance, time, etc. The categorial foundations of science are a special area, which simultaneously belongs to the internal structure of science and to its infrastructure, and through it science is permanently connected with philosophy and culture.

References

1. Stepin, V.S. (2015) *Filosofskaya antropologiya i filosofiya kul'tury* [Philosophical Anthropology and Philosophy of Culture]. Moscow: Akademicheskii proekt; Al'ma Mater.
2. Stepin, V.S. (2006) *Filosofiya nauki. Obshchie problemy* [Philosophy of Science. General Problems]. Moscow: Gardariki.
3. Gritsanov, A.A. (ed.) (2001) *Noveyshiye filosofskiy slovar'* [The Newest Philosophical Dictionary]. 2nd ed. Minsk: Interpresservis, Knizhnyy dom.
4. Arutyunova, N.D. (ed.) (1994) *Ponyatie sud'by v kontekste raznykh kul'tur* [The concept of fate in different cultures]. Moscow: Nauka.
5. Homer. (1967) *Iliada. Odisseya* [The Iliad. The Odyssey]. Translated from Ancient Greek. Moscow: Khudozhestvennaya literature.
6. Kruglova, I.N. (2007) *Metafizika sud'by kak ontologiya svobody* [Metaphysics of fate as an ontology of freedom]. Krasnoyarsk: Siberian State Technical University.
7. Goran, V.P. (1980) *Drevnegrecheskaya mifologema sud'by* [Ancient Greek mythology of fate]. Novosibirsk: Nauka.
8. Gaydenko, V.P. (1969) Tema sud'by i predstavlenie o vremeni v drevnegrecheskom mirovozzrenii [The theme of fate and the idea of time in the ancient Greek worldview]. *Voprosy filosofii*. 9. pp. 88–98.
9. Mezhuhev, V.M. (2018) History as a Philosophical Idea. *Voprosy filosofii*. 8. pp. 34–41. (In Russian).
10. Gaydenko, P.P. (2006) *Vremya. Dlitel'nost'. Vechnost'. Problema vremeni v evropeyskoy filosofii i nauke* [Time. Duration Eternity. The problem of time in European philosophy and science]. Moscow: Progress-Traditsiya.
11. Knigin, A.N. (2002) *Uchenie o kategoriakh* [The Doctrine of the Categories]. Tomsk: Tomsk State University.
12. Mikhaylov, I.F. (2019) Proshlo li vremya filosofii? [Is the time of philosophy gone?]. *Voprosy filosofii*. 1. pp. 15–25.

УДК 165.1

DOI: 10.17223/1998863X/51/4

А.С. Гапонов

УСЛОВИЯ «ОБЩЕЗНАЧИМОСТИ» ЗНАНИЯ В ФОРМАЛЬНОЙ ПРАГМАТИКЕ¹

Рассматриваются идеи Ю. Хабермаса относительно условий познавательной деятельности. Исследовав понятия «жизненный мир» и «коммуникативная рациональность», автор делает вывод о том, что, несмотря на наличие в формальной прагматике универсалистских мотивов, Хабермас остается на позиции контекстуализма и релятивизма в теории познания.

Ключевые слова: трансцендентализм, формальная прагматика, Хабермас, жизненный мир, коммуникативная рациональность.

Статья посвящена рассмотрению идей известного немецкого философа Юргена Хабермаса (род. в 1929 г.). Предложенные мыслителем теоретические модели продолжают оказывать значительное влияние на весь спектр социогуманитарных наук. Так, например, разработанные им двухуровневая теория общества, концепции коммуникативного действия и коммуникативной рациональности привлекают внимание философов и социальных ученых во всем мире. В данной работе нас будет интересовать аспект учения Хабермаса, связанный с разработанной им теорией формальной прагматики и взглядами мыслителя на вопрос об основаниях познания.

Как известно, поиск необходимых условий познавательной деятельности являлся конститутивным для самосознания классической европейской философии. Поставленный И. Кантом вопрос о том, как возможно опытное познание, привел к появлению новой философской дисциплины – теории познания. Эта постановка вопроса получила название трансцендентальной. Она была направлена на выявление априорных форм сознания, с которыми «все предметы опыта с необходимостью должны соотноситься и согласовываться» [1. С. 19]. С точки зрения классической трансцендентальной философии данные формы обеспечивают всеобщность и необходимость результатов познавательного процесса. Базовой предпосылкой кантовской теории познания являлось представление о существовании чистого сознания, которое сущностно не обусловлено локальными языковыми и культурными контекстами. Взгляды Канта стали фундаментом новоевропейской эпистемологии, на них основывались классические представления об истине и процессе познания.

Как замечает отечественный исследователь Е. Борисов, типологической чертой современной философии является «историческое самодистанцирование» от наследия классической философской мысли [2. С. 3]. В современной эпистемологии это дистанцирование проявилось в отказе от классической «модели сознания» и вылилось в сформулированную Рорти тенденцию дестрансцендентализации [3].

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 18-18-00057.

Между тем в современном философском мышлении мы встречаем концепции, которые актуализируют мотивы классической теории познания. Подобные мотивы мы можем встретить как внутри традиции аналитической философии, так и внутри современной герменевтики. Так, например, через критическое обсуждение идеи саморефлексивности аналитическая философия вновь возвращается к классической эпистемологии и ставит вопрос о возможности построения универсалистского эпистемологического дискурса [4]. В рамках герменевтической традиции это разработанная Хабермасом концепция формальной прагматики. Примечательность формальной прагматики связана с тем, что данная концепция, с одной стороны, является воплощением так называемого постметафизического мышления, для которого характерны отказ от размышлений «под знаком вечности» и признание сущностной ситуативности нашего мышления, а с другой стороны, она сохраняет за философией роль «хранительницы рациональности» и видит ее задачу в поиске оснований, которые делают возможными «притязания на разумность», выходящие за рамки локальных социокультурных контекстов. С точки зрения М. Соболевой [5], В. Фурса [6], А. Шумана [7] и др., последнее позволяет рассматривать формальную прагматику как современную версию трансцендентализма.

В данной статье мы рассмотрим вариант решения проблемы рациональности и общезначимости знания, предложенный формальной прагматикой. Нас будет интересовать вопрос о том, можно ли считать взгляды Хабермаса на сущность познавательной деятельности продолжением универсализма в теории познания. Или же это, несмотря на обсуждение условий общезначимости знания, продолжение обоснования позиции контекстуализма и релятивизма в эпистемологии, характерной для постметафизической мысли? Отвечая на поставленные вопросы, мы рассмотрим, во-первых, предложенную Хабермасом теорию «жизненного мира» и, во-вторых, введенное им понятие «коммуникативная рациональность».

«Жизненный мир» как основание и фон познавательной деятельности

Формальная прагматика рассматривает жизненный мир как разделяемый всеми горизонт, в рамках которого реализуются коммуникация и повседневная практика людей, формируются коллективные представления о действительности – языковые картины мира. Эти картины мира являются продуктом опыта некоего сообщества, представляют совокупность знаний о действительности, составляют фоновое знание и дают ориентиры для повседневной деятельности.

Реальная коммуникативная практика включает в себя сеть смысловых отсылок и перекличек конкретных ситуаций действия, а также актуальный тематический центр как подвижный горизонт потенциальных тем обсуждения. С точки зрения Хабермаса, все возможные коммуникативные ситуации интуитивно уже известны их участникам, так как всегда присутствуют в виде некоторого смыслового фона или само собой разумеющегося нетематического знания. Благодаря этому запасу знаний члены жизненного мира имеют проблематичные, подразумеваемые в качестве достоверных фоновые убеждения, которые формируют условия для возможности координации и

согласования действий. В повседневных коммуникативных практиках не существует абсолютно неизвестных ситуаций. Когда субъекты коммуникации покидают горизонт одной ситуации, они не попадают в пустоту – каждый из них «преднаходит» себя в другой, актуализированной и уже содержательно предынтерпретированной сфере культурных очевидностей. Коммуникативные ситуации возникают из жизненного мира, который присутствует как нетематический горизонт и источник очевидного знания и используется участниками коммуникации для кооперативных процессов толкования.

Жизненный мир выступает своеобразным резервуаром для осуществления интерпретации. С одной стороны, он формирует интуитивно понимаемый контекст коммуникативного взаимодействия, а с другой стороны, является источником ресурсов для процессов интерпретации, в которых участники коммуникации стараются покрыть возникающую в той или иной ситуации потребность во взаимопонимании. Хабермас замечает: «В то время как сопряженный с той или иной ситуацией фрагмент жизненного мира в качестве некоей проблемы надвигается на действующего индивида, так сказать, спереди, сзади его поддерживает жизненный мир, который не только образует *контекст* (курсив Хабермаса. – А.Г.) процессов понимания, но и предоставляет для них *ресурсы* (курсив Хабермаса. – А.Г.)» [8. С. 202]. Жизненный мир обеспечивает своих участников запасом культурных самоочевидностей, из которого участники коммуникации заимствуют устраивающий их образ интерпретации.

Элементами жизненного мира являются устоявшиеся в культуре фоновые допущения, культурные традиции, ценности и язык. Особое значение отводится языку и культурному наследию – они занимают трансцендентальную позицию в отношении всего, что может стать составной частью коммуникативной ситуации. Они не являются чем-то пребывающим внутри мира объектов. Ни язык, ни культура не совпадают с формальным понятием мира, скорее, они являются тем, что конституирует жизненный мир. Язык и культура не являются частью субъективного, объективного или социального мира. Совершая или понимая то или иное речевое действие, мы как участники коммуникации находимся настолько глубоко внутри своего языка, что не можем интерпретировать некоторое актуальное речевое действие как что-то интересубъективное таким же образом, каким мы, во-первых, приписываем чувство или желание как нечто субъективное, во-вторых, каким мы воспринимаем некое событие как объективное, и в-третьих, каким мы сталкиваемся с ожиданием поведения как чем-то нормативным. Пока субъекты коммуникативного взаимодействия занимают перформативную установку, используемый ими язык не может быть тематизирован. Они не могут занять в отношении языка позицию внешнего наблюдателя. То же самое действительно и по отношению к культурным образцам интерпретации. Однако Хабермас не ограничивает жизненный мир только передаваемым посредством культуры фоновым знанием. К элементам жизненного мира он относит также социальные нормы и субъективные переживания. И общество, и личности являются структурными компонентами жизненного мира. Действующий субъект является не только продуктом культурной традиции, к которой он принадлежит, но и продуктом процесса социализации, в который он погружен. Контекст действия образуется не только преданием, но и обществом.

Итак, с точки зрения формальной прагматики жизненный мир дан нам с очевидностью и его нельзя представить как нечто объективное (находящееся в мире), так как его элементы не являются ни объективными фактами, ни социальными нормами, ни субъективными переживаниями, относительно которых может быть достигнуто взаимопонимание. Для участников определенной коммуникативной ситуации жизненный мир образует некоторый смысловой фон, который включает в себя совокупность специфических предпосылок. Их выполнение приводит к тому, что некоторое символическое действие интерпретируется участниками как осмысленное. Жизненный мир всегда остается фоном, актуализируется лишь непосредственно задействованный фрагмент. В процессе коммуникации одна ситуация сменяет другую, однако границы самого жизненного мира не могут быть преодолены. Жизненный мир образует пространство, в котором горизонты ситуации могут меняться, он формирует контекст, который определяет границы, но сам является безграничным.

Рассматривая жизненный мир как основание и фон нашей теоретической и практической деятельности, Хабермас указывает на сущностную взаимосвязь нашего мышления и того социокультурного контекста, в котором оно себя обнаруживает. В эпистемологическом отношении это значит, что любая теоретическая деятельность всегда несет на себе печать той ситуации, в которой она осуществляется. Кроме того, формальная прагматика находит условия и основания познания не в априорных формах чистого разума, а в расположенных в пространстве и времени конкретных формах социальной жизни. Отсюда следует, что возможность получения всеобщего и необходимого знания оказывается под большим вопросом.

«Универсалистский» потенциал коммуникации

Являясь вариантом самоопределения постметафизической мысли, формальная прагматика исходит из представления об универсальности языкового измерения, рассматривая его как необходимое основания бытия и познания. Она рассматривает язык с точки зрения его реального употребления, реальной коммуникативной практики. Хабермас исходит из того, что внутренним телосом коммуникации является взаимопонимание, которое трактуется не просто как одинаковое понимание некоторыми участниками коммуникации смысла языкового выражения. Взаимопонимание в данном случае – это достижение согласия относительно чего-то, что имеет место в мире, взаимная прозрачность намерений и консенсус по поводу правильности высказывания в отношении intersubjectивного нормативного фона. Важно, что при коммуникативном согласии должно иметь место не вынужденное признание, обусловленное какими-то внешними факторами; оно должно быть признано значимым самими участниками коммуникативного взаимодействия.

С точки зрения формальной прагматики мы можем выделить два модуса языкового употребления: когнитивный и коммуникативный. В нашей языковой практике *«мы либо говорим о том, что имеет или не имеет место, либо говорим что-нибудь кому-нибудь другому, так что последний понимает то, что говорится»* (курсив Хабермаса. – А.Г.)» [8. С. 39]. Соответственно, первый способ употребления языка называется когнитивным, а второй – коммуникативным. Только второй способ употребления языка сущностно связан с условиями коммуникации. Понимание того, что говорится, требует участия в

коммуникативном действии. Необходимо, чтобы сложилась определенная языковая ситуация, в которой один из участников находится в коммуникации с другим, говорит о чем-то и выражает то, что он сам об этом думает. При когнитивном употреблении языка подразумевается всего одно фундаментальное отношение – отношение между языковыми предложениями и чем-то, имеющим место в мире, т.е. тем, о чем сообщается в этих предложениях. При коммуникативном модусе, т.е. при употреблении языка с целью достижения взаимопонимания с другим человеком, подразумевается три фундаментальных отношения: «выражая *свое* мнение, говорящий налаживает коммуникацию с *другим* членом той же языковой общности и говорит ему *о чем-то*, имеющим место в мире» [8. С. 39]. В первом случае подразумевается связь между языком и реальностью; во втором случае языковое сообщение, во-первых, выражает намерения говорящего, во-вторых, устанавливает связь между говорящим и слушателем; в третьем указывается на нечто, имеющее место в реальности. В отличие от когнитивного, коммуникативный модус языкового употребления имплицитно подразумевает не одно, а три отношения. Когда в рамках повседневного контекста мы высказываемся о чем-либо, мы вступаем в отношение не только с чем-то, имеющим место в объективном мире, но еще с чем-то в мире социальных отношений, а также с чем-то в субъективном мире, мире собственных переживаний.

Важно отметить, что эти два модуса языкового употребления фундируют две различные познавательные установки. При когнитивном употреблении языка наблюдатель полагает, что некоторое положение дел имеет место или будет иметь место, т.е. он занимает объективирующую установку по отношению к некоторому положению дел в объективном мире. При коммуникативном употреблении языка тот, кто участвует в коммуникации (что-либо высказывает и понимает смысл того, что говорится), занимает перформативную установку, т.е. установку участника. Перформативная установка дает возможность участникам коммуникативного взаимодействия оценивать те притязания на значимость, которые они выдвигают в ожидании принятия или неприятия со стороны друг друга.

Вопрос об общезначимости знания решается в формальной прагматике через введение понятия «коммуникативная рациональность». В общем виде данный тип рациональности можно представить как совокупность структур, которые обеспечивают нам возможность прийти к взаимопониманию. Источником коммуникативной рациональности является коммуникативная компетенция субъекта, заключающаяся в понимании языка, умении использовать понятные слова и выражения в новых ситуациях.

В перформативной установке, ориентированной на взаимопонимание, участники коммуникации имплицитно выдвигают притязания: во-первых, что «произнесенное высказывание истинно (т.е. предпосылки существования указанного пропозиционального содержания соответствуют действительности)» [Там же. С. 204]; во-вторых, что «с учетом данного нормативного контекста речевое действие правильно (т.е. легитимен сам нормативный контекст, которому оно подчинено)» [Там же]; и в-третьих, что «в манифестируемой речевой интенции подразумевается то же, что и выражается явно» [Там же]. В повседневной коммуникативной практике эти притязания могут нами не различаться и не замечаться. Но если кто-то не соглашает-

ся с тем или иным речевым актом, это означает, что высказывание не соответствует чему-либо в мире объективно существующих фактов, мире социальных норм и межличностных отношений или в мире субъективных эмоций и переживаний.

Таким образом, общезначимым в формальной прагматике считается знание, которое принято в результате рационального критического обсуждения и разделяется всеми участниками коммуникативного взаимодействия. Условием получения данного знания являются притязания на значимость, обнаруживаемые при перформативном (или коммуникативном) использовании языка. Эти притязания критически оцениваются, и в результате их intersubjectивного признания формируются условия для рационально мотивированного консенсуса. Природа данных притязаний парадоксальна, так как, с одной стороны, посредством них преодолеваются локальные ситуации, в которых происходит коммуникативное общение (участники коммуникации при достижении консенсуса получают знание, значимость которого не ограничивается локальным контекстом). С другой стороны, эти притязания выдвигаются в конкретной коммуникативной ситуации и связаны с координацией планов конкретных участников коммуникации. Притязания не являются универсальными априорными условиями, неизменными и абсолютными, они тесно связаны с повседневными социальными практиками.

Подводя итог и отвечая на поставленные в начале статьи вопросы, можно сделать вывод, что формальная прагматика не является концепцией, продолжающей традицию универсализма в теории познания. Она утверждает принципы контекстуализма и релятивизма в эпистемологии. Хабермас исходит из того, что наша познавательная деятельность осуществляется в горизонте конкретного жизненного мира, она всегда вырастает из локального исторического контекста, обусловленного культурными традициями и социальными привычками, а значит, наше познание мира не является ценностно-нейтральным. Кроме того, так называемые «универсальные значимые претензии» языка не являются абсолютными интеллигибельными структурами, которые находятся «вне пространства и времени», они вписаны в историю и культуру. В связи с вышесказанным встает вопрос о том, насколько корректно говорить о трансцендентализме применительно к позиции Хабермаса. Притязания на значимость не обеспечивают всеобщности и необходимости результатов познания в смысле Канта. Общезначимость связана лишь с достижением невынужденного согласия внутри некоторого сообщества. Кроме того, универсалистский потенциал коммуникации реализован только внутри жизненного мира общества модерна. Для жизненного мира традиционных обществ рациональная коммуникация в смысле Хабермаса нехарактерна. Отсюда возникает вопрос: не являются ли притязания на значимость, о которых говорит формальная прагматика, исторически случайными? Эти вопросы обозначают дальнейшую перспективу нашего исследования.

Литература

1. Кант И. Критика чистого разума : в 2 ч. / под ред. Б. Бушлинга, Н. Мотрошиловой. М. : Наука, 2006. Ч. 1. 1081 с.
2. Борисов Е.В. Основные черты постметафизической онтологии. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009. 120 с.

3. Рорти Р. *Философия и зеркало природы*. Новосибирск : Изд-во Новосиб. ун-та, 1997. 320 с.
4. Ладов В.А. Критический анализ иерархического подхода Рассела–Тарского к решению проблемы парадоксов // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*, 2018. № 44. С. 11–24.
5. Соболева М.Е. *Философия как «критика языка» в Германии*. СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 2005. 412 с.
6. Фурс В.Н. *Контуры современной критической теории*. Минск : ЕГУ, 2002. 164 с.
7. Шуман А.Н. *Трансцендентальная философия*. Минск : Экономпресс, 2002. 416 с.
8. Хабермас Ю. *Моральное сознание и коммуникативное действие*. СПб. : Наука, 2006. 380 с.

Aleksandr S. Gaponov, Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation); Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: gaponov@sibmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 51. pp. 35–42.

DOI: 10.17223/1998863X/51/4

CONDITIONS OF “GENERAL SIGNIFICANCE” OF KNOWLEDGE IN FORMAL PRAGMATICS

Keywords: transcendentalism; formal pragmatics; Habermas; life world; communicative rationality.

The article discusses an aspect of Habermas’s teaching related to the theory of formal pragmatics he developed and his views on the basis of knowledge. The remarkableness of formal pragmatics is due to the fact that this concept, on the one hand, is the embodiment of the so-called post-metaphysical thinking, which is characterized by the rejection of thought “under the sign of eternity” and the recognition of the essential situationality of our thinking, and, on the other hand, it retains the role of the “guardian of rationality” for philosophy and sees its task in finding the grounds that make “claims on rationality”, going beyond local sociocultural contexts. The author is interested in the question of whether it is possible to consider Habermas’s views on the essence of cognitive activity as a continuation of universalism in the theory of knowledge. Or is it, despite the discussion of the conditions of the general significance of knowledge, the continuation of the substantiation of the position of contextualism and relativism in the epistemology characteristic of post-metaphysical thought? In response to the questions posed, the author, firstly, considers the theory of the “life world” Habermas proposed and, secondly, the concept of “communicative rationality” he introduced. The author notes that formal pragmatics is not a concept that continues the tradition of universalism in the theory of knowledge, it affirms the principles of contextualism and relativism in epistemology. Habermas proceeds from the fact that our cognitive activity is carried out in the horizon of a specific life world, it always grows out of the local historical context, due to cultural traditions and social habits, which means that our knowledge of the world is not value-neutral. In addition, the so-called “universal significant claims” of the language are not absolute intelligible structures that are “beyond space and time”, they are inscribed in history and culture. Claims for significance do not ensure the universality and necessity of the results of cognition in Kant’s sense. General significance is associated only with the achievement of involuntary consent within a community. In addition, the universalist potential of communication is realized only within the life world of modern society. For the living world of traditional societies, rational communication in Habermas’s sense is not characteristic.

References

1. Kant, I. (2006) *Kritika chistogo razuma: v 2 ch.* [Critique of Pure Reason. In 2 parts]. Translated from German. M. : Nauka, 2006. 1081 s.
2. Borisov, E.V. (2009) *Osnovnye cherty postmetafizicheskoy ontologii* [The main features of postmetaphysical ontology]. Tomsk: Tomsk State University.
3. Rorty, R. (1997) *Filosofiya i zerkalo prirody* [Philosophy and the mirror of nature]. Novosibirsk: Novosibirsk State University.
4. Ladov, V.A. (2018) Critical analysis of the hierarchical approach to the solution of the paradox problem. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya –*

Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 44. pp. 11–24. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/44/2

5. Soboleva, M.E. (2005) *Filosofiya kak "kritika yazyka" v Germanii* [Philosophy as a "criticism of the language" in Germany]. St. Petersburg: St. Petersburg State University.

6. Furs, V.N. (2002) *Kontury sovremennoy kriticheskoy teorii* [The Contours of Modern Critical Theory]. Minsk: European Humanities University.

7. Shuman, A.N. (2002) *Transtsendental'naya filosofiya* [Transcendental Philosophy]. Minsk: Ekonompress.

8. Habermas, J. (2006) *Moral'noe soznanie i kommunikativnoe deystvie* [Moral consciousness and communicative action]. Translated from German. St. Petersburg: Nauka.

УДК165.4

DOI: 10.17223/1998863X/51/5

В.А. Ладов

ИДЕЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕОРИИ ТИПОВ В ФИЛОСОФИИ МАТЕМАТИКИ В КОНТЕКСТЕ КРИТИКИ ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОГО РЕЛЯТИВИЗМА¹

*Рассматривается критика релятивизма в современной эпистемологии в корреляции с исследованиями по логике и философии математики. Обсуждается идея Ф. Фитча по ограничению применения теории типов Б. Рассела. Автор статьи утверждает, что идея Фитча релевантна задачам философии математики, но в области эпистемологии она не может найти применения. Критически оцениваются результаты исследований К. Кордига, который для демонстрации несостоятельности релятивизма в современной эпистемологии пытается опереться на работы Фитча в философии математики. Демонстрируется несостоятельность некоторых современных релятивистских концепций с использованием аргументации *reductio ad absurdum* на основе явления самореферентности.*

Ключевые слова: релятивизм, эпистемология, логика, философия математики, самореферентность, теория типов, Б. Рассел, Ф. Фитч, К. Кордиг.

Необходимость корреляции исследований по логике, философии математики и эпистемологии в современной аналитической философии

Критика релятивизма в эпистемологии имеет давнюю историю. Она начинается с диалога «Тетет» Платона [1], где платоновский Сократ ведет заочный спор с релятивистом Протагором. В данном споре против релятивизма выдвигается аргумент на основе явления самореферентности (*self-reference*), когда платоновский Сократ обращает релятивистский тезис Протагора о том, что человек есть мера всего, на самого Протагора:

«СОКРАТ. Знаешь ли, Феодор, чему дивлюсь я в твоём друге Протагоре?
ФЕОДОР. Чему?

СОКРАТ. ...с какой же стати, друг мой, Протагор оказывается таким мудрецом, что даже считает себя вправе учить других за большую плату, мы же оказываемся невеждами, которым следует у него учиться, если каждый из нас есть мера своей мудрости?» [Там же. 161e].

Суть платоновской аргументации состоит в *reductio ad absurdum*, т.е. в демонстрации непоследовательности, самоотрицания или самопротиворечивости позиции релятивизма. Если Протагор утверждает, что любое суждение истинно только относительно того или иного конкретного человека, ибо «каждый из нас есть мера своей мудрости», то как быть с самим этим релятивистским тезисом? Если Протагор «считает себя вправе учить других за большую плату» этому основополагающему утверждению, то само позиционирование данного утверждения вступает в противоречие с его содержанием.

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 18-18-00057.

Протагор с абсолютной достоверностью, не допускающей какой-либо релятивизации, утверждает тезис об относительном характере любой истины.

Этот аргумент стал впоследствии классическим. Всегда, когда дело доходило до критической оценки радикального эпистемологического релятивизма, тезис релятивиста на основе явления self-reference применялся к нему самому, сводя его к абсурду.

Однако сейчас, в начале XXI в., мы уже не можем использовать указанный аргумент для критики эпистемологического релятивизма в его первоизданном, классическом, платоновском виде. Виной тому те события, которые произошли не в эпистемологии, а в иных областях – в логике и философии математики – в первой половине XX в.

Разбираясь с сугубо логическими проблемами теоретико-множественных и семантических парадоксов, Б. Рассел разработал теорию типов [2, 3], которая, помимо решения парадоксов, в качестве своеобразного «бонуса» предлагала и логическое оправдание скептико-релятивистского дискурса в эпистемологии. В «Principia Mathematica» Рассел прямо говорит об этом:

«...любой заслуживающий внимания скептицизм закрыт для приведенной выше формы опровержения (имеется в виду приведение скептицизма к противоречию через аргумент от самореферентности. – В.Л.)» [3. С. 111].

С точки зрения теории типов сам тезис Протагора представляет собой высказывание более высокого логического типа, нежели те высказывания, на которые он распространяется. Поэтому содержание данного тезиса нельзя распространять на сам этот тезис. Теория типов квалифицирует такое «замыкание в круг» как некорректную логическую процедуру. В таком случае логически некорректно ведет себя уже не Протагор, а сам платоновский Сократ, пытавшийся опровергнуть Протагора.

Если мы хотим продолжать занимать критическую позицию по отношению к релятивизму в эпистемологии, то мы уже не можем просто транслировать классический платоновский аргумент, это выглядело бы наивным в современной философии с логической точки зрения. Мы, как эпистемологи, должны каким-то образом соотнести нашу работу с результатами логических исследований XX в. Мы должны критически отнестись не только к релятивизму в эпистемологии, но и к теории типов в логике и философии математики, которая оправдывала релятивизм с логической точки зрения.

Однако эксплицитно высказанное оправдание скептико-релятивистской позиции для самого Рассела, сосредоточившего свои исследования на обсуждении чисто логических проблем, осталось лишь «заметкой на полях». В свою очередь, до современных эпистемологов этот посыл со стороны логики в большинстве случаев просто не доходил, в том числе из-за определенной «герметичности» сложных логических исследований для широкого круга философской аудитории. Поэтому не все современные эпистемологи понимают необходимость корреляции эпистемологической и логической проблематики. Например, Х. Сигэл [4], критикующий таких современных релятивистов, как Х. Браун [5], Д. Миланд [6] и Х. Филд [7], продолжает использовать классический платоновский аргумент в опровержение релятивизма, основанный на явлении самореферентности. Это же делает в самые последние годы и известный отечественный эпистемолог В.Л. Лекторский, фиксируя парадоксальность релятивистской позиции в эпистемологии [8].

Но есть и те эпистемологи, кто оказался чуток к логическим исследованиям. На современном этапе критического обсуждения релятивизма они стараются соотнести свою работу с результатами, полученными в логике и философии математики. Они понимают, что для формулировки критической аргументации в адрес эпистемологического релятивизма с помощью классического аргумента в опоре на самореферентность теперь сначала нужно каким-то образом критически отнестись и к логической теории типов, полностью запретившей самореферентность как некорректный логический прием в рассуждении. Такой точки зрения придерживается, например, К. Уормелл, утверждающий, что у нас имеется серьезный стимул пересмотреть полный запрет на самореферентность, провозглашенный теорией типов, поскольку он не позволяет высказать претензии радикальному скептицизму на основании сведения этой позиции к абсурду:

«Существует очень хорошее основание для того, чтобы не запрещать самореферентность полностью; а именно использование в философии аргументов *reductio ad absurdum*, опирающихся на самореферентность. Конечно, вполне оправданно отрицать радикально критическую философию, обращая ее на самое себя – позиция, которая не могла бы быть сформулирована, если бы вся самореферентность автоматически признавалась бы неприемлемой» [9. Р. 267].

Далее мы более детально проанализируем некоторые аспекты концепции К. Кордига [10] – еще одного современного эпистемолога, который занимает критическую позицию по отношению к релятивизму и вместе с тем оказывается внимательным к результатам логических исследований XX в.

Критика релятивизма и идея ограничения теории типов

К. Кордиг критикует релятивистские концепции в современной эпистемологии и философии науки. Объектом его критики становятся такие мыслители, как У. Сэлмон, У. Куайн, Р. Дьюгем, С. Тулмин, К. Поппер. Специфика критики Кордига состоит в том, что он использует в своих рассуждениях именно аргумент от самореферентности, расценивая концепции всех перечисленных философов как самореферентно несостоятельные (*self-referentially inconsistent*):

«Например, отчет Салмона о фактуальном содержании, куайновская обобщенная версия тезиса Дьюгема, куайновская онтологическая относительность, эволюционная эпистемология Тулмина, теория рациональности Тулмина, Куайна и Поппера и утверждения, что не все имеет объяснение и причину, есть каждый раз теории обо всех теориях, и потому они самореферентны. Самореферентные теории должны согласовываться со своими собственными критериями валидности или приемлемости. Иначе они оказываются самореферентно несостоятельными: не валидными, не приемлемыми с точки зрения их собственных стандартов валидности и приемлемости» [Ibid. Р. 207].

Эти концепции являются самореферентно несостоятельными. Они самореферентны, поскольку, будучи теориями о теориях, они сами должны соответствовать тому содержанию, которое в них утверждается. Они несостоятельны, поскольку, являясь концепциями релятивистского типа, они

отрицают возможность безусловного знания, позиционируя при этом данный тезис как безусловный, несомненный.

Если бы К. Кордиг здесь поставил точку в своих исследованиях, то его критика релятивизма была бы тем самым воспроизведением классического платоновского аргумента в опровержение Протагора, который действительно, как было сказано выше, продолжает появляться в работах современных эпистемологов. Но Кордиг идет дальше, он постоянно соотносит свои тезисы с результатами логических исследований американского логика Ф. Фитча [11]. Делает он это не случайно, поскольку именно Фитч неоднократно высказывал критические соображения в адрес теории типов Б. Рассела. Например, у Фитча мы можем прочесть, что расселовская теория типов «...не может приписать тип значению слова „тип“, хотя она должна это делать, если эта теория касается всех значений. Проще говоря, нет „порядка“... который можно приписать пропозиции обо всех пропозициях, поэтому нет порядка, который можно приписать пропозиции, которая устанавливает... теорию типов. Расселовская теория типов в ее различных формах исключает самореферентность, которая является сущностной для философии. В то же время теория типов требует для себя самой высказывания всеобщего вида о том, что она устанавливает как бессмысленное. Следовательно эта теория самореферентно несостоятельна» [11. Р. 71].

Кордиг ссылается на Фитча, поскольку понимает, что позиционировать критическую аргументацию в адрес релятивизма на основе аргумента от самореферентности в современной эпистемологии и философии науки можно только через критическую оценку той логической концепции, которая запрещала самореферентность как некорректный логический прием в рассуждении. Таким образом, видно, что критика релятивизма у Кордига рефлексивна с точки зрения современной логики.

Вместе с тем выход, который из создавшейся ситуации неудовлетворенности полным запретом на самореферентность в теории типов предложил Ф. Фитч, оказывается неоднозначным, двусмысленным. Фитч предложил идею ограничения теории типов Рассела. По его мнению, действие теории типов должно быть ограничено теми видами самореферентности, которые приводят к парадоксам, тогда как непарадоксальные способы рассуждений, содержащие самореферентность, должны быть освобождены из-под запрета теории типов. Это, по Фитчу, позволит сохранить важные разделы логики и математики, которые страдают от полного запрета на самореферентность:

«Проблема состоит в том, чтобы найти теорию типов, которая бы элиминировала „порочные“ виды самореферентности, которые ведут к математическим и семантическим парадоксам, но не те виды, которые представляют важную часть философской логики или требуются для развития теории натуральных чисел» [Ibid. Р. 71–72].

Идея ограничения теории типов оказывается двусмысленной, поскольку то, что приемлемо в области философии математики, может быть неприемлемым в области эпистемологии и философии науки. Именно это и происходит в данном случае. Теория типов разрешает парадоксы за счет того, что объявляет самореферентность, которая содержится в их основе, некорректным способом рассуждения. Таким образом, парадокс предстает как некоторая псевдопроблема, которая при надлежащем логическом анализе исчезает.

Но если, скажем, к теоретико-множественному парадоксу Рассела это вполне применимо, то с эпистемологическим парадоксом релятивизма здесь возникает специфическое затруднение. Если мы допустим распространение такой ограниченной теории типов на парадоксальные релятивистские формы рассуждения в эпистемологии, то такая теория тут же начнет данные формы рассуждения оправдывать, запрещая самореферентность в этой локальной области и разводя по различным типам различные высказывания. Предполагаемая ограниченная теория типов Фитча оправдывает Протагора точно так же, как это делала классическая теория типов Рассела. А это, в свою очередь, означает, что критиковать релятивизм на предмет его самореферентной несостоятельности, как того хотел бы Кордиг, не получится.

Кордиг должен был осторожнее опираться на Фитча. Общая критика Фитчем теории типов Рассела приемлема для эпистемолога, но его идея ограничения теории типов – нет. Нам следует понять, что только лишь полный отказ от такого классического для логики XX в. метода разрешения парадоксальных ситуаций в мышлении, как теория типов Рассела, позволит нам возобновить эпистемологическую критику релятивизма с использованием аргумента от самореферентности.

Теория типов Рассела может быть раскритикована с точки зрения различных аспектов, и в этом смысле критическая аргументация Фитча является только одним из них. Более подробно вся сумма критической аргументации в адрес классической теории типов была представлена нами в другом месте [12], и здесь мы не будем повторяться. Задача данной статьи – подчеркнуть, что какое-либо половинчатое решение в отношении теории типов для нужд эпистемологии не подойдет. Если мы хотим продолжать использование критического аргумента против релятивизма на основе самореферентности, то теорию типов нужно отвергнуть полностью, а не использовать методику ее частного ограничения.

Демонстрация несостоятельности современных релятивистских концепций на основе аргумента от самореферентности

После того как мы прояснили логические основания применимости аргумента от самореферентности для критики релятивизма, мы можем продемонстрировать, что современные релятивистские концепции являются, говоря словами К. Кордига, «самореферентно несостоятельными».

Для примера можно взять философию языка У. Куайна, которую Кордиг также критикует в первую очередь.

Куайн выдвинул возражение против операции верификации [13], принятой в логическом позитивизме. Позитивистская операция верификации репрезентировала референциалистскую семантику, ибо в ней постулировалось признание осмысленности языкового выражения (на «молекулярном» лингвистическом уровне – предложения) только в том случае, если для него в принципе можно сформулировать прямое остенсивное определение, отсылающее к конкретному предмету или событию действительности.

Куайн предложил для рассмотрения следующую гипотетическую ситуацию. Допустим, мы являемся практикующими лингвистами. В нашу задачу входит формирование словаря языка какого-либо племени туземцев. Очевидно, что словарь должен представлять собой построение синонимических ря-

дов, соотносящих значения слов языка туземцев со значениями слов того языка, на котором мы говорим, – русского или, в случае Куайна, английского.

Каким образом лингвист может начать осуществление данного предприятия? Только путем оstenсивных определений, ведь никаких зацепок в соотношении языков еще не сформировано, необходимо обратиться к самому объективному миру, чтобы здесь попытаться установить какие-либо корреляции.

Однако обращение к оstenсивному определению оказывается весьма проблематичным. Куайн говорит, что проблема возникает с так называемой точкой оstenсии (то место на воображаемой плоскости, куда попадает прямая, проведенная от указательного жеста к предмету). Оказывается, что сама эта точка еще не гарантирует нам четко фиксированного видения предмета. Напротив, она допускает плюрализм интерпретаций.

Представим себе, что лингвист оказывается вместе с носителем незнакомого ему языка в лесу, на охоте, и замечает между деревьев притаившееся животное. Туземец показывает на него пальцем и произносит «гавагай» [14]. При этом лингвист замечает, что по виду притаившееся животное ничем не отличается от того, что он в своем языке именуется словом «кролик». Спрашивается, может ли исследователь языка на основании данного оstenсивного определения термина «гавагай» записать в свой словарь «гавагай = кролик»? Куайн утверждает, что нет. Точка оstenсии не определяет того, что имел в виду туземец – вот этого кролика или некий «срез кролика», т.е. рассмотрение предмета в некотором аспекте, например кролика вообще, правый бок кролика, мех кролика и т.д. Более того, он в своем указательном жесте вообще мог не иметь в виду какой-то стационарный предмет. Возможно, слово «гавагай» для него означает ситуацию, в которой животное данного вида замерло в неподвижности между деревьев. Этому можно противопоставить ситуацию, в которой то же животное проносится между деревьев на большой скорости. Возможно, что туземец будет использовать для такого случая другой термин, а значит, вообще не будет расценивать этот предмет как тот же самый в различных ситуациях.

Оstenсивное определение не может нам предоставить какого-то однозначного значения термина потому, что мир, с точки зрения Куайна, не предстает в нашем чувственном опыте так, как он есть сам по себе. Уже до обращения к опыту в нашем языке проведена концептуализация мира. Результат оstenсивного определения зависит от того концептуального каркаса, с которым мы обращаемся к опыту. Например, мы склонны видеть мир как состоящий из отдельных самотождественных предметов, на которые как бы «навешиваются» различные свойства. Но мы не замечаем, что на это нас провоцирует доминирующая роль тех существительных в нашем языке, которые фиксируют отдельные предметы. Глаголы и прилагательные играют вспомогательную роль – они говорят о действиях и свойствах этих предметов. Но почему мы уверены в том, что такому синтаксическому строю будет подчиняться любой язык? Что если в языке туземца не проводится различия между существительными, глаголами и прилагательными? Тогда слово «гавагай» может вообще не обозначать отдельного предмета. Также мы не сможем определить, проводит ли туземец различие между конкретными и абстрактными предметами, если мы не обнаружим в его языке так называемых

индивидуализирующих и универсализирующих кластеров, которые мы имеем в своем базовом языке. Значение слова «кролик» само по себе еще остается неопределенным – мы не знаем, что здесь подразумевается: кролик вообще или вот этот конкретный кролик. Для этого мы используем вспомогательные кластеры нашего языка – артикли (указательные местоимения): «the rabbit» – «вот этот кролик», или, наоборот, универсализирующие кластеры-окончания – «ness»: «rabbitness» – «кроликовость». Когда мы слышим слово «гавагай», мы не можем произвести этого различия. И самое главное, нам не может помочь в этом остенсивное определение – тот фундамент, на котором держится референциалистская теория значения.

Все это приводит Куайна к выводу о неработоспособности метода радикальной верификации. Невозможно посредством обращения к «чистому опыту» обнаружить сам мир. Мир всегда уже размечен соответствующими концептуальными каркасами, сформированными в языке. Невозможно не только обнаружить сам мир, но даже совершить адекватный переход из одного концептуального каркаса в другой (т.е. осуществить адекватный перевод с языка на язык), ибо, пытаясь это сделать, мы подгоняем исследуемый каркас под свою собственную концептуализацию.

Отсюда следует, что референциалистская теория оказывается неправомерной. Значениями слов не могут являться объекты мира. Скорее, значение формируется в самом языке еще до обращения к непосредственному чувственному опыту. Значения представляют собой конвенции, формируемые в той или иной конкретной лингвистической группе.

Теория неопределенности перевода является ярко выраженным примером конвенционалистской семантики, что позволяет нам охарактеризовать Куайна как антиреалиста и релятивиста. Но конвенционализм достаточно просто может быть раскритикован с точки зрения аргумента от самореферентности. Философия языка Куайна есть теоретическое построение о том, что представляет собой любой язык. Язык есть конвенционально установленная сеть значений, которая характеризует не саму реальность, а, скорее, частный способ видения реальности. Однако сама теория Куайна выражена в языке, следовательно, она является самореферентно несостоятельной. В определенном конкретном языке, задающем только одну эпистемическую установку, осуществляется попытка описать сущностные черты любого языка. Такая теория, утверждая релятивность любого описания, сама претендует на абсолютный характер своего описания. Это выглядит непоследовательно с точки зрения аргумента от самореферентности, т.е. при применении к определенной теории ее же собственных содержательных положений.

Подобным образом могут представлены как самореферентно несостоятельные многие известные семантические концепции в аналитической философии, имеющие эпистемологические импликации релятивистского характера. В частности, самореферентно несостоятельными предстают такие семантические проекты, как концепция языковых игр позднего Л. Витгенштейна [15] и ее радикально скептическая интерпретация со стороны С. Крипке [16], семантические воззрения Н. Гудмена [17], теория радикальной интерпретации Д. Дэвидсона [18], теория речевых актов П. Грайса [19] и Д. Серла [20] и даже генеративная грамматика Н. Хомского [21], которая, казалось бы, построена на основе натуралистической установки.

Выводы

Проведенное исследование позволяет сделать следующие важнейшие выводы:

1) современная критика релятивизма в эпистемологии обязательно должна учитывать результаты работ в области логики и философии математики XX в. Без этого внимания к чисто логическим штудиям современная эпистемология выйдет наивной;

2) идея ограничения теории типов, зафиксированная в исследованиях Ф. Фитча, может быть использована в философии математики, но для эпистемологии она оказывается неприемлемой ввиду того, что явление самореферентности в таком случае не может применяться в качестве критического аргумента по отношению к эпистемологическому релятивизму;

3) современные эпистемологические проекты релятивистского типа предстают как самореферентно несостоятельные (self-referential inconsistent) на основании критической аргументации, учитывающей результаты логических исследований.

Литература

1. Платон Тезтет // Платон. Сочинения : в 4 т. СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 2007. Т. 2. С. 229–327.
2. Рассел Б. Математическая логика, основанная на теории типов // Логика, онтология, язык. Томск, 2006. С. 16–62.
3. Уайтхед А., Рассел Б. Основания математики : в 3 т. Самара : Самар. ун-т, 2005. Т. I.
4. Siegel H. Relativism, Truth and Incoherence // Issues in Epistemology. 1986. Vol. 68, № 2. P. 225–259.
5. Brown H. For a Modest Historicism // The Monist. 1977. Vol. 60. P. 540–555.
6. Meiland J. Is Protagorean Relativism Self-Refuting? // Grazer Philosophische Studien. 1979. Vol. 9. P. 51–59.
7. Field H. Realism and Relativism // The Journal of Philosophy. 1982. Vol. 79. P. 553–567.
8. Лекторский В.А. Релятивизм и плюрализм в современной культуре // Релятивизм как болезнь современной философии / отв. ред. В.А. Лекторский. М. : Канон+, 2015. С. 5–31.
9. Wormell S.P. On the Paradoxes of Self-Reference // Mind. 1958. Vol. 67, № 266. P. 267–271.
10. Kordig C. Self-Reference and Philosophy // American Philosophical Quarterly. 1983. Vol. 20, № 2. P. 207–216.
11. Fitch F. Self-Reference in Philosophy // Mind. 1946. Vol. 55, № 217. P. 64–73.
12. Ладов В.А. Критический анализ иерархического подхода Рассела–Тарского к решению проблемы парадоксов // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2018. № 44. С. 11–24.
13. Куайн У. С точки зрения логики. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2003. 166 с.
14. Куайн У. Слово и объект. М. : Логос, Праксис, 2000. 386 с.
15. Витгенштейн Л. Философские исследования // Философские работы. М. : Гнозис, 1994. Ч. 1. С. 76–319.
16. Крипке С. Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005. 152 с.
17. Гудмен Н. Факт, фантазия и предсказание. Способы создания миров. М. : Идея-пресс, Праксис, 2001. 376 с.
18. Дэвидсон Д. Истина и интерпретация. М. : Праксис, 2003. 448 с.
19. Grice P. Studies in the Way of Words. Cambridge, MA ; London : Harvard University Press, 1989. VIII, 394 p.
20. Searle J. Speech Acts. Cambridge : Cambridge University Press, 1969. 204 p.
21. Хомский Н. Язык и мышление. М. : Изд-во МГУ, 1972. 123 с.

Vsevolod A. Ladov, Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation); Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation); Siberian State Medical University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: ladov@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 51. pp. 43–52.

DOI: 10.17223/1998863X/51/5

THE IDEA OF LIMITING THE TYPE THEORY IN THE PHILOSOPHY OF MATHEMATICS IN THE CONTEXT OF THE CRITICISM OF EPISTEMOLOGICAL RELATIVISM

Keywords: relativism; epistemology; logic; philosophy of mathematics; self-reference; theory of types; Bertrand Russell; Frederic Fitch; Carl Kordig.

The article examines the criticism of relativism in modern epistemology in comparison with studies on logic and the philosophy of mathematics. Frederic Fitch's idea to limit the use of Bertrand Russell's theory of types is discussed. The author of the article claims that Fitch's idea relates to the problems of the philosophy of mathematics, but it cannot be applied in the field of epistemology. The results of Carl Kordig's studies are critically evaluated. In order to demonstrate the inconsistency of relativism in modern epistemology Kordig tries to rely on Fitch's works on the philosophy of mathematics. The inconsistency of some modern relativistic concepts using the reductio ad absurdum argument based on the self-reference phenomenon is shown. Fitch's idea of limiting Russell's theory of types was to apply this theory to self-referential reasonings that lead to paradoxes but not to apply it to other reasonings containing self-referentiality. This idea may well be used in the field of the philosophy of mathematics. However, difficulties arise when we try to transfer this idea from the field of the philosophy of mathematics to epistemology. If we continue to apply Russell's theory of types in relation to paradoxical self-referential reasoning, then this theory will justify the relativistic type of thinking. The author of the article claims that if we want to criticize relativism using the reductio ad absurdum argument based on the phenomenon of self-referentiality, as Kordig does, then we must completely abandon Russell's theory of types.

References

1. Plato. (2007) *Sochineniya v chetyrekh tomah* [Collected Works on 4 vols]. Translated from Ancient Greek. St. Petersburg: St. Petersburg State University. pp. 229–327.
2. Russell, B. (2006) *Matematicheskaya logika, osnovannaya na teorii tipov* [Mathematical logic as based on the theory of types]. In: Surovtsev, V.A. (ed.) *Logika, ontologiya, yazyk* [Logic, Ontology, Language]. Translated from English by V.A. Surovtsev. Tomsk: Tomsk State University. pp. 16–62.
3. Whitehead, A. & Russell, B. (2005) *Osnovaniya matematiki* [Principia Mathematica]. Vol. I. Translated from English by Y.N. Radaev, A.V. Ershov, R.A. Revinsky, I.S. Frolov. Samara: Samara State University.
4. Siegel, H. (1986) Relativism, Truth and Incoherence. *Issues in Epistemology*. 68(2). pp. 225–259.
5. Brown, H. (1977) For a Modest Historicism. *The Monist*. 60. pp. 540–555.
6. Meiland, J. (1979) Is Protagorean Relativism Self-Refuting? *Grazer Philosophische Studien*. 9. pp. 51–59. DOI: 10.5840/gps197994
7. Field, H. (1982) Realism and Relativism. *The Journal of Philosophy*. 79. pp. 553–567.
8. Lektorsky, V.A. (2015) Relyativizm i pluryalizm v sovremennoy kul'ture [Relativism and pluralism in modern culture]. In: Lektorsky, V.A. (ed.) *Relyativizm kak bolezni' sovremennoy filosofii* [Relativism as a disease of modern philosophy]. Moscow: Kanon+. pp. 5–31.
9. Wormell, S.P. (1958) On the Paradoxes of Self-Reference. *Mind*. 67(266). pp. 276–271. DOI: 10.1093/mind/LXVII.266.267
10. Kordig, C. (1983) Self-Reference and Philosophy. *American Philosophical Quarterly*. 20(2). pp. 207–216.
11. Fitch, F. (1946) Self-Reference in Philosophy. *Mind*. 55(217). pp. 64–73.
12. Ladov, V.A. (2018) Critical analysis of the hierarchical approach to the solution of the paradox problem. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 44. pp. 11–24. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/44/2

13. Quine, W. (2005) *S tochki zreniya logiki* [From a Logical Point of View]. Translated from English. Tomsk: Tomsk State University.
14. Quine, W. (2000) *Slovo i ob"ekt* [Word and Object]. Translated from English. Moscow: Logos, Praksis.
15. Wittgenstein, L. (1994) *Filosofskie raboty* [Philosophical Works]. Moscow: Gnozis. pp. 76–319.
16. Kripke, S. (2005) *Vitgenshteyn o pravilakh i individual'nom yazyke* [Wittgenstein on Rules and Private Language]. Translated from English by V.A. Ladov, V.A. Surovtsev. Tomsk: Tomsk State University.
17. Goodman, N. (2001) *Sposoby sozdaniya mirov* [Ways of Worldmaking]. Translated from English by M.V. Lebedev. Moscow: Ideya-press, Praksis.
18. Davidson, D. (2003) *Istina i interpretatsiya* [Truth and Interpretation]. Translated from English. Moscow: Praksis.
19. Grice, P. (1989) *Studies in the Way of Words*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
20. Searle, J. (1969) *Speech Acts*. Cambridge: Cambridge University Press.
21. Chomsky, N. (1972) *Yazyk i myshlenie* [Language and Mind]. Translated from English by B.Yu. Gorodetsky. Moscow: Moscow State University.

Е.А. Найман

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ИДЕОЛОГИИ (ПРОЛЕГОМЕНЫ К НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОНТОЛОГИИ ЯЗЫКА)

Предметом данной статьи является критика модернистской языковой идеологии, которая приводит к новой концепции социальной онтологии языка. Центральная тема – переосмысление понимания языков как автономных сущностей и замкнутых систем. Авторская методология опирается на теорию онтологического конструктивизма и метадискурсивный подход к описанию языков как идеологических конструктов, основанных на националистических идеологиях XVIII–XIX столетий. Ключевые слова: язык, языки, языковые ресурсы, языковая идеология, национальное строительство, интеграционизм, сегрегационизм.

Введение

Данная статья посвящена современной тенденции переосмысления социальной онтологии языков как автономных сущностей и замкнутых систем. Несмотря на то, что постулат о существовании языков является значимой частью теоретического лингвистического аппарата, социолингвистика все чаще считает «языки» продуктами политических и социокультурных идеологий. Как отмечает П. Бурдьё, «язык сам по себе является социальным артефактом, придуманным ценой решительного пренебрежения различиями» [1. Р. 287]. Кроме того, философское понимание языка как «вещи в себе», обособленной и ограниченной ресурсной системы, постепенно разрушается под воздействием языковых практик современной коммуникации.

В последнее время лингвистика денатурализирует идею отдельных языков как замкнутых систем с упорядоченной грамматикой, звуками и словарем. Проблематизируя структурное понимание «языков», лингвисты пытаются перейти на новый уровень анализа, полагая, что осмысление языка не может опираться на сугубо лингвистические критерии, при которых «языки» существуют в виде абстрактных конструктов, неизменной совокупности языковых форм, изолированных от реальной социальной практики.

Несмотря на то, что критика идеи автономных языков в лингвистике не нова, последние научные дискуссии напрямую связывают индивидуальность языков с языковой нормативностью и националистической идеологией. Современная социолингвистика рассматривает не только понятия «языка» и «языков», но и «диалектов», «социолектов», «вариантов» и «регистров» как измышлений социальных, культурных и политических направлений европейской мысли, распространенных по всему миру и положивших начало лингвистическому мышлению. Переворот, намечаемый в социальной онтологии языка, нацелен изменить восприятие языков как реальных сущностей, связанных с географией современного мира.

Проблема данного исследования может быть выражена в форме следующих вопросов. Каким образом возникает в западноевропейском культурном

пространстве идея «языков» как дискретных сущностей? Как представление о языковом разнообразии связано с теоретическим определением «языка» в различных политических, философских и лингвистических теориях? Какие идеи, лежащие в основе изобретения понятий «языка» и «языков», могут быть подвергнуты критике и переосмыслению?

Методология

Прежде всего необходимо сделать важные методологические замечания. Анализируя проблему языковой дифференциации, выделим три позиции. Первая из них – радикальный реализм, или фундаментализм, признающий объективный статус языка, независимый от человеческой деятельности.

Вторая – *социально-конструктивистская*, настаивающая на том, что «языки» – не онтологические сущности, а политические конструкторы. Напомним, что с позиции конструктивизма язык – это множество ресурсов, распространенных в социальных сетях и дискурсивных пространствах, значение и ценность которых обусловлена социальными процессами и их историческими контекстами. Уже довольно давно лингвисты отказываются признавать строгие научные законы определения языкового статуса. Такие решения считаются политическими, т.е. случайными и условными, а языки рассматриваются как продукты человеческого воображения. Кстати, деконструкция идеи отдельных «языков» в лингвистической науке во многом стала следствием критического анализа «наций» в социальных науках (Б. Андерсон, Э. Саид и др.).

Третья позиция, которую можно назвать *онтологическим конструктивизмом*, связана с еще более радикальной эпистемологией, запрещающей видеть за понятием «языка» вообще какой-либо реальный объект. Ее сторонники считают социальным конструктором не только понятие «языков», но и само понятие «языка» как детища греко-латинского Запада. Утверждается, что придумывались не только языки, но и связанные с ними территории, которые тем не менее имеют вполне «реальный» статус для их населения. Несмотря на то, что язык – не биологический и трансисторический факт, а целостный дискурсивный конструктор, люди верят в его онтологическую сущность, и эта вера им совершенно необходима.

Для конструктивистской парадигмы важнейшим становится *метадискурсивный подход*, которого придерживается и автор данного исследования. Его суть состоит в следующем: несмотря на то, что все представители человеческого рода имеют язык, его способы осмысления создаются с помощью идеологических линз, зависящих от особых метадискурсивных режимов, выраженных в особых культурных и исторических контекстах. Чтобы понять зарождение и развитие этих режимов, следует обратиться к истории языковых идеологий. Изучение последних как совокупности утверждений по поводу языков имеет особую ценность.

Языковые идеологии удобнее всего рассматривать в контексте двух конфликтующих парадигм: *сегрегационизма* (П. Мюльхёслер) и *интеграционизма* (Р. Хэррис). Сегрегационизм настаивает на внутренней систематичности языков, их независимости от речевой деятельности. В его русле обсуждаются в настоящее время все наиболее значимые проблемы многоязычия, двуязычного образования, кодовых переключений, языковых прав и т.д. Для интеграционизма же наиболее важна повседневная языковая коммуникация. Мы

придерживаемся интеграционизма, понимающего язык как неотъемлемое свойство социального взаимодействия, а не априорную систему, связанную с территорией, этносом и нацией. Языки – продукты социальных акторов, лишенные онтологического статуса вне порождающих их социальных, политических и культурных процессов.

Задачей статьи является критика основных положений сегрегационизма: во-первых, представления о языках как о природных организмах; во-вторых, идеи тождества языков, наций, культур и территорий; в-третьих, процесса именованья и подсчета языков. Мы попытаемся доказать, что понятие «язык», а также метадискурсивные режимы его описания тесно связаны с традиционными западными лингвистическими, политическими и культурными особенностями.

Возникновение понятий «язык» и «языки»: метадискурсивный опыт описания

В последнее время большинство исследователей считают понятие «язык» европейским изобретением, связанным с образованием национальных государств и эпохой Просвещения. Как отмечает Сьюзан Гал, «речь является универсальной характеристикой наших видов, но „язык“, как он впервые использовался и продолжает до сих пор использоваться в Европе и во всем мире, не эквивалентен речевой способности, предполагая особую совокупность характеристик» [2. Р. 968]. Понятие «отдельных языков» подразумевает закрытый пакет языковых средств (слов, грамматических правил, фонетических единиц), исключающий средства других языков. Получившие названия языки считаются однородными, а границы между ними устанавливаются на основе утраты ими внутренней взаимопонятности.

Огромную роль в создании идеи «языков» сыграла Французская революция с двумя основополагающими концепциями «нации». Первая была связана с Просвещением, отвергнувшим легитимность церкви и монархии, основанных на иррациональности религиозной веры. В лице Декарта, Локка и Лейбница идея разума взамен божественного права привела к критике церковной власти, открыв политическую дорогу буржуазии. Вторая концепция связана с романтизмом в литературе и искусстве, провозгласившем Природу источником всех смыслов и авторитетов. Обе идеи создали возможность различных интерпретаций нации, языка и культуры.

Как полагают Р. Бауман и Ч. Бриггс, именно Дж. Локк впервые превратил язык в ключевое понятие современности, отделив его от общества, очистив от связей с социальными позициями и интересами, а также от природы, понимание которой было дискредитировано мистицизмом, магией и алхимией. Исследователи считают Джона Локка родоначальником идеи языка как сущности, легко извлекаемой из всего остального социального мира: «...отделяя язык от природы / науки и общества / политики, Локк выдвинул в центр своего видения современной лингвистики практики очищения языка от каких-либо явных связей с обществом и природой» [3. Р. 299–300]. «Язык», таким образом, начал пониматься как автономная система и независимая сущность.

Кроме того, ясностью своей формы язык должен был противостоять витиеватой риторике аристократического сословия. Абстрактный язык, олице-

творяя универсальную логику, наиболее явно выражал суть либеральной идеологии. Людьюми должны управлять общие логические правила, а не таинственный авторитет, полученный от рождения. Эти правила, укорененные в природе, необходимо определить посредством рационального мышления при помощи процедуры кодификации. Языковая стандартизация, отливая громоздкую материю в ясную форму, как раз и нацелена на экспликацию этих правил.

В XVIII в. возникла и широко обсуждалась идея французского языка как языка разума (языка Просвещения *par excellence*), обладающего наиболее «ясной» формой. За счет исключительной простоты, точности и референциальной адекватности французский язык должен был гарантировать рациональный дискурс в пределах гражданского общества, что связано с буржуазно-либеральной концепцией нового коммуникативного процесса, в котором общественно значимые проблемы свободные граждане обсуждают на базе разумных аргументов, а не на основе их социальных статусов.

Стоит напомнить, что либеральная демократия основывается на идее рынка, выгодного всем гражданам общества. Способность к рациональному мышлению объявляется важнейшей для «гражданина», что ставит буржуазного субъекта в наиболее выигрышное положение перед аристократией и церковью. Административная функция становится неотъемлемой частью централизованного государства, выступая причиной неизбежного роста бюрократии. Период развития национализма связан с возрастанием роли государственной бюрократии, военных организаций и колониальных администраций. Главная же заповедь бюрократической деятельности – стандартизация механизмов управления и образа управляемых граждан. И именно язык играет ключевую роль в этом процессе, превращаясь в главную ценность буржуазного капитализма, поскольку выступает первым и важнейшим средством легитимизации власти буржуазии в противовес божественной и аристократической власти. Стандартизация языковых форм оказывается неотъемлемой частью строительства общего пространства, в котором чтение и письмо на местных языках открывают дорогу в политическую и экономическую деятельность владеющим этими навыками. В XVIII в. полагали, что языки способны решить многие политические вопросы, действуя в интересах наций против династий и договоров.

Вторая идея, связанная с немецким романтизмом, квалифицирует нацию как естественную, природную и органическую сущность. Парадигма восприятия языка XIX в. заключалась в следующем: язык не подвластен человеческой воле, а языковое различие есть «естественное» следствие духовного или даже биологического многообразия речевых сообществ. Поскольку языки – природные организмы, не управляемые субъективными намерениями, то Август Шлейхер, например, объявлял науку о языке естественной наукой. А это значит, что ее следует отделить от повседневной речи и социальной жизни людей, ибо языковое разнообразие не относится к числу продуктов социальной деятельности. Именно XIX в. ознаменовал поворот к изучению языка как автономной органической сущности, что повлекло за собой появление теорий языкового древа, языковых семей, органических различий языковых типов и т.д.

Идея «гражданина» была тесно сопряжена с органическим пониманием нации. Подчеркивалось близкое родство культуры и языка, а также счита-

лось, что язык – наилучшее средство изучения культуры сообщества. Расы, языки и культуры параллельны друг другу. Для большинства лингвистов прошлого века различие языков индексировало различия этнических групп и наций. Как отмечал Д. Кэмерон, эту позицию очерчивал тезис о существовании «естественной связи между сообществом и материнским языком, выражавшей уникальность его культуры и мировоззрения» [4. Р. 280]. Данная этнолингвистическая установка («расовый сентиметализм») активно критиковалась уже Э. Сепиром, отмечавшим, что «совершенно неродственные языки обслуживают одну и ту же культуру, а близкородственные языки, иногда один и тот же язык, относятся к различным культурным сферам» [5. С. 190]. А К. Хаттон полагает, что «наука о расах ведет свое происхождение от языковых исследований» [6. Р. 3]. По его мнению, источником многих понятий современной лингвистики (таких как «носитель языка» или «речевое сообщество») является «националистический органицизм», который, будучи частью европейского национализма, достиг своего полного расцвета в нацистской Германии.

Язык должен показать ясные и наглядные характеристики подлинности. Взаимосвязь чистоты языка и его аутентичности стала следствием романтической озабоченности местными культурами, носящей буколический характер. Для возникающих национальных государств местные традиции усиливали чувство культурной укорененности. Возникшая диалектология вооружала локальные культуры научными данными, а лингвистический структурализм обеспечивал методологией изучение их языков. Структурно-дескриптивная грамматика и словарь стали основным предметом языковых исследований, в которых современные языки обретали официальное признание.

Политическая значимость отождествления языка и нации была огромной. Если рассматривать языки как естественные и органические сущности, то их существование не зависит от их открытия и изучения. Языки признавались естественными сущностями как следствие многообразия человеческой природы, а не продуктов самосознательной деятельности. Если же языки априорны человеческой политической активности, то вполне могут служить надежным основанием идентификации населения и территорий как политических образований (либо самостоятельных национальных государств, либо единиц для колониальной администрации). Именно априорность языков любым формам политической деятельности служила оправданием для политических актов образования национальных государств.

Постоянные и однородные социальные группы заслуживают государства, территории и политической автономии. Если ваш язык можно назвать «моим» языковым вариантом, то я могу претендовать на вашу территорию как часть моего государства. К примеру, отсутствие «отчетливости» языка заставляет сомневаться в легитимности национального государства. Политическая «недоразвитость» Украины в представлении русских националистов обусловлена тем, что на Западе украинский язык близок польскому, а на Востоке – неотделим от русского. Отсутствие «ясного» языка становится показателем культурной ущербности.

Идеал национального государства – одноязычие, поскольку такое состояние для этнических групп выглядит «естественным». В этом случае изучение языка – удобное средство опознания этнических групп, классификации

межличностных взаимоотношений и реконструкции истории народа. Зачастую группа, язык которой отличен от других, считается «реальной» этнической группой. Многоязычные сообщества носят проблемный характер, поскольку требуют организационных государственных форм, обращенных против «естественного» объединения людей. Многоязычие становится препятствием на пути построения национального государства. Логика рассуждения очевидна: языки – маркеры единственной этничности, вызывающие у человека сильные эмоции. У одноязычных индивидов – лишь одна этноязыковая идентичность, и даже если «чистота» их этничности вызывает сомнения, материнский язык вполне способен их развевать.

Как отмечал Дж. Фишман, уже Платон видел в этничности угрозу государственной целостности, а поздние идеологи западной демократии (Дж. Милль, например) считали многонациональное государство разрушителем гражданского общества, вызывающим разгул страстей и дикости. Мудрое, политически и экономически стабильное государство создает для себя и легитимную «национальность». Подобная этнолингвистическая установка лежала в основе модернистской языковой идеологии, отвергающей какую-либо «гибридность», вносящую хаос в состояние языка. Именно поэтому З. Бауман считал идею порядка ключом к пониманию модерна. Бельгийский социолингвист Ян Бломмарт выделяет три оси идеологии языковой нормативности: «1) *Ось порядка против беспорядка* в языковом употреблении, зачастую ведущая к модернистской языковой политике, где языки были иерархично упорядочены относительно друг друга; 2) *чистого против нечистого*, где суждения о „качестве“ языка основывались на модернистских (т.е. структуралистских) оценках чистоты языковой формы, спроецированной на чистоту его носителей (если вы говорите на „чистом“ языке X, то вы „настоящий“ представитель культуры Y); 3) *ось нормального и ненормального*, где идентичность суждений зависит от противопоставления суждений с нормальным и ненормальным языковым употреблением» [7. Р. 6].

С XVIII столетия важнейшей технологией создания единого национального государства и формой языкового контроля выступала перепись населения. Ее статистика служила ключевым источником самопознания государства, предоставляя пищу для размышлений относительно его политической и экономической деятельности. Что необходимо знать государству о своем населении – вопрос дискуссионный, но язык сразу стал ключевым маркером национальной принадлежности. Возникает идея прочной связи языка, национальности и гражданского статуса, при которой каждый индивид в пределах органического тела нации обязан иметь единственные культуру и язык. Затем в переписях начали конкретизировать «материнский язык», ограничивающий гражданина государства сферой первичной семейной социализации, а женщину и дом признавать оплотом нации и эмблемами ее языка.

Основной режим языкового контроля национального государства – языковая стандартизация, позволяющая формировать нацию. Языковые формы считаются языками, обладая письмом, литературной традицией и нормами правильности. Отсутствие каких-либо из перечисленных факторов не позволяет говорить о развитости, современности и цивилизованности языка. Как отмечает Дж. Милрой, «стандартные языки – идеализации, зафиксированные и собранные в единое целое», а «в реальности никто на них не говорит» [8.

Р. 27]. В их онтологическом статусе никто не сомневается, поскольку стандартные языки – объективные сущности, описанные многочисленными правилами. Однако стандартный язык создается метадискурсом, т.е. множеством утверждений относительно гипотетических объектов, которые необходимо закрепить в словарях и грамматиках. Поэтому дискуссии о стандартных языках – это всегда споры об их идеологиях.

Стандартизация не только отвечает на вопрос о том, какой языковой материал необходимо приписать тому или иному языку, но и занята проблемой: какую форму должен принять этот материал и по какой причине? Наиболее важной частью стандартизации является *синтаксис*. Уже В. Гумбольдт доказывал, что логичность языка возрастает в зависимости от степени явной выраженности в нем грамматических отношений за счет добавления морфологического материала, обозначающего лицо, число, позицию по отношению к говорящему и лексические связи (склонение и спряжение). Словари также выполняли задачи стандартизации, раскрывая историю происхождения слов. Историческая лингвистика выявляла «чистые» языковые формы, а литературный канон (образцовый перечень литературных произведений для данной нации) поддерживал и развивал языковую непрерывность со стороны художественной традиции. Возникающий в результате стандартизации национальный язык служит доказательством гражданства или потенциального гражданства, поскольку гражданами государства признаются владеющие им субъекты.

Исходя из этого, очевидна взаимосвязь понятий «разум», «прогресс», «рациональность» и «языки». Идея рациональности, провозглашенная во Франции, создала бинарную оппозицию между революцией разума, истины, ясности и древним режимом избыточности и декадентства, выраженным в одежде, декоре, еде и дискурсе. М. Хеллер полагает, что источник этой оппозиции – гендерная идеология нации. Развращенность прежнего политического уклада была сопряжена с неразборчивым отношением аристократии к браку как экономическому союзу. Подобные союзы позволяли женщинам использовать свою скрытую власть за спиной патрона (в этом отношении любовницы королей наиболее показательны). В связи с этим аристократия адаптировала феминизированные культурные практики, такие как длинное письмо, склонность к сентиментам, украшательства в текстах. Революция, наоборот, встала на сторону ясного и чистого «мужского» языка.

Бауман и Бриггс доказывали, что такая гендерная позиция укрепила неравенство граждан государства, при котором представители европейской буржуазии мужского пола получили наибольшую власть. Это объясняется противопоставлением разума и эмоций, согласно которому женщина выглядела недостаточно «рациональной» для разумного либерального общества. Она может быть лишь слушателем мужской речи. В этой же дихотомии – причина лишения женщин избирательного права. С другой стороны, женщина олицетворяет романтическую идею нации, воспроизводя ее органическую и природную сущность. Роль женщин в период детской социализации на этапе превращения ребенка в гражданина общества – важнейшая, а дом – место обитания романтической души нации. Кроме того, женщина – защитник национальных традиций. Например, в Японии в XX столетии мужчины-интеллектуалы создали особый «женский язык», призванный помочь воспитать из школьниц «хороших» жен и матерей.

Понимание человеческого языка, предполагающее разные «языки», связано с представлением о нем как о совокупности дискретных, названных и подсчитанных явлений. Это отражено в самой терминологии описания носителей языка: «билингв», «одноязычный», «полиязычный». В ней уже прочитывается возможность подсчитывать языки: один, два, три и т.д. Считается, что язык выступает базовой технологией для именования мирового пространства.

Основой такого количественного подхода к языкам стала европейская колониальная идеология. Прослеживается явная взаимосвязь колониальных проектов и европейских языковых исследований. Лингвистическая наука стремилась упорядочить этнический хаос Африки, Полинезии и Америки на основе твердых модернистских принципов. Первый принцип «олигоязычия» требовал свести многоязычные общества к определенному числу языков, используемых на их территории, а второй – «эффективности и лояльности» – предписывал иерархизацию языков в различных сферах общества. Как отмечает Дж. Эррингтон, описание языков «было тесно связано с масштабным колониальным акцентированием человеческих иерархий», а это значит, что «интеллектуальная работа [лингвистов]... в целом не отличалась от „идеологического“ измышления образов народов в зонах колониального контакта» [9. Р. 5]. Роль лингвистов сводилась к открытию языков, которые затем приписывались единственной этнической или социальной группе. Таким образом, языковое различие играло огромную роль при создании человеческих иерархий, а описание языков неотделимо от колониальных императивов контроля, подчинения и порядка. Именно поэтому такое описание выглядело скорее как колониальный план классификации подчиненных народов, нежели научный проект разделения языкового спектра.

Важно отметить, что названия языков, придуманных европейцами, были не просто новыми для уже существующих объектов, а нарекали совершенно новые объекты. Акт именования преформативно утверждал новые языки. Например, почти все языки в Индии были придуманы европейцами. Названия ассамского языка или бенгали основаны на словах английского происхождения. Ориенталистский проект именования языков, как полагает американский психолог-когнитивист Дэвид Людден, «начался с выбора необходимых языков для получения достоверной информации об Индии. Индийские языки стали фундаментом научного изучения индийской традиции, основанного на данных, полученных европейцами от местных носителей-экспертов» [10. Р. 261].

Основой таких проектов была идеология подсчета дискретных языков, имеющих территориальное распространение. Предполагается, что языки и их носители легко поддаются точному пересчету. При этом давно замечено серьезное несоответствие между количеством языков, в существование которых верят лингвисты, и числом языков, о котором сообщают носители. Этнологи упоминают о 7 000 языках, признанных лингвистами в качестве дискретных сущностей в мировом списке, и 40 000 названий используемых языков. При этом они полагают, что «определение языка выбирается в зависимости от цели идентификации языков» [11]. «Язык» концептуализируется настолько по-разному, что эти способы слабо согласуются друг с другом.

Идеология переписи населения, основанная на подсчете языков, скрывала серьезные различия в способах их концептуализации. Как отмечает индийский лингвист Деби Паттанайак, несмотря на то, что с 1881 г. в Индии языко-

вой вопрос при переписи опирался на материнские языки, их концептуализация сильно различалась. Основатель и директор Института индийских языков демонстрирует это следующим образом:

1881 – язык, на котором ребенок говорит с колыбели;

1891 – язык родителей;

1901 – общеупотребительный язык;

1921 – язык родителей;

1961 – язык матери. В случае смерти матери пишут название языка, используемого в семье [12. Р. 40].

При переписи населения в Словении в разное время материнский язык понимался как:

1923 – язык мысли;

1934 – язык культурного цикла;

1951 – повседневный язык;

1961 – семейный язык.

При изучении Папуа Новой Гвинеи С. Ромейн (1994) сталкивалась с ситуацией, когда люди утверждали, что говорят на разных языках, которые для лингвистов были совершенно идентичны. Исследовательница отмечает, что, «вероятно, любые понятия дискретных языков – европейские культурные артефакты, причины которых – грамотность и стандартизация» [13. Р. 12]. В большинстве регионов Африки легко обнаружить явное несоответствие между «научными» и бытовыми названиями языков. Например, П. Джите упоминает два языка на западе Африки: *гере* и *вобе*, которые, «исходя из языковых свойств, лингвисты считают разными, а носители – одним и тем же языком» [14. Р. 6].

Как отмечает Петер Мюльхёслер, «понятие «языка» в большинстве традиционных сообществ было малозначимым» [15. Р. 358]. К примеру, специалист по языковой ситуации в Индонезии социолог Ариэль Херианто полагает, что именно европейцы привнесли в данное сообщество идею «языка», далекую от ее понимания местным населением, поскольку «по крайней мере в двух широко распространенных и влиятельных устных языках Индонезии – малайском и яванском – не было слова для „языка“. Однако еще важнее было отсутствие самой потребности выражать эту идею вплоть до конца XIX столетия» [16. Р. 43].

Уильям Самарин вообще рассматривает Африку как «континент без языков». Конечно, это не означает, что африканцы и индонезийцы лишены общения; они просто никогда не говорят о «языках». Как отмечает профессор университета Торонто, «в социокультурном смысле языков не было. В наших познаниях Африки довольно мало свидетельств об этнолингвистическом самосознании. Можно сказать, что вплоть до эпохи грамотности языков не существовало» [17. Р. 390]. На африканском континенте первое поколение лингвистов после дискретизации языков «потратило немало сил на составление письменных грамматик для ими же придуманных языков, чтобы гарантировать их социальную и интеллектуальную легитимность» [18. Р. 91].

Перед европейскими миссионерами стояло довольно много вопросов: Как стандартизировать местные языки в целях упрощения письма и обучения? Насколько местные языки могут представлять христианское вероучение? Наиболее высоко оценивался язык, способный донести всю суть

библейского текста, на котором при этом говорила большая часть населения. Именно такие языки получали название, снабжались словарями и грамматиками, а затем широко распространялись. Но зачастую язык выбирался не по причине использования местными жителями, а исходя из близости к миссии.

Появление целого ряда африканских языков (африкаанс, шона, тсонга, чиньянья, йоруба) явно наследовало гердеровскую мысль о неразрывности языка, расы и географического местоположения. История создания швейцарскими миссионерами языка тсонга красноречиво показывает сопротивление социальной реальности этой идеологии. В настоящее время на этом языке говорят в северной и восточной Трансваале (ЮАР) и на юге Мозамбика. У жителей данного региона никогда не было социальных и языковых связей. Население составили беженцы, спасающиеся от политических и экологических потрясений, вызванных гражданскими войнами 1860-х гг. в секторе Газа. После составления словаря тсонга был приписан миссионерами жителям региона как «коренной». Естественно, что миссионеры и администрация «владели» тсонга, контролируя подведомственную территорию совместно с получившими колониальное образование африканцами. Публикация книг на этом языке обеспечивала необходимый контроль над объемом знаний африканца, который всегда был лишь читателем, но не создателем текстов [19. Р. 161].

Большинство изобретенных языков, административно приписанных населению в качестве материнских, не только не способствовало, а, скорее, препятствовало распространению грамотности. Такие языки не просто создавались с привлечением внешних языковых норм (как фиджийский язык, к примеру), но и записывались при помощи метаязыковых категорий чуждых им языков. Так, в язык йоруба попали аналитические категории английского языка. Подобная история произошла и с тагальским языком (Филиппины), чья письменность создана на базе категорий латинского языка. Африканское население впитывало европейскую эпистемологию и на уровне словарей, придававших африканским словам европейский смысл. В. Мудимбе в работе «Изобретение Африки» говорил об отсутствии африканского следа даже в самом названии континента [20. Р. 58]. Слово «Африка» впервые употребляли римляне применительно к области Северной Африки, занятой в настоящее время Ливией. Сама же идея «Африки», как и «Индии», была сугубо европейским конструктором.

Таким образом, современные подходы к многоязычию начинались с проектов калькуляции мировых языков на основе весьма приблизительных подсчетов. При этом лингвисты продолжают исповедовать идеологию сингулярности, физически размещая языковые объекты на строго ограниченных территориях. Во многом система европейской колониальной сегрегационной лингвистики породила языковое многообразие, изрядно романтизируемое в эпоху мультикультурализма. Лингвисты собственными аналитическими категориями создали «языки» наподобие физического понятия «времени», изменение которого подчиняется конвенциям естественнонаучного сообщества.

Дискуссия

Идея языков как отдельных онтологических сущностей со своей структурой, грамматикой, четкими формальными границами является важнейшей для парадигмы, которую вслед за Питером Мюльхёслером принято называть

«языковой сегрегацией». Выступая иконой либерального мышления, данная концепция лежит в основе всей модернистской языковой идеологии.

Однако уже в 1930-х гг. Б. Малиновский сформулировал «дилемму современной лингвистики» в виде вопроса: возможно ли считать язык независимым предметом изучения? Другими словами, насколько вообще соответствует лингвистическое понятие «язык» какому-либо определенному (социальному, индивидуальному, институциональному, психологическому) объекту анализа? Ведь язык – слишком многомерное явление и может пониматься: «как естественный феномен; объект науки; разновидность человеческой способности; тип системы; добровольное поведение; как нечто используемое, изучаемое, имеющее узнаваемые элементы, содержащее паттерны, сказанное, услышанное, организованное и структурированное; как произведенные и осознанные данные» [21. С. 10].

Дело в том, что сам вопрос «что такое язык?» проблематичен, поскольку язык вовлечен в нейронно-мозговую, мускульно-телесную и социальную деятельность. Если же его рассматривать не как деятельность, а как способность, лежащую в ее основе, то идентификация такой способности без обращения к деятельности весьма сомнительна.

Лингвисты прошлого столетия объявили языковую способность универсальным свойством человеческой природы, а языковую деятельность связывали с индивидуальной активностью. Однако между всеобщей способностью и индивидуальной деятельностью расположены языковые системы, разделяющие сообщества. Эти системы и есть языки. Повышенное внимание к системам позволило определить предметную область лингвистических исследований, отделив их от психологических, физиологических и социологических. В данном случае языковые системы могут изучаться без обращения к социальным контекстам, в которых используются. При этом лингвистическая теория вполне может обойтись без определения языка, ибо главным объектом ее интереса становятся языки, а не язык. Первым наиболее отчетливо эту стратегию выразил Ф. де Соссюр, отделив язык от речевой деятельности человека, а описание языковой формы – от изучения социального взаимодействия.

Главенствующую роль ортодоксальная лингвистика отводила грамматической системе, рассматривая язык как совокупность предложений, созданных на ее основе, а его носителя – как субъекта, создающего грамматически правильные высказывания. Тем не менее ряд лингвистов подвергают сомнению центральную роль языковой грамматической системы: «Естественная фиксированная структура языка отсутствует. Скорее всего, говорящие в большей степени опираются на свой предыдущий опыт общения в подобных обстоятельствах на аналогичные темы и с похожими собеседниками. Систематичность с этой точки зрения представляет собой иллюзию, созданную частичной седиментацией часто используемых форм во временные подсистемы» [22. Р. 157–158].

В соссюровской стратегии существует одна теоретическая трудность, выраженная в вопросе: в чем именно проявляется систематичность языков? В каком смысле языки являются системами? Как отмечает Р. Хэррис, «вся история лингвистической теории XX в. – это история двух взаимодополняющих, но конфликтующих ответов на этот вопрос» [23. Р. 16]. В соответствии

с одной точкой зрения, систематичность является внутренней, а в соответствии с другой – внутренняя систематичность есть следствие обширной области социальных практик, в которые вовлечен язык.

В соответствии с первым тезисом языковые знаки должны изучаться «в себе», вне контекстов использования. При этом языки как раз и могут быть отделены от языка в академических целях исследования. Противоположный тезис состоит в том, что языковые знаки включены в другие формы поведения, без которых они не могут выступать объектом изучения. Эта теоретическая дихотомия и получила название дихотомии «сегрегационизма» и «интеграционизма». Сегрегационизм абстрагируется от языкового сообщества и коммуникативных ситуаций, а интеграционизм убежден в том, что заниматься лингвистикой возможно при отсутствии представления о языковом универсуме, состоящем из множества дискретных объектов, называемых «языками».

Для интеграционизма важна языковая повседневная коммуникация. Антифундаменталистский взгляд предполагает рассмотрение языка как неотъемлемого свойства социального взаимодействия. При этом человеческий опыт постоянно структурируется необходимым осмыслением событий настоящего в свете прошедшего. Как отмечает П. Хэррис, «язык – это продукт и механизм этого процесса, поскольку благодаря ему непрерывный поток ощущений, восприятий, чувств и суждений, определяющих психологическое состояние человека, объединяется в континуум, создавая и сохраняя устойчивую структуру его убеждений и ожиданий относительно окружающего мира... Способность человека распознавать, изобретать и использовать знаки различного типа становится существенным фактором этого процесса... Язык возникает из креативного использования коммуникативного пространства живущих в нем людей» [23. Р. 19]. Таким образом, развивается подход, который прекращает рассматривать язык как априорную систему, связанную с этничностью, территорией, местом рождения и национальностью.

Интеграционизм критикует идею разделения и подсчета языков. Лингвистика не способна провести четкую границу между соседними языками, используя критерий структурного различия. Она не способна точно указать, где заканчивается один язык и начинается другой. Например, в приграничных областях между Норвегией и Швецией очень сложно сказать, где заканчивается шведский и начинается норвежский. Следовательно, подсчет языков весьма проблематичен. Наука не в силах определить, каким языком владеет индивид, а значит, не может установить количество используемых им языков. Как отмечает Моника Хеллер, «постоянное появление следов различных языков в речи билингвов противоречит ожиданиям, по которым языки будут в точности соответствовать отдельным доменам и останутся на том месте, где им и положено быть» [24. Р. 11].

Это, конечно же, не означает, что языкознание не в силах различать языки. Бесспорно, турецкий и датский – это разные языки по словарю, грамматической структуре и т.д. Однако невозможно с той же долей уверенности установить границу между стандартным языком и диалектами. Исходя из этого, конкретный язык с определенными ядерными характеристиками во многом является прототипическим. Языки можно рассматривать как письменные автономные тексты, требующие от говорящего минимальной контек-

стуальной информации. В то же время границы языка для лингвистов остаются темными и размытыми.

В последнее время высказывается мнение, что говорящие употребляют не языки, а языковые ресурсы, которые, конечно же, могут быть отнесены к конкретному языку. Говорящие опираются на языковые ресурсы, которые организуются таким образом, что приобретают смысл в определенных социальных обстоятельствах. Я. Бломмарт говорит о ресурсах как уровне анализа, полагая, что «смещение фокуса нашего внимания от „языков“ (главным образом идеологических и институциональных конструкторов) к ресурсам (актуальному способу использования языка) имеет важное значение для таких понятий, как „компетенция“, „многоязычие“, „речевое сообщество“, „носитель языка“ и т.д.» [25. Р. 102].

Важно понять, что язык не расположен в головах людей и не является системой запредельной коммуникации. В этом отношении интересен анализ понятия «лингва франка английского» (*lingua franca English*) известным лингвистом С. Канагараджой, который различает английский язык как лингва франка (АЛФ) и лингво франка английский (ЛФА) на основании того, что первый признают уже существующим языком, используемым в мире большим количеством людей, в то время как ЛФА возникает из контекстов его использования: «ЛФА не существует как ситема где-то в другом месте. Он постоянно создается в каждом контексте коммуникации» [26. Р. 91]. Исходя из этого, «не имеет смысла говорить о форме, грамматике или языковой способности вне практической сферы использования. ЛФА – не продукт, находящейся в голове говорящего, а социальный процесс, который постоянно реконструируется, будучи чувствительным к факторам окружающей среды» [Ibid. Р. 94].

Еще большая волна критики касается представления о языках как о природных организмах, сравнимых с биологическими видами. Как отмечал Д. Кибби, «язык – это поведение, а не физическая характеристика. Если два языка контактируют, то они влияют друг на друга. Если лев живет там же, где птица, то у него не вырастут крылья, а у птицы – грива. Если же два языка контактируют, то образуют новый язык» [27. Р. 51]. Виды не способны скрещиваться, а языки сохраняют такую возможность всегда. Кроме того, у языков высока адаптивная способность к разнообразной окружающей среде, в отличие от большинства видов, привязанных к специфическому месту, климату, пище и т.д. Кроуфорд отмечал, что биоморфические метафоры приводят к заблуждению: «В отличие от биологических видов, у языков нет генов, а потому они лишены механизмов для естественной селекции. Перспективу их выживания определяют не какие-то внутренние особенности или способность адаптации, а исключительно социальные силы» [28. Р. 155]. При этом Сазерленд, используя сложные статистические модели сравнения биологической и языкового многообразия, заключает: «Языки находятся в большей степени под угрозой исчезновения, чем птицы и млекопитающие» [29. Р. 277]. С. Мэй утверждает, что разговоры о смерти языков как о «неизбежной части цикла языковой эволюции затемняют широкие социальные и политические факторы языковой смерти» [30. Р. 3], а также игнорируют «исторические, социальные и политические конструкции языков» [Ibid. Р. 4]. Кроме того, языки не исчезают наподобие видов. К примеру, иврит был возрожден из состояния практически полного забвения.

Заключение

Таким образом, понятие «язык», а также метадискурсивные режимы его описания тесно связаны с западной лингвистической идеологией. Изучение языковых идеологий показывает значимость локальных культурно обусловленных представлений о языке. Если современное понимание «языков» было изобретено и поддержано в течение всей эпохи национального строительства, то нынешние глобальные изменения предполагают обновленную форму этого конструкта.

Идеология эссенциализации и индивидуализации языков на протяжении долгого времени слишком большое значение придавала языку как коду, не принимая в расчет понимание его как социальной практики. Систематичность и замкнутость языка являются результатом идеологического процесса кодификации, осуществляемого лингвистами. Именно они решают вопрос принадлежности языковых ресурсов тому или иному языку и определяют группу говорящих, использующих его «правильную», каноническую версию, превосходя в своей компетенции остальных членов сообщества. По сути, документирование языка лингвистами есть процесс его создания. Новая социальная онтология языка должна рассматривать язык как неотъемлемое свойство социальной и политической жизни говорящих, поскольку не лингвисты, а само речевое сообщество приписывает языку определенные языковые свойства в процессе реализации своих коммуникативных целей. Необходимо учитывать вклад в язык людей – социальный, культурный, политический, индивидуально-эмоциональный.

Представление о социально-политическом конструировании языков необходимо не только для понимания их сущности, но и для изменения самого способа мышления, касающегося их. Критика модернистской языковой парадигмы необходима для того, чтобы начать процесс переосмысления бытия человека в современном мире, поскольку определение языка имеет для этого существенное значение.

Литература

1. Bourdieu P. Language and Symbolic Power. Cambridge : Polity Press, 1991.
2. Gal S., Irvine J.T. The Boundaries of Languages and Disciplines : How Ideologies Construct Difference // Social Research. 1995. Vol. 62 (4). P. 966–1001.
3. Bauman R., Briggs C. Voices of Modernity: Language Ideologies and the Politics of Inequality. Cambridge : Cambridge University Press, 2003.
4. Cameron D. Language endangerment and verbal hygiene: History, morality and politics // Discourses of endangerment: Ideology and interest in the defence of languages / A. Duchêne, M. Heller (eds.). London : Continuum, 2007. P. 268–285.
5. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М. : Прогресс, 1993. 656 с.
6. Hutton C. Linguistics and the Third Reich: Mother-tongue fascism, race and the science of language. London : Routledge, 1999.
7. Blommaert J., Leppänen S., Spotti M. Endangering Multilingualism. Dangerous Multilingualism // Northern Perspectives on Order, Purity and Normality / J. Blommaert, S. Leppänen, P. Pahta, T. Räisänen, eds. New York : Palgrave Macmillan, 2012. 330 p.
8. Milroy J. The consequences of standardisation in descriptive linguistics // Standard English: The Widening Debate / T. Bex, R. Watts, eds. London : Routledge, 1999. P. 16–39.
9. Errington J. Colonial linguistics // Annual Review of Anthropology. 2001. Vol. 30. P. 19–39.

10. Ludden D. Orientalist empiricism: Transformations of colonial knowledge // *Orientalism and the Postcolonial Predicament: Perspectives on South Asia* / C.A. Breckenridge, P. van der Veer (eds). Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1993. P. 250–278.
11. *Ethnologue* (2005). URL: http://www.ethnologue.com/ethno_docs/introduction.asp#language_id (accessed: 19.11.2005).
12. Pattanayak D.P. Multilingual contexts and their ethos // *Towards a Multilingual Culture of Education* / A. Ouame (ed.). Hamburg : UNESCO Institute of Education, 2000. P. 37–47.
13. Romaine S. *Language in Society: an Introduction to Sociolinguistics*. Oxford : Oxford University Press, 1994.
14. Djite P. Correcting errors in language classification: Monolingual nuclei and multilingual satellites // *Language Problems & Language Planning*. 1993. Vol. 12 (1). P. 1–13.
15. Mühlhäusler P. Language planning and language ecology // *Current Issues in Language Planning*. 2000. Vol. 1 (3). P. 306–367.
16. Heryanto A. Then there were languages: Bahasa Indonesia was one among many // *Disinventing and reconstituting languages*. Clevedon : Multilingual Matters, 2007. P. 42–61.
17. Samarin W. Review of Adegbiya Efurosibina: Language attitudes in Sub-Saharan Africa: a sociolinguistic overview // *Anthropological Linguistics*. 1996. Vol. 38 (2). P. 389–395.
18. Chimhundu H. Early missionaries and the ethnolinguistic factor during the invention of tribalism in Zimbabwe // *Journal of African History*. 1992. Vol. 33. P. 87–109.
19. Harries P. Discovering languages the historical origins of standard Tsonga in southern Africa // *Language and Social History* / R. Mesthrie (ed.). Cape Town ; Johannesburg, 1995. P. 154–173.
20. Mudimbe V.Y. *The Invention of Africa: Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge*. Bloomington, IN : Indiana University Press ; Philadelphia : John Benjamins, 1988.
21. Yngve V. *From Grammar to Science: New Foundations for General Linguistics*. Amsterdam, 1996.
22. Hopper P. Emergent grammar. In *The New Psychology of Language : Cognitive and Functional Approaches to Language Structure*. Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum Associates, 1998.
23. Harris R. Three models of signification // *Integrational Linguistics: a First Reader*. Oxford : Pergamon, 1998.
24. Heller M. Bilingualism as ideology and practice // *Bilingualism: a Social Approach* / M. Heller (ed.). London : Palgrave Macmillan, 2007. P. 1–22.
25. Blommaert J. *The Sociolinguistics of Globalization*. Cambridge : Cambridge University Press, 2010.
26. Canagarajah S. The ecology of global English // *International Multilingual Research Journal*. 2007. Vol. 1 (2). P. 89–100.
27. Kibbee D. Language policy and linguistic theory // *Languages in a globalizing world* / J. Maurais, M. Morris (eds). Cambridge : Cambridge University Press, 2003. P. 47–57.
28. Crawford J. Endangered native American languages: What is to be done, and why? // *Language and politics in the United States and Canada: Myths and realities* / T. Ricento, B. Burnaby (eds). Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum, 1998. P. 151–166.
29. Sutherland W. Parallel extinction risk and global distribution of languages // *Nature*. 2003. Vol. 423. P. 276–279.
30. May S. *Language and minority rights: Ethnicity, nationalism and the politics of language*. Harlow : Longman, 2001.

Evgenie A. Naiman, Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: enyman17@rambler.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 51. pp. 53–69.

DOI: 10.17223/1998863X/51/6

A CRITICAL ANALYSIS OF WESTERN EUROPEAN LANGUAGE IDEOLOGY (PROLEGOMES TO THE NEW SOCIAL ONTOLOGY OF LANGUAGE)

Keywords: language; languages; language features; language ideology; national building; integrationism; segregationism.

The subject of this article is a criticism of modernist language ideology, which leads to a new concept of the social ontology of language. The central theme is the rethinking of understanding languages as autonomous entities and closed systems. The author's methodology is based on the theory of

ontological constructivism and a metadiscursive approach to the description of languages as ideological constructs based on nationalist ideologies of the 18th–19th centuries. The problem of language differentiation is considered in the context of the dichotomy of segregationism and integrationism. The author adheres to integrationism, which understands language not as an a priori system associated with territory, nation and ethnic group, but as an integral property of social interaction. The objectives of the article are related to criticism of the main theses of segregationism: firstly, the idea of languages as natural organisms; secondly, the ideas of the identity of languages, nations, cultures and territories; and, thirdly, the process of naming and counting languages. The author proves that the concepts of “language” and “languages” are closely related to traditional Western linguistic, political and cultural backgrounds. If the modern understanding of “languages” was invented in the era of nation building, then the current global changes suggest a new form of this construct. A shift is taking place from “languages” to “language features”, showing the importance of everyday communication. To look at language as a practice is to view language as an activity rather than a structure, as something we do rather than a system we draw on, as a material part of social and cultural life rather than an abstract entity. Criticism of traditional linguistic ideology is necessary to rethink human being in the modern world.

References

1. Bourdieu, P. (1991) *Language and Symbolic Power*. Cambridge: Polity Press.
2. Gal, S. & Irvine, J.T. (1995) The Boundaries of Languages and Disciplines: How Ideologies Construct Difference. *Social Research*. 62(4). pp. 966–1001.
3. Bauman, R. & Briggs, C. (2003) *Voices of Modernity: Language Ideologies and the Politics of Inequality*. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Cameron, D. (2007) Language endangerment and verbal hygiene: History, morality and politics. In: Duchêne, A. & Heller, M. (eds) *Discourses of endangerment: Ideology and interest in the defence of languages*. London: Continuum. pp. 268–285.
5. Sapir, E. (1993) *Izbrannyye trudy po yazykoznaniiu i kul'turologii* [Selected works on linguistics and cultural studies]. Translated from English. Moscow: Progress.
6. Hutton, C. (1999) *Linguistics and the Third Reich: Mother-tongue fascism, race and the science of language*. London: Routledge.
7. Blommaert, J., Leppänen, S. & Spotti, M. (2012) Endangering Multilingualism. In: Blommaert, J., Leppänen, S., Pahta, P. & Räisänen, T. (eds) *Dangerous Multilingualism. Northern Perspectives on Order, Purity and Normality*. New York: Palgrave Macmillan.
8. Milroy, J. (1999) The consequences of standardisation in descriptive linguistics. In: Bex, T. & Watts, R. (eds) *Standard English: The Widening Debate*. London: Routledge. pp. 16–39.
9. Errington, J. (2001) Colonial linguistics. *Annual Review of Anthropology*. 30. pp. 19–39. DOI: 10.1146/annurev.anthro.30.1.19.
10. Ludden, D. (1993) Orientalist empiricism: Transformations of colonial knowledge. In: Breckenridge, C.A. & van der Veer, P. (eds) *Orientalism and the Postcolonial Predicament: Perspectives on South Asia*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. pp. 250–278.
11. Ethnologue. (2005) *On WWW*. [Online] Available from: http://www.ethnologue.com/ethno_docs/introduction.asp#language_id. (Accessed: 19th November 2005).
12. Pattanayak, D.P. (2000) Multilingual contexts and their ethos. In: Ouhame, A. (ed.) *Towards a Multilingual Culture of Education*. Hamburg: UNESCO Institute of Education. pp. 37–47.
13. Romaine, S. (1994) *Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics*. Oxford: Oxford University Press.
14. Djite, P. (1993) Correcting errors in language classification: Monolingual nuclei and multilingual satellites. *Language Problems & Language Planning*. 12(1). pp. 1–13. DOI: 10.1075/lplp.12.1.01dji
15. Mühlhäusler, P. (2000) Language planning and language ecology. *Current Issues in Language Planning*. 1(3). pp. 306–367. DOI: 10.1080/14664200008668011
16. Heryanto, A. (2007) Then there were languages: Bahasa Indonesia was one among many. In: Makoni, S. & Pennycook, A. (ed.) *Disinventing and reconstituting languages*. Clevedon: Multilingual Matters. pp. 42–61.
17. Samarin, W. (1996) Review of Adebija Efurosibina: Language attitudes in Sub-Saharan Africa: A sociolinguistic overview. *Anthropological Linguistics*. 38(2). pp. 389–395.
18. Chimhundu, H. (1992) Early missionaries and the ethnolinguistic factor during the invention of tribalism in Zimbabwe. *Journal of African History*. 33. pp. 87–109. DOI: 10.1017/S0021853700031868

19. Harries, P. (1995) Discovering languages the historical origins of standard Tsonga in southern Africa. In: Mesthrie, R. (ed.) *Language and Social History: Studies in South African Sociolinguistics*. Cape Town: David Philip.
20. Mudimbe, V.Y. (1988) *The Invention of Africa: Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge*. Bloomington, IN: Indiana University Press. Philadelphia: John Benjamins.
21. Yngve, V. (1996) *From Grammar to Science: New Foundations for General Linguistics*. John Benjamins Publishing Company
22. Hopper, P. (1998) Emergent grammar. In: Tomasello, M. (ed.) *The New Psychology of Language : Cognitive and Functional Approaches to Language Structure*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
23. Harris, R. (1998) Three models of signification. In: Harris, R. & Wolf, G. (eds) *Integrational Linguistics: A First Reader*. Oxford: Pergamon.
24. Heller, M. (2007) Bilingualism as ideology and practice. IN: Heller, M. (ed.) *Bilingualism: A Social Approach*. London: Palgrave Macmillan. pp. 1–22.
25. Blommaert, J. (2010) *The Sociolinguistics of Globalization*. Cambridge: Cambridge University Press.
26. Canagarajah, S. (2007) The ecology of global English. *International Multilingual Research Journal*. 1(2). pp. 89–100. DOI: 10.1080/15257770701495299
27. Kibbee, D. (2003) Language policy and linguistic theory. In: Maurais, J. & Morris, M. (eds) *Languages in a Globalizing World*. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 47–57.
28. Crawford, J. (1998) Endangered native American languages: What is to be done, and why? In: Ricento, T. & Burnaby, B. (eds) *Language and Politics in the United States and Canada: Myths and Realities*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. pp. 151–166.
29. Sutherland, W. (2003) Parallel extinction risk and global distribution of languages. *Nature*. 423. 15th May. pp. 276–79.
30. May, S. (2001) *Language and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language*. Harlow: Longman.

УДК 1(091)

DOI: 10.17223/1998863X/51/7

В.В. Оглезнев

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАСТЕРНЫХ ПОНЯТИЙ¹

Рассматриваются проблемы, которые возникают при попытке дать определение кластерным понятиям через установление и перечисление их необходимых и достаточных признаков. Такое определение не работает потому, что у кластерных понятий ни один из признаков не является необходимым, но все вместе они являются достаточными. Интересную попытку разработать теорию определения таких понятий предпринял Дэвид Купер, который предложил применять к ним так называемое «достаточное» определение.

Ключевые слова: определение, кластерные понятия, необходимые и достаточные признаки.

Согласно традиционной теории определения (*Definitio per genus proximum et differentiam specificam*), которая ведет свое происхождение от классического аристотелевского понятия о существенных и случайных признаках, каждый элемент класса должен обладать (в равной мере) всеми теми признаками, которые, являясь каждое в отдельности необходимым и все вместе достаточными, образуют интенционал класса и подкласса (род и вид), к которым он принадлежит. Эти признаки, в отличие от случайных признаков предмета, являются существенными в том смысле, что они составляют его сущность (или природу). Чтобы решить, попадает ли нечто в поле определения, необходимо свериться с перечнем определяющих признаков класса, к которому оно может принадлежать [1. С. 114]. Поэтому, чтобы правильно применить понятие, совсем не обязательно знать все предметы, включенные в его объем, следует лишь установить признаки, необходимые и достаточные для выделения данного предмета по отношению к другим предметам.

Однако не у всех понятий удастся установить необходимые и достаточные признаки. Это не получается сделать, как предполагается, в отношении кластерных понятий, которые мы далее и рассмотрим. Это не получится сделать, например, в ситуации, когда ни один из признаков понятия не является необходимым. Классическим примером такой ситуации является анализ игры, предложенный Л. Витгенштейном, когда не существует единственного необходимого признака, который отличал бы игры от других видов социальной активности. То есть принадлежность элементов подобному классу определяются не через наличие одного неперменного инвариативного признака, но целым набором признаков, ни один из которых не является необходимым. Витгенштейн назвал этот способ организации класса принципом «семейного сходства» [2. С. 110–115], а современные лингвисты – «кластерными понятиями» [3. С. 301]: «...существует кластер признаков, определяющий игры, но ни одна игра полностью им не удовлетворяет, и ни один из этих признаков не

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента РФ, проект № МД-1530.2018.6.

является общим для всех игр. То есть ни один из признаков не является необходимым для того, чтобы нечто считалось членом категории, но при этом соответствующий набор признаков является достаточным. Такие категории называются „кластерными понятиями“ (cluster concepts)» [4. Р. 352]. По определению А. Т. Хроленко, «кластер – это объединение языковых элементов, обладающих несколькими общими признаками, кластер как сегмент некоего информационного пространства (например, текста), вычлененный на основании семантически и / или функционально связанных между собой слов, репрезентирующих тот или иной фрагмент картины мира» [5. С. 163]. Кластерные понятия отличаются от обычных понятий так называемой «информационной избыточностью» своего содержания: для того, чтобы некоторый объект был включен в объем кластерного понятия, он не должен обладать всеми признаками, входящими в его содержание [6. С. 23]. Актуализируются же кластерные понятия на основании «способности определяющих признаков понятия образовывать различные комбинации друг с другом, соединяясь тем самым в пучки-кластеры, и отсутствии одного инвариативного признака» [3. С. 302].

Но какого количества признаков будет достаточно, чтобы понятие было охарактеризовано как кластерное, если ни один из признаков не является необходимым? И как определить, что определенного количества признаков достаточно? Интересную ситуацию моделирует М. Бэйлз, правда, относительно применимости теории кластерных понятий в области права. Представим, есть правило, что если человек находится в некой ситуации S , то он должен совершить действие A . Допустим, S является кластерным понятием, обладающим пятью признаками, ни один из которых не является необходимым. S имеет место тогда, когда наличествуют четыре или пять признаков, и не применяется, когда наличествуют один или два признака. Если же есть только три признака, то совершенно неясно, является ли эта ситуация ситуацией S , а значит, неясно, применимо ли данное правило и следует ли совершать действие A . Если в суде рассматривается ситуация с тремя признаками, то судье трудно решить, достаточно ли этих признаков, чтобы признать данную ситуацию в качестве S и, таким образом, применить правило [7. Р. 86]. В качестве примера, демонстрирующего эти сложности, Дж. Лакофф приводит анализ кластерного понятия «мать». Казалось бы, в отношении понятия «мать» можно достаточно легко выявить необходимые и достаточные условия, которые будут соответствовать всем случаям его употребления и в равной степени применяться ко всем из них. Так, понятие «мать» можно определить как «женщина, которая родила ребенка». Но, как говорит Лакофф, «ни одно такое определение не охватит весь спектр случаев; „мать“ – это понятие, основанное на сложной модели, которая, в свою очередь, состоит из нескольких когнитивных моделей, которые, в свою очередь, образуют кластерную модель» [8. Р. 74; 9. Р. 292–293]. В содержание этого понятия включено большое количество признаков, образующих разные кластерные модели, и ни один из них не является необходимым: женщина, родившая ребенка (биологическая мать); женщина, родившая биологически чужого ей ребенка (суррогатная мать); женщина, из яйцеклетки которой развивается ребенок (генетическая мать); женщина, выполняющая социальную роль матери (приемная мать, мачеха). Однако отсутствие того или иного либо нескольких признаков

не является препятствием для использования понятия, потому что признаки у класетрных понятий не могут актуализироваться одновременно в одном контексте. Но в сознании носителей языка это понятие предстает как единое целое.

Теория кластерных понятий не является собственным достижением современной лингвистики, несмотря на то что лингвисты (особенно представители когнитивной лингвистики) внесли существенный вклад в ее развитие. Изначально теория кластерных понятий была разработана в 50–60-х гг. XX в. в рамках логической семантики для решения проблемы значения собственных имен и соотношения аналитических / синтетических истин, где проблема определения играет решающую роль [10–12]. «Существенным признаком кластерного понятия, – пишет Д. Купер, – является следующее: в то время как можно перечислить достаточные условия применимости кластерного понятия, необходимые условия перечислить нельзя. Причина, как утверждается, состоит в том, что у кластерных понятий нет определения в том смысле, в котором оно есть у „треугольника“, где содержится ссылка на признаки, необходимые для применения этого понятия» [13. Р. 496]. Но как тогда определить кластерные понятия, для которых невозможно установить необходимые условия их применения?

Пожалуй, наиболее простым способом в некоторых случаях будет обращение к словарным определениям. Но применительно к анализу кластерных понятий обращение к словарным определениям не всегда является эффективным. Как верно замечает А.З. Хусаенова, основная проблема состоит в том, что в словарях, как правило, содержится указание на какой-то один признак понятия, который рассматривается в качестве основного, причем в разных словарях это могут быть разные признаки. Это не дает полного представления обо всех возможных признаках, включенных в содержание кластерного понятия, а также об их возможных комбинациях [3. С. 303].

Мы предлагаем рассмотреть весьма оригинальный способ определения кластерных понятий, разработанный Дэвидом Купером, под названием *достаточных определений* (sufficiency definitions) [13]. Хотя этот способ не является бесспорным, он интересен тем, что позволяет лучше понять природу кластерных понятий. Купер выступает против утверждения, что кластерные понятия определить невозможно, поскольку у них отсутствуют необходимые признаки, напротив, он считает, что определить их можно и предлагает следующую форму определения:

$A =_{\text{dfn}}$ Нечто, обладающее *достаточным* количеством признаков $P_1, P_2, \dots, P_n$.

Например:

Кислота $=_{\text{dfn}}$ Нечто, обладающее *достаточным* количеством таких признаков, как способность отдавать протон, окрашивать лакмусовую бумажку в красный цвет, полировать медь, обжигать кожу и т.д.

Основное отличие таких определений от традиционных, по мнению Купера, заключается в том, что они содержат указание на достаточное количество признаков, а не на наличие релевантных признаков вообще. Ссылка на достаточные признаки обосновывается тем, что в отношении кластерных понятий установить необходимые признаки для их применения невозможно.

Например, можно сказать, что если нечто отдает протон, окрашивает лакмусовую бумажку в красный цвет и т.д., то, следовательно, оно должно быть кислотой. Эти признаки достаточны для того, чтобы нечто считалось кислотой. Но мы не можем сказать, что если нечто является кислотой, то оно должно отдавать протон, окрашивать лакмусовую бумажку в красный цвет и т.д. Потому что если ученые обнаружат вещество, обладающее большинством характерных для кислоты признаков, но не окрашивающее лакмусовую бумажку в красный цвет, то они спокойно смогут назвать его кислотой. Но если это так, тогда окрашивание лакмусовой бумажки в красный цвет не может быть необходимым признаком кислоты и, следовательно, не может быть частью значения понятия «кислота». Этот признак может быть только достаточным, как следует из предлагаемого определения.

Из этого Купер делает вывод, что суждение «Если нечто отдает протон, окрашивает лакмусовую бумажку в красный цвет и т.д., следовательно, оно является кислотой» является истинным, потому что признаки, упомянутые в антецеденте, считаются достаточными для того, что нечто являлось кислотой. Это суждение истинно в силу приведенного выше определения «кислоты», как нечто такого, что обладает признаками кислоты. Но суждение «Если нечто является кислотой, то оно должно отдавать протон» не является истинным, потому что «отдавать протон» является лишь одним из достаточных признаков, которыми нечто должно обладать, чтобы быть кислотой. Это суждение отличается, например, от суждения «Если это треугольник, то у него должно быть три стороны», но не тем, что последнее является необходимо истинным, а тем, как определяются «кислота» и «треугольник» соответственно. Поэтому вопросом для Купера является не то, определяются ли «кислота» и «треугольник» одинаковым образом, но как используются эти определения в различных лингвистических практиках.

Купер считает, что нас не должно волновать, является ли вещество кислотой, если оно обладает, скажем, только шестью из возможных десяти признаков. В этой ситуации надо лишь установить достаточный набор признаков, который является весьма гибким и легко приспосабливающимся к меняющимся лингвистическим контекстам. То, что X обладает достаточными признаками A , B , C и D , уже само по себе подразумевает, что он, помимо этих признаков, обладает еще и другими, которые хотя и можно упомянуть, но для определения X это не необходимо. Купер называет это «прагматикой» определения [13. Р. 502]. Когда нам требуется дать определение тому или иному понятию, мы устанавливаем лишь те признаки, наличие или отсутствие которых позволяет нам его применить. Поэтому включать в определение признаки, не отвечающие этому требованию, не имеет особого смысла. В этом смысле определение «кислоты» «как того, что обладает достаточным количеством признаков A , B , C и D » будет правильным, только если присутствие или отсутствие каждого из упомянутых признаков будет рассматриваться в качестве убедительной причины применять или не применять слово «кислота» к какому-либо веществу. И позволяет это сделать, как заявляет Купер, *достаточное определение*, которое, по его мнению, является наиболее подходящим способом определения «кислоты» и других кластерных понятий.

При помощи теории достаточных определений Купер пытается опровергнуть утверждение, что, если у понятия не удастся установить необходи-

мые признаки, оно не имеет определения. Он считает, что если мы исходим из того, что имена существительные вроде «кислоты» являются кластерными понятиями, мы должны принять следующую аргументацию:

- (1.1) $A =_{\text{def}} X$, обладающий *достаточным* количеством признаков $P_1, \dots, P_n$.
- (1.2) Это определение устанавливает значение A и показывает, что X может и не обладать каким-либо P , но все равно принадлежать объему A .
- (1.3) Следовательно, понятия вроде A имеют значение в том смысле, что могут быть определены.

Тогда техника достаточного определения будет выглядеть следующим образом:

- (2.1) Предположим, X обладает всеми признаками $P_1, \dots, P_n$.
- (2.2) Тогда X обладает достаточным количеством признаков $P_1, \dots, P_n$ (т.е. достаточным для применения A к X).
- (2.3) Тогда X по достаточному определению есть A .
- (2.4) Следовательно, если X обладает всеми признаками $P_1, \dots, P_n$, то X есть A .

Интересные возражения и изощренные аргументы против теории *достаточных определений* Купера выдвигает Стивен Бойер [14]. Проблема Купера, по его мнению, заключается в том, что он упускает из виду, что есть разные виды кластерных понятий. Есть кластерные понятия, когда обозначаемые ими вещи *могут* обладать *всеми* признаками $P_1, \dots, P_n$. Такие понятия, которые Бойер называет кластерными понятиями с «сильной поддержкой» (strongly backed) [Ibid. P. 123], обычно отсылают к вещам, которые действительно обладают всеми признаками $P_1, \dots, P_n$. Но есть кластерные понятия, когда *невозможно* (в логическом или метафизическом смысле) установить обозначаемые ими вещи, которые обладали бы всеми признаками $P_1, \dots, P_n$, но можно установить те вещи, которые обладают *большинством* признаков $P_1, \dots, P_n$. Он называет их кластерными понятиями со «слабой поддержкой» (weakly backed) [Ibid.]. Например, понятие «игра» является кластерным понятием со «слабой поддержкой». Несмотря на то, что понятие «игра» может обладать набором признаков (возможно, даже максимально согласованным), оно не будет понятием с «сильной поддержкой», потому что невозможно (в логическом или метафизическом смысле) установить все признаки $P_1, \dots, P_n$, характерные для игры вообще. Предположим, G является кластерным понятием со «слабой поддержкой» (например, «игрой») и ему можно дать определение при помощи определения Купера. Тогда суждение (2.4) будет действительно необходимо истинным, но его истинность никак не может зависеть от достаточного определения в силу указанной выше специфики понятий со «слабой поддержкой».

Определение Купера неприменимо также и к кластерным понятиям с «сильной поддержкой». Среди этих понятий, по мнению Бойера, следует выделять интересный подвид так называемых «пороговых понятий» (threshold concepts) [Ibid. P. 124]. Их отличительной особенностью является то, что среди соответствующих признаков $P_1, \dots, P_n$ есть только определенное множество признаков, которого достаточно для применения порогового понятия.

Примером может быть понятие «плодородная земля». Воспользуемся достаточным определением Купера и получим «Плодородная земля =_{dfn} Земля, обладающая достаточным количеством веществ $s_1, \dots, s_k$ в почве». Вполне можно допустить, что если бы на определенном участке земли в почве присутствовали все вещества $s_1, \dots, s_k$, то могла произойти некая химическая реакция, которая сделала бы землю неплодородной. Тогда можно предположить, что люди, употребляя слово «плодородная земля», определенно имеют в виду только некоторый набор веществ $s_1, \dots, s_k$ в почве, но никак не все $s_1, \dots, s_k$. Поэтому, заключает Бойер, если мы подставим пороговое понятие «плодородная земля» в определение Купера, то с точки зрения формы его аргументации посылка (2.1) будет истинной, в то время как (2.2) ложной.

С чем связана необходимость введения в аргументацию Купера посылки (2.2)? Эта посылка не следует из (2.1), а значит, от (2.1) можно сразу перейти к (2.3), но если это так, то необходимость (2.2) вызывает серьезные сомнения. Бойер считает, что введение (2.2) может быть обоснованным, а переход от (2.1) к (2.2) оправданным только тогда, когда определение приобретает форму:

$A =_{dfn}$ Нечто, обладающее всеми *или* достаточным количеством признаков $P_1, \dots, P_n$.

Однако в этом случае аргументы Купера становятся тривиальными; и мы не можем от (2.1) сразу перейти к (2.3). Это приводит Бойера к основному выводу, что достаточное определение в предложенной им редакции может быть применимо исключительно к непороговым кластерным понятиям с «сильной поддержкой», для которых слово «достаточное» не имеет существенного значения [14. Р. 125]. Но ни Бойер, ни другие критики теории достаточных определений (в частности, Дж. Шафер [15. Р. 97–98]) не предложили альтернативного варианта адекватного определения кластерных понятий.

Это связано с тем, что теория достаточных определений исходит из того, что традиционные определения, предполагающие установление необходимых и достаточных условий применения понятия, не подходят для определения кластерных понятий. Представим, что нам надо определить понятие «лимон». Конечно, мы начнем с установления существенных признаков лимона: желтый, кислый, растет на деревьях, сочный, содержит витамин С, имеет яйцеобразную форму, имеет своеобразный (лимонный) аромат, съедобный, имеет толстую кожуру и т.д. Этот список можно продолжить. Но можем ли мы даже на основании этих признаков дать определение лимону, которое удовлетворяло бы традиционной теории? Рассмотрим, есть ли среди них те, которые являются необходимыми признаками «лимона». Возьмем, например, признак «быть желтым». Предположим, мы обнаружили объект, который обладает всеми перечисленными признаками лимона, но является розовым. Назовем ли мы это лимоном? Скорее всего, назовем. Но тогда «быть желтым» не может быть необходимым признаком «лимона». Аналогичная ситуация может произойти с любым из данных признаков. Даже если объект напоминает нам то, что мы *знаем* как лимон, но является не кислым, а сладким, то мы с большой вероятностью назовем его «лимоном». И так далее. Значит, ни один из признаков в отдельности не является необходимым, но все вместе они явля-

ются достаточными, чтобы мы назвали этот объект «лимоном». Несомненно, все мы знаем, как использовать слово «лимон». А поскольку все лимоны, которые нам когда-либо приходилось видеть, были желтыми, нам не придет в голову спрашивать, можно ли назвать оранжевый объект «лимоном». Нам не надо спрашивать, является ли «быть желтым» совершенно необходимым признаком для того, чтобы называть это «лимоном». Но тогда с точки зрения традиционной теории мы *не знаем*, как определить «лимон». Конечно, знаем. Понятие «лимон» является кластерным понятием, и мы прекрасно *понимаем*, сколько признаков будет достаточно для его определения. Схожего мнения придерживается А.А. Веретенников: «В теории „кластерных понятий“ понятия, задающие объем данного понятия, не обязательно жестко с ним связаны. Одно из свойств данного объекта может отсутствовать, но тем не менее мы все-таки назовем данный объект тем именем, которое задается кластером» [16. С. 137]. Возможно, в этом и заключается «прагматика» определения, о которой говорит Купер.

Большая часть понятий, которые встречаются в повседневных лингвистических практиках, имеют «кластеры» признаков, а не закрытый их набор. Как правило, мы достаточно хорошо знаем, что означает «лимон», «политика», «кошка», «стол» и т.д. Но если мы зададимся целью составить отдельный список необходимых и достаточных признаков дефиниендума, мы столкнемся с дилеммой: либо список будет слишком длинным (объем понятия будет слишком узким), что приведет к исключению из объема понятия тех предметов, которые хотя и не обладают каждым необходимым признаком, но совершенно точно должны быть в него включены, либо список будет слишком коротким (объем понятия будет слишком широким), что приведет к включению в его объем тех предметов, которые хотя и обладают набором достаточных признаков, но не могут быть в него включены. Перспектива составления такого отдельного списка необходимых и достаточных признаков для определения понятия весьма сомнительна, да и зачем это делать, когда можно воспользоваться теорией кластерных понятий и предлагаемой формой достаточного определения.

Литература

1. Лайонз Дж. Лингвистическая семантика : введение. М. : Языки славянской культуры, 2003.
2. Витгенштейн Л. Философские исследования // Философские исследования. М. : Гнозис, 1994. Ч. I. С. 75–320.
3. Хусаенова А.З. Понятие кластерного концепта и методика его изучения // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 67. С. 300–303.
4. Jackendoff R. Foundations of Language: Brain, Meaning, Grammar, Evolution. Oxford : Oxford University Press, 2002.
5. Хроленко А.Т. Основы лингвокультурологии. М. : Наука, 2009.
6. Архипьев Н.И. Проблема референции теоретических терминов и формальная программа логического позитивизма // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 12-1 (86). С. 25–30.
7. Bayles M. Hart's Legal Philosophy: an Examination. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1992.
8. Lakoff G. Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind. Chicago : University of Chicago Press, 1987.

9. Lakoff G. The Meanings of Literal // *Metaphor and Symbolic Activity*. 1986. Vol. 4, № 1. P. 291–296.
10. Gasking D. Clusters // *Australasian Journal of Philosophy*. 1960. Vol. 38, № 1. P. 1–36.
11. Putnam H. The Analytic and Synthetic // *Minnesota Studies in the Philosophy of Science*. 1962. Vol. 3. P. 358–397.
12. Searle J. Proper Names // *Mind*. 1958. Vol. 67, № 266. P. 166–173.
13. Cooper D. Definitions and “Clusters” // *Mind, New Series*. 1972. Vol. 81, № 324. P. 495–503.
14. Boër S. Cluster-Concepts and Sufficiency Definitions // *Philosophical Studies*. 1974. Vol. 26. P. 119–125.
15. Shafer J.J., Jr. The Impermissibility of “Sufficiency Definitions” // *Mind, New Series*. 1975. Vol. 84, № 333. P. 96–99.
16. Веретенников А.А. Онтологический статус возможных миров // *Язык, знание, социум: проблемы социальной эпистемологии* / под ред. И.Т. Касавина. М. : ИФ РАН, 2007. С. 116–138.

Vitaly V. Ogleznev, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation).

Email: ogleznev82@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 51. pp. 70–78.

DOI: 10.17223/1998863X/51/7

PROBLEMS WITH THE DEFINITION OF CLUSTER CONCEPTS

Keywords: definition; cluster concepts; necessary and sufficient features.

The article presents problems that arise when we try to define cluster concepts by listing their necessary and sufficient features. This definition does not work because for cluster concepts none of the features is necessary, but all together the features are sufficient. The article considers a very original way of defining cluster concepts developed by David Cooper, called *sufficiency definition*. Although this approach is disputable, it is interesting in the sense that it allows a better understanding of the nature of cluster concepts. Cooper proposed to apply to them the definition of the form: “ $A =_{\text{def}}$ Something having *sufficient* of the properties $P_1, P_2, \dots, P_n$ ”. The main difference between such definitions and traditional ones is that they contain an indication of a sufficient number of properties. The reference to a sufficient number of properties is justified by the fact that in relation to cluster concepts it is impossible to list necessary conditions for their application. When we need to define one or another cluster concept, we list only those properties, the presence or absence of which allows us to apply it. A sufficient definition is the most appropriate way in this case to define cluster concepts. Interesting objections and sophisticated arguments against the theory of sufficient definitions are raised by Steven Boër. In particular, he suggested to differentiate “strongly backed” and “weakly backed” cluster concepts and showed what difficulties the theory of sufficient definitions faces. His conclusion is that sufficient definitions can be applied only to a limited number of “strongly backed” cluster concepts. But this conclusion is not fatal for the theory of sufficient definition, because its main conclusions do not rest on the semantic aspect of the definition, but on the pragmatic one. The reason is that all depends on how the definition is used in various linguistic practices. Cooper called this reason the “pragmatics” of definition.

References

1. Lyons, J. (2003) *Lingvisticheskaya semantika. Vvedenie* [Linguistic semantics: Introduction]. Translated from English by I.B. Shatunovsky, V.V. Morozov. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
2. Wittgenstein, L. (1994) *Filosofskie issledovaniya* [Philosophical Research]. Part 1. Translated from German. Moscow: Gnozis. pp. 75–320.
3. Khusaenova, A.Z. (2008) Ponyatie klasternogo kontsepta i metodika ego izucheniya [The cluster concept and the methodology of its study]. *Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gertsena – Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Sciences*. 67. pp. 300–303.
4. Jackendoff, R. (2002) *Foundations of Language: Brain, Meaning, Grammar, Evolution*. Oxford University Press.
5. Khrolenko, A.T. (2009) *Osnovy lingvokul'turologii* [Fundamentals of Linguoculturology]. Moscow: Nauka.

6. Arkhiereev, N.L. (2017) The problem of theoretical terms reference and the formal program of logical positivism. *Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki* – Historical, Philosophical, Political and Law Sciences, Culturology and Study of Art. Issues of Theory and Practice. 12-1 (86). pp. 21–24. (In Russian).
7. Bayles, M. (1992) *Hart's Legal Philosophy: An Examination*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
8. Lakoff, G. (1987) *Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind*. University of Chicago Press.
9. Lakoff, G. (1986) The Meanings of Literal. *Metaphor and Symbolic Activity*. 4(1). pp. 291–296.
10. Gasking, D. (1960) Clusters. *Australasian Journal of Philosophy*. 38(1). pp. 1–36.
11. Putnam, H. (1962) The Analytic and Synthetic. *Minnesota Studies in the Philosophy of Science*. 3. pp. 358–397.
12. Searle, J. (1958) Proper Names. *Mind*. 67(266). pp. 166–173.
13. Cooper, D. (1972) Definitions and “Clusters”. *Mind, New Series*. 81(324). pp. 495–503.
14. Boër, S. (1974) Cluster-Concepts and Sufficiency Definitions. *Philosophical Studies*. 26. pp. 119–125. DOI: 10.1007/BF00355264
15. Shafer, J.J., Jr. (1975) The Impermissibility of “Sufficiency Definitions”. *Mind, New Series*. 84(333). pp. 96–99.
16. Veretennikov, A.A. (2007) Ontologicheskiy status vozmozhnykh mirov [Ontological status of possible worlds]. In: Kasavin, I.T. (ed.) *Yazyk, znanie, sotsium: problemy sotsial'noy epistemologii* [Language, knowledge, society: problems of social epistemology]. Moscow: IFRAN. pp. 116–138.

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

УДК 101.1

DOI: 10.17223/1998863X/51/8

Е.В. Косилова

ФИЛОСОФИЯ И ПСИХИАТРИЯ В ПОИСКАХ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА: ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА Я

Рассматривается пересечение предмета исследования философии и психиатрии: исследования Я. Анализируются учения о Я и его нарушениях, развиваемые современными феноменологическими психиатрами, в том числе понятие минимального Я и рефлексивного Я. При шизофрении имеются нарушения минимального Я, которые также могут быть названы нарушениями трансцендентального единства апперцепции. Прослеживаются сложные взаимоотношения между минимальным Я и рефлексивным Я при расстройствах шизофренического спектра. Показано наличие в сознании организующего центра, вопреки модели сознания Д. Дэннета.

Ключевые слова: психиатрия, феноменологическая психиатрия, Я, минимальное Я.

Одной из причин, почему современная философия испытывает прессинг извне, является широкое развитие наук, в том числе, например, психологии. Может показаться, что предметная область философии неуклонно сужается, и ее занимают естественные науки. Так, изучение Я, субъектности, сознания переходит из области философии в область психологии. Даже такие вопросы, как свобода воли, историческая вотчина философии, сейчас пытаются решать экспериментально. Среди ученых, работающих в экспериментальных науках, немало позитивистов, которые отрицательно относятся к «метафизике». Но данный аспект кризиса уже близок к преодолению.

Чтобы продемонстрировать, как философия находит возможность сотрудничать с естественными науками, рассмотрим современную психиатрию. В течение долгого времени, а именно с 60-х гг. XX в., психиатрия развивалась в естественнонаучном, «позитивистском» направлении. Все новые и новые, все более и более эффективные лекарства вводились в употребление. Однако выяснилось, что и психиатрия пришла в состояние некоего кризиса, связанного с тем, что лекарства назначаются без понимания того, что же происходит в сознании больного человека. Психиатрия обнаружила, что ей необходимо разобраться с душой человека, с его сознанием, с его Я. И на этом пути она обратилась к философии – к феноменологии и экзистенциализму.

Так сложилось, что и философия, и психиатрия обнаружили, что они могут быть полезны друг для друга. Проиллюстрируем это на примере учений о Я, прежде всего в феноменологии и трансцендентализме в философии и теории нарушения Я в психиатрии.

Со времени своего появления любая феноменология загадочна. Сложность текстов Э. Гуссерля, множество их толкований в различных областях,

от социологии (А. Шютц) до психиатрии (К. Ясперс), сбивает с толку: как же обозначить единственным способом тот феноменологический метод, который используется в приложениях? Если в начале адаптации феноменологии к психиатрии речь шла в основном о беспредпосылочном, безоценочном описании феноменов (феноменологическое эпохэ), то сейчас во главу угла ставится другая задача. Психиатры желают понять смысл каждого психопатологического феномена, связь этих феноменов между собой и выделить среди них основной, так называемое первичное нарушение. Для этого они привлекают такие наполовину психологические, наполовину философские концепты, как Я, внутренний диалог, рефлексия, реальность, субъективность.

Самую большую группу исследований составляют феноменологические исследования шизофрении. Центр этих исследований находится в Дании, на базе Центра исследований субъективности (Hvidovre Psychiatric Center and Danish National Research Foundation: Center for Subjectivity Research, University of Copenhagen). Ими руководит профессор Йозеф Парнас (Josef Parnas). Вокруг него и американского ученого Луиса Сасса сложилась интернациональная школа последователей [1–14].

В настоящее время они разрабатывают идею об уровнях Я (Self) и их нарушениях. Низший уровень Я (core Self) является чем-то вроде чувства себя, уверенности том, что ты сам являешься автором своих мыслей и действий. Это Я не различается у разных людей, и мы привыкли к тому, что у всех здоровых оно есть, его просто не может не быть. Оно кажется нам «логичным». Средний уровень Я – мыслительный, это примерно соответствует декартовскому *cogito*. И, наконец, высший уровень – рефлексивный, это, скорее, Я в смысле личность, Я-концепция, личностный стержень.

Наибольший интерес представляет выделенное ими так называемое «минимальное Я». С точки зрения философии оно весьма сильно напоминает нам кантовское трансцендентальное единство апперцепции. В современной литературе, как в области философии, так и в области психологии, часто можно встретить утверждения, что любое Я – это иллюзия, что Я вообще нет. Так рассуждал когда-то Юм, и, опираясь на него, сейчас так рассуждает Д. Деннет. По мысли Деннета, Я является всего лишь «центром нарративной гравитации», в то время как общий поток мыслей идет у нас без всякого центра управления, как «завод без директора». Мысли мелькают и улетучиваются, Деннет называет их «драфтами» – черновиками, набросками. Те из них, которые приводят к полезным результатам, закрепляются чем-то вроде механизма естественного отбора. В особое переживание Я Деннет не верит. Я у него оказывается чем-то типа грамматической иллюзии, оно порождается языком, в котором человек повествует о себе, обращаясь к другим людям [15].

Есть и в психологии, и даже в нейрофизиологии учения об отсутствии Я. На всех этих учениях в данной работе нет возможности останавливаться.

По моему мнению, очень полезна для приведения этих учений в порядок и в соответствие со здравым смыслом феноменологическая идея психиатров школы Парнаса о трех уровнях Я [16].

Уровень первый – это дорефлексивное Я, которое не выходит на уровень сознания, но сопровождает наши мысли и ощущения. Вот как Кант описывает трансцендентальное единство апперцепции: «Все многообразное в созерцании имеет, следовательно, необходимое отношение к [суждению] *я мыслю*

в том самом субъекте, в котором это многообразное находится. Но это представление есть акт спонтанности, т.е. оно не может рассматриваться как принадлежащее чувственности. Я называю его чистой апперцепцией, чтобы отличить его от эмпирической апперцепции; оно есть самосознание, порождающее представление *я мыслю*, которое должно иметь возможность сопровождать все остальные представления и быть одним и тем же во всяком сознании; следовательно, это самосознание не может сопровождаться никаким иным [представлением]...» [17].

То есть «представление „я мыслю“» сопровождает все остальные наши представления. Мы не мыслим его специально, у нас нет задачи его рефлексировать. Рефлексия самосознания появляется только через несколько, так сказать, логических шагов. Оно просто есть. И о том, что будет, если его не будет, говорит нам психопатология.

Идея, что в основе нарушений при шизофрении лежит ослабление Я, была ясно и художественно выражена Р. Лэйнгом в знаменитой книге «Разделенное Я». Однако он также не выделял уровни Я. По описаниям в его книге становится ясно, что у больных нарушается то самое дорефлексивное, базовое Я.

Его нарушение прежде всего ведет к самому непосредственному последствию – отсутствию чувства уверенного субъективного Я при деперсонализации и дереализации. Оба эти феномена хорошо известны в психопатологии и психиатрии. Они встречаются не только при шизофрении, но и при некоторых неврозах и даже при измененных состояниях сознания из-за, например, сильного недостатка сна. Уже одно существование этих психопатологических феноменов должно было бы поставить под сомнение любую теорию, в которой в сознании нет места для трансцендентального единства апперцепции. А именно, если и когда оно исчезает, у нас наступает деперсонализация – мучительное и явно психопатологическое состояние.

Еще более патологическим является синдром так называемого психического автоматизма (в отечественной психиатрии он долгое время назывался синдромом Кандинского–Клерамбо). Он заключается в том, что больному кажется, что его мысли вложены ему в голову, они не принадлежат ему, текут сами по себе, он не управляет ими. Часто это сопровождается также ощущением открытости мыслей – больному кажется, что все вокруг знает, о чем он думает [8, 14]. Нас интересует именно автоматизм мыслей. Насколько мы в здоровом состоянии управляем течением своего, так сказать, потока сознания? Не является ли такое управление иллюзией? Да и можем ли мы освободиться от навязчивых мыслей, которые, я думаю, знакомы почти каждому здоровому человеку?

По-видимому, нам не следует преувеличивать авторство наших мыслей. Они действительно часто возникают в виде случайных «драфтов», как это называет Деннет, и так же исчезают. Мы вряд ли можем заставить себя подумать какую-либо мысль, ибо для этого надо уже каким-то образом знать, какова она, и, следовательно, уже ее думать.

Однако при этом не следует полностью отрицать и принадлежность наших мыслей «нам», т.е. некоему интенциональному центру, который упорядочивает их. Например, такой центр – говоря словами Гуссерля, трансцендентальное Эго – соединяет мысли в единый поток, в котором ушедшие драфты далеко не безвозвратно теряются, а сохраняют связь с целым. Для

этого и нужна описанная Гуссерлем с такой убедительностью ретенция, т.е. способность удерживать в настоящем кусок только что прошедшего прошлого, чтобы сделать поток сознания единым. Только это позволяет мыслям иметь смысловую связь друг с другом и вообще сознанию быть осмысленным.

При ослаблении этого центра, этого трансцендентального Эго, возникает два эффекта: во-первых, субъективное чувство утраты собственности наших мыслей (от деперсонализации до синдрома автоматизма), во-вторых, объективно регистрируемые распадения цельности мышления больных шизофренией, которые чаще всего видны в их речи. То, что речь больных шизофренией не является цельной на каком-либо значительном промежутке времени, – хорошо известный в психопатологии факт, который получил название «шизафазия» (иногда «шизофазия»), по-немецки же то же самое называется «словесный салат». Больные часто говорят достаточно бессвязно. Когда познакомишься с речью при шизафазии, становится понятным, какой была бы речь, если бы все наши мысли были «драфтами». Но наша речь не такова. Даже будучи весьма спонтанной, т.е. в обычном разговоре, она имеет начало, замысел, изложение, вывод. А ведь мы способны и на большее, например на длинный связный рассказ, на чтение лекций и т.п. Как это было бы возможно, если бы не было организации и планирования мыслей?

Таким образом, психопатология дает немало интересного материала для современных споров на тему Я, в том числе в аналитической философии, в рамках которой пишет Д. Дэннет.

Это первое, что можно заметить, когда знакомишься с разработками тематики Я в феноменологической психиатрии. В дальнейшем при помощи той же схемы нарушений Я авторы стараются объяснить такое более сложное явление, как слуховые галлюцинации. Речь идет о слуховых вербальных галлюцинациях, или, как их просто называют, голосах [7, 9, 10].

Голоса они выводят из внутреннего диалога, который наличествует в любом, в том числе совершенно здоровом, сознании. Поскольку, как мы уже выяснили, у больных ослаблено (базовое) чувство Я, сторона собеседника в их мыслях как бы отщепляется, делается автономной. Им кажется, что не они авторы всего диалога, а реплики вкладываются им в голову посторонней силой. Так возникают предшественники слуховых галлюцинаций – навязчивые мысли, обращенные к больному. Также среди таких мыслей выявляются комментирующие, истоком которых, по-видимому, является механизм не до конца интериоризированной рефлексии. Естественно, будучи феноменологически подготовленными, психиатры разработали тщательную классификацию таких мыслей по сюжетам. Это, впрочем, было сделано еще во времена самого начала развития феноменологической психиатрии.

Достаточно трудно понять, какой патологический механизм работает во время превращения мысли, имеющей оттенок чужеродности, в слышимый голос. Это, правда, обычно не такой слышимый голос, как реальные слышимые голоса вокруг: это голос, который звучит как бы внутри головы, он не проецируется наружу и не путается с настоящими голосами. Такое явление получило специальное название «псевдогаллюцинации». Однако же псевдогаллюцинации – это все-таки голоса, и хоть как-то, но они звучат. Они не равняются просто мыслям.

Одна из статей, посвященных природе голосов, характерно называется «Шепот мыслей» (Murmur of thoughts) [4]. По намекам, которые даны в ней и в других подобных статьях, мы можем сделать вывод, что при псевдогаллюцинациях нарушается не только чувство Я, но и общая чувствительность мышления – мышление становится настолько незащищенным, что даже молчаливые мысли начинают шуршать, шептаться. Здесь уместно было бы вспомнить учение Л.С. Выготского о том, что вообще всякое мышление изначально является звучащим, исходно это речь. Речь впоследствии интериоризуется и перестает звучать. Но это как бы специальный тормозной механизм, который работает на подавление звучащего характера мышления и который, естественно, может нарушаться.

Таким образом, в случае голосов соединяются два патологических механизма – ослабление Я и усиление (= ослабление торможения) звучащего характера мышления.

Особо обращает на себя внимание еще одна задача, которую ставят перед собой феноменологические психиатры. Как уже было сказано выше, главный смысл феноменологической работы в психиатрии заключается в том, чтобы найти одно центральное нарушение, первичное поражение, и психологически понятным образом вывести из него остальные симптомы как следствие. Мы видим, что центральным поражением при шизофрении называется поражение базового Я.

Однако как видоизменяются при этом остальные уровни Я? Можно было бы предполагать, что они должны также ослабляться, однако это не так. Одной из характерных черт шизофренического сознания является так называемая гиперрефлексивность. Рефлексивное Я – это Я второго или даже третьего уровня. По-видимому, можно сделать предположение, что центр Я как бы смещается с низших уровней на высшие. Более того, в результате ослабления базового Я высшие рефлексивные уровни Я приобретают характер не только гипертрофированности, но и чуждости, навязанности. Возможно, навязанной рефлексией являются хорошо известные при вербальных галлюцинациях комментирующие голоса. Возможно также, что смещение центра с низших уровней Я на высшие носит компенсаторный характер. Тогда мы можем сказать, что поражение Я не обязательно ведет к его ослаблению, но, скорее, к нарушению структуры взаимодействия между различными уровнями Я: непосредственное переживание Я ослабляется, контроль за мыслями ослабляется, а рефлексия, наоборот, делается особенно интенсивной, вплоть до навязчивости.

Еще более сложным следует назвать нарушение структуры Я при бреде с галлюцинациями. Это так называемая параноидальная форма шизофрении, а также хроническое бредовое расстройство. Схема Парнаса заставляет выделить при этом нарушении два уровня даже в самом базовом Я.

Дело в том, что трансцендентальное единство апперцепции при связанном, систематизированном бреде может не нарушаться либо его нарушение заключается не в ослаблении. Такие больные, как правило, хорошо отдают себе отчет в собственном существовании, более того, зачастую они бывают весьма убедительны в общении с другими людьми, у них нет характерного для больных с ослабленным Я избегания социума, нарушения эмоциональных связей, замыкания в себе. Они не акцентируют собственную незащищенность,

напротив, иногда настроены решительно. Мы можем сделать вывод, что единство апперцепции у них присутствует независимо от того, что их мышление неадекватно.

Однако очень часто эти больные страдают слуховыми галлюцинациями, что говорит о том, что их мышление не едино, в нем произошло отщепление части, которая воспринимается как чуждая, на которую единство апперцепции не распространяется. Здесь, по-видимому, нет ослабления на уровне переживания Я (его можно условно называть «уровень базовый-1»), но есть ослабление собственно работы трансцендентального единства апперцепции по опознанию моих мыслей как именно моих (это будет уровень базовый-2). Впрочем, при прогрессивно текущем шизофреническом расстройстве нарушения Я со временем обязательно появляются. Однако при бредовом расстройстве этого может и не быть.

Таким образом, как мы видим, Я имеет весьма сложную уровневую структуру, и феноменологам предстоит еще работать над выявлением всех ее элементов с привлечением материала психопатологии.

Характерно, что мы отчетливо видим, как психиатрия и философия обогащают друг друга [18–22] Психиатры пользуются феноменологическим методом, но и сами вносят в феноменологию свои результаты, в частности выделяют уровни Я. Эмпирическая проверка вроде бы не требуется в философии, но следует заметить, что философия не настолько сильно оторвана от эмпирических наук, как это может показаться по ее чисто «спекулятивной», «рассуждающей» методологии. Когда Гуссерль писал о феноменологической психологии, материалом для него были собственное сознание и вычленение в нем таких структур, которые не могут быть другими, которые носят всеобщий, трансцендентальный характер. Одной из таких выделенных им структур был темпоральный горизонт. Гуссерль писал о том, что только что прошедшее прошлое сохраняется в нашем сознании настоящего, и аналогично в настоящем нашего сознания пребывает непосредственно предвидимое будущее. Без этого наши действия не будут носить осмысленного характера. Мы всегда как бы сопрягаем между собой наше прошлое и наше будущее, сознание – это машина по построению мостов между прошлым и будущим. Гуссерль в основном писал о ретенции, т.е. о непосредственном предшествовавшем прошлом, М. Хайдеггер больше внимания уделял тому, как мы строим наши будущие проекты, наброски. И то и другое имеет непосредственное отношение к психопатологии. При самых различных психопатологических состояниях может нарушаться структура трансцендентального Эго и временного горизонта вокруг него.

Мы уже рассматривали, как при слабости трансцендентального единства апперцепции нарушается связность мышления и речи. То же самое следует сказать и про слабость горизонта. Он, собственно, и является неотъемлемой структурой Я, оно находится как бы в его «центре»¹. Вероятно, можно даже сказать, что трансцендентальное единство апперцепции нуждается во вре-

¹ Здесь необходимо сделать оговорку, что термины «Я», «трансцендентальное Эго» и даже «трансцендентальное единство апперцепции» приходится употреблять почти как синонимы, хотя это было бы неприемлемо в чисто философском тексте. Однако не до конца искусленные в различии философских дискурсов психиатры обычно употребляют один термин: Self. В зависимости от того, к какой философской идее отсылает каждый раз их анализ Self, я выбираю наиболее подходящий философский термин, надеясь, что читатель извинит меня за получающийся философский разнобой.

менном горизонте, ведь у Канта речь идет о схематизме времени. Здесь мы видим явное пересечение идей Канта и Гуссерля, но, к сожалению, на этой интересной теме мы не можем сейчас останавливаться.

В чем проявляется слабость временного горизонта при шизофрении и других психопатологических состояниях, сопровождающихся нарушениями Я? Прежде всего, в том же, в чем и нарушение самого трансцендентального единства апперцепции: в речи больных нет замысла, нет стройной системы, она бессвязна. Если «в прошлое» некоторые больные еще отчасти могут удерживать мысль, т.е. ретенция у них есть, то «в будущее» проектов своей речи они, насколько можно понять, совсем не строят.

Здесь, вероятно, играет важнейшую роль их отношение к Другим. Они говорят не для реальных Других, а для воображаемых Других, для фантазийных собеседников. Вспомним еще раз идею Д. Дэннета о том, что Я является «центром нарративной гравитации». По-видимому, можно с достаточной долей уверенности сказать, что субъекты, больные шизофренией, обращаются со своим нарративом про себя к Другим, а не к самим себе, и это почти наверняка воображаемые Другие. Следовательно, Я как центр нарративной гравитации у них присутствует. Но этого оказывается мало для того, чтобы Я было устойчивым и достаточно сильным. Как их монолог не собран воедино, так и их Я ускользает от попыток организовать его в единое целое. Я находится в расщепленном состоянии, и это расщепление прежде всего во времени.

Мы видим, что все исследования феноменологических психиатров говорят о важности наличия организующего центра. Этот центр поддерживает временную целостность Я. Это важно, потому что в современной философии сознания темпоральные аспекты Я не получили, на мой взгляд, должного рассмотрения. Философия сознания должна больше внимания обращать на феноменологию и на ее учение о временном горизонте, а также, как стало ясно в последнее время, на данные психиатрии, которые иллюстрируют и дополняют идеи феноменологической философии.

Литература

1. Parnas J., Zandersen M. Self and schizophrenia: current status and diagnostic implications // World Psychiatry. 2018. Vol. 17 (2). P. 221–222.
2. Parnas J., Zahavi D. The Role of Phenomenology in Psychiatric Diagnosis and Classification // Psychiatric Diagnosis and Classification / M. Maj et al., eds. Wiley & Sons, 2002.
3. Parnas J., Henriksen M.G. Disordered Self in the Schizophrenia Spectrum // Harv Rev Psychiatry. 2014. Vol. 22 (5). P. 251–265.
4. Raballo A., Larøi F. Murmurs of thought: Phenomenology of hallucinatory consciousness in impending psychosis // Psychosis. 2011. Vol. 3 (2). P. 163–166.
5. Raballo A., Preti A. The Self in the Spectrum: a Closer Look at the Temporal Stability of Self-Disorders in Schizophrenia // Psychopathology. 2018. Vol. 7. P. 1–5.
6. Raballo A. Self-disorders and the experiential core of schizophrenia spectrum vulnerability // Psychiatria Danubina. 2012. Vol. 24, suppl. 3. P. 303–310.
7. Handest P., Klimpke C., Raballo A., Larøi F. From Thoughts to Voices: Understanding the Development of Auditory Hallucinations in Schizophrenia // Review of Philosophy and Psychology. 2016. Vol. 7, is. 3. P. 595–610.
8. Henriksen M.G., Parnas J. Self-disorders and schizophrenia: a phenomenological reappraisal of poor insight and non-compliance // Schizophrenia Bulletin. 2014. Vol. 40, № 3. P. 542–547.
9. Larøi F., de Haan S., Jones S. et al. Auditory verbal hallucinations: Dialoguing between the cognitive sciences and phenomenology // Phenom Cogn Sci. 2010. Vol. 9. P. 225.

10. McCarthy-Jones S., Krueger J., Larøi F., Broome M., Fernyhough C. Stop, look, listen: the need for philosophical phenomenological perspectives on auditory verbal hallucinations // *Frontiers in Human Neuroscience*. 2013. Vol. 7. Article 127.
11. Nordgaard J., Parnas J. Self-disorders and the schizophrenia spectrum: a study of 100 first hospital admissions // *Schizophr Bull.* 2014. Vol. 40 (6). P. 1300–1307.
12. Sass L., Parnas J., Zahavi D. Phenomenological psychopathology and schizophrenia: Contemporary approaches and misunderstandings // *Philosophy, Psychiatry, and Psychology*. 2011. Vol. 18. P. 1–23.
13. Sass L., Parnas J., Zahavi D. Rediscovering Psychopathology: the Epistemology and Phenomenology of the Psychiatric Object // *Schizophrenia Bulletin*. 2013. Vol. 39, № 2. P. 270–277.
14. Sass L., Parnas J. Schizophrenia, Consciousness, and the Self // *Schizophrenia Bulletin*. 2003. Vol. 29, № 3. P. 427–444.
15. Dennett D. *Kinds of minds. Towards an Understanding of Consciousness*. New York : Basic Books, 1997.
16. Mishara A.L. Is minimal self preserved in schizophrenia? A subcomponents view // *Consciousness and Cognition*. 2007. Vol. 16. P. 715–721.
17. Кант И. О первоначально-синтетическом единстве апперцепции // Кант И. Критика чистого разума. М. : Эксмо, 2015.
18. Ratcliffe M. Understanding existential changes in psychiatric illness: the indispensability of phenomenology // *Psychiatry as Cognitive Neuroscience: Philosophical perspectives* / M. Broome, L. Bortolotti (eds). Oxford : Oxford University Press, 2009. P. 221–244.
19. *The Oxford Handbook of Phenomenological Psychopathology* / G. Stanghellini, M. Broome, A.V. Fernandez, P. Fusar-Poli, A. Raballo, R. Rosfort (eds.). Oxford, 2018.
20. Minor K.S. et al. Measuring disorganized speech in schizophrenia: automated analysis explains variance in cognitive deficits beyond clinician-rated scales // *Psychol Med*. 2018. Vol. 25. P. 1–9.
21. Mishara A.L., Schwartz M.A. Conceptual analysis of psychiatric approaches: phenomenology, psychopathology, and classification // *Current Opinion in Psychiatry*. 1995. Vol. 8. P. 312–316.
22. Mundt C. Anomalous Self-Experience: a Plea for Phenomenology // *Psychopathology*. 2005. Vol. 38. P. 231–235.

Elena V. Kosilova, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation).

E-mail: implicatio@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 51. pp. 79–87.

DOI: 10.17223/1998863X/51/8

PHILOSOPHY AND PSYCHIATRY IN SEARCH OF OVERCOMING THE CRISIS: INVESTIGATIONS OF THE PHENOMENON OF THE SELF

Keywords: philosophy; psychiatry; phenomenological psychiatry; Self, monomial Self; reflexive Self; temporal horizon.

The current situation in philosophy is largely due to the invasion of other sciences, for example, psychology and psychiatry, of its field. The paper discusses the common subject of both philosophy and psychiatry: the investigations of the Self. Philosophical phenomenology and transcendentalism analyze the transcendental Ego or the transcendental unity of apperception, whereas the current philosophy of mind offers models in which the Self is absent (Daniel Dennett's multiple drafts model). It is supposed that psychiatric data can enrich philosophical theories of the Self and help to choose between the two models of mind: with the center of control and without it. The article discusses the theories of the Self and its disturbances, which phenomenological psychiatrists develop. The school of the Danish psychiatrist Josef Parnas develops the theory of the levels of the Self: the lowest – core (minimal) Self, the medium and the highest – reflexive Self. The disturbances of minimal Self, which can be also named the disturbances of the transcendental unity of apperception, are shown to cause depersonalization, mental automatisms, voices and incoherent speech. The disturbances affect two aspects: the subjective feeling of the absence of the Self (depersonalization, mental automatism) and the absence of the working organizing mechanism itself (schizophasia, disorganized thoughts). There are complex relations between minimal Self and reflexive Self in schizophrenia spectrum disorders. Whilst minimal Self diminishes, reflexive Self can increase and block spontaneous reactions. The disturbances of the Self in the delusional disorder are more complex, possible without the weakened minimal Self. Hallucinations are interpreted as the sounding of thoughts, which, in turn, results from the weakening of the

inhibition of the primary sounding nature of thinking. The necessity of the temporal horizon of the Self is also analyzed, as well as its importance for the organization of thinking and the weakening of the temporal horizon in schizophrenia. The article concludes that there is an organizing center of mind, which refutes Dennett's model.

References

1. Parnas, J. & Zandersen, M. (2018) Self and schizophrenia: current status and diagnostic implications. *World Psychiatry*. 17(2). pp. 221–222. DOI: 10.1002/wps.20528
2. Parnas, J. & Zahavi, D. (2002) The Role of Phenomenology in Psychiatric Diagnosis and Classification. In: Maj, M. et al. (eds) *Psychiatric Diagnosis and Classification*. Wiley & Sons.
3. Parnas, J. & Henriksen, M.G. (2014) Disordered Self in the Schizophrenia Spectrum. *Harvard Review Psychiatry*. 22(5). pp. 251–265. DOI: 10.1097/HRP.0000000000000040
4. Raballo, A. & Larøi, F. (2011) Murmurs of thought: Phenomenology of hallucinatory consciousness in impending psychosis. *Psychosis*. 3(2). pp. 163–166. DOI: 10.1080/17522439.2010.529617
5. Raballo, A. & Preti, A. (2018) The Self in the Spectrum: A Closer Look at the Temporal Stability of Self-Disorders in Schizophrenia. *Psychopathology*. 7. pp. 1–5. DOI: 10.1159/000488645
6. Raballo, A. (2012) Self-disorders and the experiential core of schizophrenia spectrum vulnerability. *Psychiatria Danubina*. 24(3). pp. 303–310.
7. Handest, P., Klimpke, C., Raballo, A. & Larøi, F. (2016) From Thoughts to Voices: Understanding the Development of Auditory Hallucinations in Schizophrenia. *Review of Philosophy and Psychology*. 7(3). pp. 595–610. DOI: 10.1007/s13164-015-0286-8
8. Henriksen, M.G. & Parnas, J. (2014) Self-disorders and schizophrenia: A phenomenological reappraisal of poor insight and non-compliance. *Schizophrenia Bulletin*. 40(3). pp. 542–547. DOI: 10.1093/schbul/sbt087
9. Larøi, F., de Haan, S., Jones, S. et al. (2010) Auditory verbal hallucinations: Dialoguing between the cognitive sciences and phenomenology. *Phenomenological and Cognitive Science*. 9. pp. 225. DOI: 10.1007/s11097-010-9156-0
10. McCarthy-Jones, S., Krueger, J., Larøi F., Broome, M. & Fernyhough, C. (2013) Stop, look, listen: the need for philosophical phenomenological perspectives on auditory verbal hallucinations. *Frontiers in Human Neuroscience*. 7. Article 127. DOI: 10.3389/fnhum.2013.00127
11. Nordgaard, J. & Parnas, J. (2014) Self-disorders and the schizophrenia spectrum: a study of 100 first hospital admissions. *Schizophrenia Bulletin*. 40(6). pp. 1300–7. DOI: 10.1093/schbul/sbt087
12. Sass, L., Parnas, J. & Zahavi, D. (2011) Phenomenological psychopathology and schizophrenia: Contemporary approaches and misunderstandings. *Philosophy, Psychiatry, and Psychology*. 18. pp. 1–23.
13. Sass, L., Parnas, J. & Zahavi, D. (39) Rediscovering Psychopathology: The Epistemology and Phenomenology of the Psychiatric Object. *Schizophrenia Bulletin*. 39(2). pp. 270–277. DOI: 10.1093/schbul/sbs153
14. Sass, L. & Parnas, J. (2003) Schizophrenia, Consciousness, and the Self. *Schizophrenia Bulletin*. 29(3). pp. 427–444. DOI: 10.1093/oxfordjournals.schbul.a007017
15. Dennett, D. (1997) *Kinds of minds. Towards an Understanding of Consciousness*. Basic Books.
16. Mishara, A.L. (2007) Is minimal self preserved in schizophrenia? A subcomponents view. *Consciousness and Cognition*. 16. pp. 715–721. DOI: 10.1016/j.concog.2007.07.009
17. Kant, I. (2015) *Kritika chistogo razuma* [The Critic of Pure Reason]. Translated from German. Moscow: Eksmo Publ.
18. Ratcliffe, M. (2009) Understanding existential changes in psychiatric illness: The indispensability of phenomenology. In: Broome, M. & Bortolotti, L. (eds) *Psychiatry as Cognitive Neuroscience: Philosophical perspectives*. Oxford University Press.
19. Stanghellini, G., Broome, M., Fernandez, A.V., Fusar-Poli, P., Raballo, A. & Rosfort, R. (eds) *The Oxford Handbook of Phenomenological Psychopathology*. Oxford, UK.
20. Minor, K.S. et al. (2018) Measuring disorganized speech in schizophrenia: automated analysis explains variance in cognitive deficits beyond clinician-rated scales. *Psychol Med*. 49(3). pp. 440–448. DOI: 10.1017/S0033291718001046
21. Mishara, A.L. & Schwartz, M.A. (1995) Conceptual analysis of psychiatric approaches: phenomenology, psychopathology, and classification. *Current Opinion in Psychiatry*. 8(3). pp. 12–316.
22. Mundt, C. (2005) Anomalous Self-Experience: A Plea for Phenomenology. *Psychopathology*. 38. pp. 231–235. DOI: 10.1159/000088440

УДК 123.1; 177

DOI: 10.17223/1998863X/51/9

В.Н. Сыров

ДИСКУССИЯ О СВОБОДЕ ВОЛИ И МОРАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ГДЕ ПЕРСПЕКТИВЫ?¹

Обсуждаются некоторые этапы развития темы моральной ответственности. Рассмотрены примеры Х. Франкфурта и Д. Фишера о возможности моральной ответственности в ситуации отсутствия альтернативных вариантов. Показано, что данные примеры могут служить свидетельством того, как приписывается ответственность. Показан сдвиг в обсуждении проблемы, осуществленный в рассуждениях П. Строссона о реактивных и объективных установках. Обсуждаются идеи М. Смайли об определении статуса ответственности не констатацией факта совершения тех или иных действий, а нашими социально-политическими интересами и зависимостью таких интересов от распределения социальных ролей и установления границ сообщества, с которым связываются субъекты и объекты ответственности. Ключевые слова: моральная ответственность, свободная воля, приписывание ответственности, принцип альтернативных возможностей, реактивные установки, объективные установки.

В статье предполагается обсудить некоторые пути развития темы моральной ответственности. Как известно, данная тема была тесно связана с проблемой соотношения свободной воли и детерминизма. Характер обсуждения коррелирует с распространенным в западной исследовательской традиции стилем анализа, который строится на демонстрации контрпримеров или примеров (мысленных экспериментов), опровергающих или ставящих под сомнение ключевой тезис обсуждаемой темы.

Если говорить о содержательной стороне, то можно отметить, что в ее обсуждении многие авторы исходили из предпосылок, которые интуитивно кажутся вполне естественными. Как отметил один из американских исследователей Тимоти О'Коннор, данные положения гласят: «1. Личность морально ответственна за то, что она делает, в том случае, если она могла бы сделать нечто иное. 2. Личность могла бы делать нечто иное, чем то, что она фактически сделала, только в том случае, если детерминизм ложен» [1. Р. 18].

Первую предпосылку Харри Франкфурт назвал «принципом альтернативных возможностей» [2. Р. 829]. В более широком плане данный принцип представляет собой конкретизацию представления о природе свободной воли. Тем самым в рамках данного подхода именно идея свободной воли становится основанием возлагания на индивида моральной ответственности. Если данная идея трактуется как возможность выбора, то в такой трактовке она предполагает невозможность ее согласования с принципом детерминизма.

В рамках статьи мы не будем сосредотачиваться на тщательном анализе всех извивов обсуждения данной темы. Для этого в отечественной литературе

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 19-18-00421.

можно обратиться к статье Дмитрия Волкова «Проблема свободы воли: обзор ключевых исследований конца 20 – нач. 21 вв. в аналитической философии» [3]. Обратим свое внимание на некоторые версии соотношения трактовок идеи свободы воли и моральной ответственности, которые нам кажутся значимыми в обсуждении темы. В частности, цитируемый выше Франкфурт выдвигает тезис, что нехватка моральной ответственности может быть обусловлена отнюдь не отсутствием альтернатив. И наоборот, отсутствие таких альтернатив еще не снимает с индивида моральной ответственности [2. Р. 831]. Франкфурт приводит соответствующий контрпример. Допустим, некто Блэк обладает силой принудить другого индивида – Джонса – исполнить нечто: он должен проголосовать за демократов, хотя не знает о возможности принуждения его к этому. Допустим, Джонс решает по собственной воле проголосовать за демократов, чего и хочет Блэк, а не за республиканцев, и поэтому последнему не приходится применять свою силу, чтобы блокировать возможное решение Джонса голосовать за республиканцев [Ibid. Р. 834–836]. Можем ли мы в данной ситуации настаивать на моральной ответственности Джонса за исполненное им действие?

Джон Мартин Фишер, развивающий идеи Франкфурта, утверждает, что возможность Блэка повлиять на выбор Джонса не имеет отношения к основаниям выбора Джонса голосовать за демократов. Иначе говоря, словами Фишера, в данном случае «альтернативные возможности иррелеванты к основаниям моральной ответственности» [4. Р. 198]. Если это так, то Джонс вполне может быть ответствен за свое решение, даже если он не обладает альтернативными возможностями [Ibid. Р. 196]. Ну или напротив, даже если мы отказываем Джонсу в моральной ответственности, то отнюдь не отсутствие альтернатив явится этому основанием.

На основании анализа предложенного Франкфуртом примера Фишер развивает свой подход к решению данной проблемы. Он предлагает различать два типа контроля: регулятивный контроль и контроль за управлением. Ключевой тезис автора заключается в утверждении, что моральная ответственность требует не регулятивного контроля, а контроля за управлением [Ibid. Р. 8]. В чем суть такого контроля? Фишер также приводит соответствующий пример. Например, некто Джонс ведет машину в определенном направлении. Допустим, что он не может свернуть в другую сторону. Эту возможность блокирует Блэк. Соответственно, регулятивный контроль для Джонса невозможен, тем не менее необходимость контроля остается, чтобы машина могла идти в том направлении, куда ее направляет Джонс. Но можно двинуться дальше. Допустим, что Джонс и не хочет вести машину в альтернативном направлении. Ему нужно именно то направление, в котором он ведет машину. Соответственно, в данном случае, во-первых, нет нужды в наличии альтернативных возможностей, а во-вторых, регулятивный контроль не только невозможен, да и просто не нужен [Ibid. Р. 39]. Джонс нуждается только в контроле за управлением.

В чем тогда может заключаться суть моральной ответственности, возникающей в данном типе ситуаций? Как полагает Фишер, «агент морально ответствен за действие постольку, поскольку он рационально доступен к воздействию определенных видов установок...» [Ibid. Р. 63]. Если сказать иначе, то агент берет на себя обязательство и, соответственно, ответственность до-

стичь поставленной цели вопреки возможным внутренним (связанным с его состояниями) и внешним препятствиям. Тем самым его моральная ответственность будет заключаться в способности осуществить контроль за реализацией поставленной цели или контроль за управлением ситуацией.

По сути дела, мы сталкиваемся с другой версией концепции свободы. Она строится не на полагании альтернативных возможностей, а на способности достичь сознательно поставленной цели. Фишер называет ее «способом самовыражения» [4. Р. 119]. Недаром свой труд он озаглавил «Мой путь». Соответственно, «что делает агента морально ответственным, так это то, *как* он проходит этот свой уникальный путь» [Ibid. Р. 121]. Поэтому моральная ответственность в данном случае зависит не от наличия альтернативных возможностей, а от истории действия, от того, как оно реально разворачивается [Ibid. Р. 17].

Какие же выводы мы можем сделать из этих рассуждений и дискуссий, растянувшихся на десятки лет? Мы не претендуем, естественно, на то, что нашли наконец верный способ решения. Опять-таки, что касается описания многообразия трактовок и решений примера Франкфурта, то можно обратиться к статье Александра Мишуры «Гарри Франкфурт и критика принципа альтернативных возможностей» [5. С. 111–128]. Мы будем говорить о рефлексивном отношении к полемике.

Во-первых, попробуем оттолкнуться от другой методологии в обсуждении и решении проблемы. Рискнем предположить, что ряд затруднений в обсуждении был вызван натуралистическим подходом к содержанию примера, предполагающим обсуждение того, как обстоят дела в действительности. Мы же будем исходить из конструктивистской установки, построенной на двух положениях: а) мы имеем дело только с формами знания, а не с доступом к самой реальности; б) критерием надежности знания следует считать его применимость, а не соответствие тому, как обстоят дела на самом деле.

Тогда решение примера Франкфурта могло бы быть следующим. Если на данном историческом этапе никто не знает и не может знать, что некто контролирует ситуации (но это станет известно позже, иначе причем здесь знание), то мы смело можем считать действия Джонса свободными (в смысле возможности поступить иначе) и, соответственно, возлагать на него ответственность за выбор.

Если же мы знаем, что Блэк контролирует действия Джонса, то полагаем, что Джонс не несет ответственности за свои действия. Формально здесь можно различить два подвида ситуации: допустим, Джонс не знает, что он под контролем, и думает, что совершает свободный выбор, и допустим, что он знает, что находится под контролем. Есть ли различие в наличии моральной ответственности в первом и втором случаях? На наш взгляд, нет ни в том ни в другом варианте. Все дело как раз в ценности ответственности. Для данного случая она имела бы смысл, если бы имели место альтернативы. Ведь мораль предполагает наличие обязанностей и обязательств, поэтому мы не просто выбираем, а возлагаем на себя риски и обязательства, связанные с таким выбором, а для случая Джонса – с последствиями такого выбора. Но мы-то знаем, в отличие от пребывающего в иллюзиях Джонса (как обладающие знанием, мы смело можем так трактовать его состояние), что альтернатив не будет. Дела все равно пойдут только одним путем, а не иными. Но тогда

и нет смысла говорить об ответственности, даже если Джонс думает, что поступает по собственному выбору.

Резонно предположить, что в обсуждении смоделированных ситуаций диспутанты несколько увлеклись лишь одной гранью (а именно свободой) действий индивида в данной ситуации, упустив из вида другую грань (ответственность). Недаром пример Франкфурта часто сводят к доказательству правомерности компатибилизма в дискуссиях с инкомпатибилистами. Отсюда вытекает еще один важный момент. Если мы говорим о формах знания, то ответственность не может рассматриваться натуралистически как некоторое естественное следствие столь же естественного свободного действия. Мы можем выдвинуть более радикальный тезис, что дело здесь отнюдь не в правильной или неправильной трактовке свободы. Дело в том, что разнообразие трактовок свободы показывает, что ответственность является продуктом интерпретации. Иначе говоря, она приписывается, а не открывается, так сказать, в объективном мире. Приписывается она, конечно, не неким идеальным наблюдателем, а сообществом или его представителями. В любом случае речь будет идти о форме знания об ответственности. А оно будет обусловлено отнюдь не неким отражением некоего естественного положения дел.

Применение конструктивистской методологии можно расширить. Резонно утверждать, что идея свободы является следствием не теоретического или эмпирического доказательства, а прагматики. Так, если мы принимаем ценность морали и права, то вынуждены признать и ценность свободы. Можно сказать, что последнее будет производным от первого. Все рассуждения могут строиться лишь по поводу того, что она может или должна собой представлять, как должна трактоваться. Франкфурт полагает, что наличие или отсутствие выбора не является необходимым условием для возлагания ответственности на совершившего действие индивида. Фишер развивает эту мысль, трактуя свободу как правильную реализацию жизненного пути. По сути, по Фишеру, если индивид ответствен, то за самоформирование. Он склоняется к утверждению, что позиция практического разума заключается не в выборе альтернатив, не в создании различий, а в рефлексивности индивида по поводу причин, побуждающих его делать то, что он делает [4. Р. 25].

Можно, конечно, пойти по пути компромисса и утверждать о разных степенях реализации свободы, где для каждой степени будет свой уместный конкретно-исторический контекст. Но, как представляется, более важным является момент смещения дискуссии от соотношения свободы воли и детерминизма к трактовкам характера самой свободы. Дискуссия показала, что сама связь ответственности и свободы оказывается отнюдь не прямолинейной и зависит как минимум от интерпретаций свободы. В данных примерах речь идет как раз о том, что мы можем приписывать индивиду ответственность даже в тех ситуациях, где не встает вопрос о выборе (хотя согласно предложенному нами способу решения ситуации пример Франкфурта как раз этого не подтверждает, скорее, Фишер развивает эту мысль). Более того. Забегая вперед, мы можем приписать индивиду ответственность за действия, которые он не совершал или в которых не участвовал, например возложить на него ответственность за равнодушие к загрязнению окружающей среды.

Очевидно тогда, что идея свободы как необходимого условия возлагания на кого-либо ответственности является лишь наиболее общим условием. Во-

просы начинают возникать в ситуациях различия ее трактовок. Но и это лишь только начало пути.

Еще один разворот в обсуждении темы мы можем увидеть в рассуждениях Питера Строссона, представленных в статье «Свобода и обида», впервые опубликованной в 1962 г. Как отмечают Майкл Маккенна и Пол Рассел, «стратегия Строссона в „Свободе и обиде“ предполагает поворот от концептуальных вопросов, связанных с анализом „свободы“ и „ответственности“, к внимательному взгляду на то, что на самом деле происходит, когда мы считаем человека ответственным. Иначе говоря, его методология зависит менее от концептуального анализа и более от дескриптивного описания реальной человеческой моральной психологии» [6. Р. 5]. Этот путь вышеуказанные авторы назвали «натуралистическим поворотом» [Ibid.]. Суть его не только в предпочтении анализу так называемых «реальных» межличностных отношений и порожденных ими состояний (роль эмоций), но и в отсутствии необходимости обоснования или оправдания того факта, что мы подвержены таким состояниям и чувствам в нормальных ситуациях. «Это просто данность нашей человеческой природы, и без нее нам было бы трудно признать бытие индивидов или групп полностью человеческим» [Ibid. Р. 6].

Как известно, Строссон называет реактивными установками те или иные эмоциональные реакции индивидов на действия других индивидов по отношению к ним. Среди них он выделяет благодарность и обиду [7. Р. 22–23]. Реактивные установки являются естественными формами эмоционального взаимодействия «взрослых людей». Соответственно, по Строссону, они не действуют или не имеют смысла там, где обстоятельства являются нормальными, но агент действия психологически ненормален (психически болен, к примеру) или морально не развит (ребенок) [Ibid. Р. 24]. Установки по отношению к таким индивидам автор называет объективными установками. Они являются объективными в том смысле, что предполагают трактовку действий таких индивидов как обусловленных некоторыми внешними по отношению к ним причинами (говоря традиционным языком, неподвластными воле индивида). Ключевой тезис Строссона заключается в утверждении, что реализация объективных установок является не следствием истинности детерминизма, а тем, что сложились такие обстоятельства, которые делают неприменимыми реактивные установки [Ibid. Р. 27].

Строссон подчеркивает, что моральные установки можно рассматривать как обобщенные или замещающие аналоги личностных реактивных установок [Ibid. Р. 28]. Иначе говоря, мы можем испытывать негодование по поводу действий, совершенных не нами по отношению к другим людям и нас непосредственно не затрагивающих. Соответственно, мы также следуем требованиям, как взаимодействовать с другими. Строссон подчеркивает, что все эти требования, личностные реактивные и замещающие установки связаны не логически, а чисто человечески [Ibid. Р. 29]. Иначе говоря, все эти типы установок имеют общие корни в нашей человеческой природе и нашем членстве в человеческих сообществах [Ibid.]. Это естественная составляющая человеческого бытия. Как отметит цитируемый нами автор, наши практики не просто эксплуатируют нашу природу, они выражают ее [Ibid. Р. 36].

Бесспорно, статья Строссона знаменовала поворот в рассуждениях об ответственности, повернув их от анализа соотношения свободной воли и де-

терминизма к феноменологии межличностных отношений, конституирующих ответственность. Но в том, что касается характеристики самой ответственности, она порождает больше вопросов, чем ответов. Сам автор почти не употребляет понятие ответственности, поскольку его использование предполагает интерпретацию некоторого положения дел (причины чувства обиды, к примеру). Поэтому более приемлемым для такого, так сказать, феноменологического подхода является использование понятия обиды как «вполне естественной» реакции на невыполнение того или иного обязательства.

Можно, конечно, спорить по поводу обиды как эмоциональной реакции, всегда имеющей именно моральное наполнение. Можно, с другой стороны, вполне оправданно, на наш взгляд, усомниться в обиде как именно той реакции, что подразумевается нарушением именно морального требования. Можно сомневаться по поводу конститутивной функции реактивных установок для формирования ответственности. Иначе говоря, можно утверждать, что не обида порождает ответственность, а нарушение обязательства и формирование чувствительности к такого рода нарушениям порождает обиду. Можно поставить под вопрос тезис Строссона о том, что моральные требования являются простыми обобщенными или замещающими аналогами личностных реактивных установок. Иначе говоря, можно усомниться в том, что вторые вытекают из первых и что сферу приватного и сферу публичного регулируют одни и те же требования. Можно также согласиться с автором по поводу так называемой «естественности» описанных им отношений для человеческого бытия, но настаивать на необходимости обоснования определенных форм требований по отношению к определенным категориям объектов. Так, М. Маккенна и П. Рассел в своей вступительной статье также намечают ряд возражений, предъявляемых рассуждениям Строссона [6. Р. 9–14]. В итоге можно еще раз повторить, что предложенная феноменология межличностных отношений породила целый веер дискуссий о моральной ответственности, выходящих за пределы споров о соотношении свободы воли и детерминизма.

Марион Смайли справедливо отмечает, что вместо того, чтобы анализировать природу моральной ответственности, многие современные философы сосредоточиваются на второстепенном вопросе: совместима ли свободная воля, вытекающая из признания моральной ответственности, с современными теориями детерминизма [8. Р. 16]. В итоге сама проблема ответственности стала лишь довеском к теме соотношения свободы воли и детерминизма. Говоря иначе, она стала лишь обеспечивающим наглядность и общезначимые основания поводом рассуждать фактически на иную тему. Это не означает, конечно, что философская дискуссия о соотношении свободы воли и детерминизма носит абстрактный и оторванный от запросов практики характер, чем дает повод для самонадеянных суждений типа «философия философией, а вот на практике дела обстоят иначе».

Дело в том, что, во-первых, как это часто бывает, первоначальный импульс к дискуссии забылся, а сама она сосредоточилась на том, что является лишь наиболее общим основанием для полагания ответственности. Во-вторых, в том, что касается современных трактовок ответственности, Смайли столь же правомерно указывает, что «мы не всегда осознаем, что имеем дело с моральной ответственностью... противопоставленной чисто каузальной ответственности» [8. Р. 3]. То, что она называет каузальной ответственностью,

стью, может быть представлено как классическая формулировка определения ответственности и звучать следующим образом: «Чтобы некто был ответственным за действие: (1) действие должен определенным образом соотноситься с его решениями, (2) его способность принимать решения должна удовлетворять определенному условию. Конкретнее: он ответствен за выполнение *A* только в том случае, если бы (1) он не сделал *A*, если бы решил (или выбрал или пожелал или хотел и т.д.) не делать *A*; и если (2) он мог бы решить не делать *A*» [9. Р. 47–69].

По сути, это кажущееся очевидным рассуждение опирается на определенные допущения. Смайли формулирует их следующим образом. Первое заключается в утверждении, что «люди заслуживают порицания не в силу решения с нашей стороны, что они достойны нашего порицания, а в силу того, что они сами стали причиной того, за что они несут ответственность» [8. Р. 4]. Иначе говоря, автор критикует натуралистическое убеждение в самоочевидности возлагания ответственности. Действительно, для нас кажется естественным, что ответственность должна быть возложена на того, кто явился причиной действия. Поэтому, как правило, тезис, что *X* ответствен за *Y*, трактуется как *X* стал причиной *Y*. Второе допущение заключается в утверждении, что «ответственность – это факт, касающийся отдельных лиц, что они стали причиной того, за что их обвиняют, а не суждение, которое мы делаем по отношению к человеку после его действий» [Ibid.]. По сути, автор упрекает современную европейскую мысль в номиналистской трактовке ответственности, а именно в устойчивой привычке связывать ее с отдельными действиями отдельных индивидов.

Смайли справедливо отмечает, что сами эти допущения основаны на определенных метафизических допущениях. Действительно, во-первых, речь идет о связи ответственного действия с концепцией свободной воли. Во-вторых, само определение причин произошедшего является не фактом, а результатом исследования, но часто принимается за некоторый факт. В-третьих, конечно, для рассуждений удобно в качестве примера приводить отдельное действие отдельного индивида, но такого рода действия, как правило, являются лишь верхушкой айсберга. За пределами внимания тогда остаются коллективные действия, действия институтов, действия социально-политического характера. Но, в-четвертых, и это самое главное, возлагание ответственности отнюдь не сводится к определению агентов (авторов) действия. Поиск такого рода агентов – это, опять-таки, лишь верхушка айсберга.

На протяжении своей работы Смайли неоднократно подчеркивает, что установление ответственности определяется не констатацией факта, что некто нечто совершил, а нашими социально-политическими интересами. Когда мы утверждаем, к примеру, что корпорации ответственны за голод в Африке, то это обвинение, во-первых, будет (должно) являться результатом кропотливого исследования, а во-вторых, будет предполагать определенный идеологический контекст. Ведь вполне возможно, что субъективно никто из руководителей корпораций не ставил такой цели (не имел умысла, так сказать).

Но дело, конечно, не в простой демагогии, а в том, что только идеология в состоянии обеспечить направление возможной интерпретации такого рода ситуаций. Если это так, то речь опять-таки должна идти о приписывании ответственности. Говоря иначе, ответственность конструируется. И не только

потому, что причинно-следственная связь между агентом действия, действием и результатом не всегда очевидна, но еще и потому, что в установлении таких связей определение существенных (принимаемых во внимание) и несущественных аспектов зависит от наших идеологических предпочтений. Сама Смайли полагает, что к ним стоит отнести как наши представления о конфигурации социальных ролей индивида, так и наши представления о том, являются или нет причинившие вред частью того сообщества, к которому принадлежит индивид [8. Р. 256]. Автор оговаривается при этом, что носят такие представления динамический характер.

Если речь идет о влиянии социально-политических интересов, то мы можем говорить (что автор неоднократно делает по отношению к различным аспектам темы ответственности) об историческом характере приписывания ответственности. Историчность предполагает, во-первых, отчетливое осознание, что это наши практики (вплоть до трактовки свободной воли), а не универсальное вневременное положение дел, во-вторых, требование обоснования, объяснения или оправдания сложившегося положения дел, а в-третьих, возможность пересмотра сложившихся форм приписывания ответственности.

Но главное даже не в этом. Смайли приводит любопытную мысль Роберта Гудвина о том, что если мы будем концентрироваться только на поиске ответственных за причины порождения зла и страданий, мы никогда не предотвратим эти страдания [Ibid. Р. 176]. Дело, конечно, не в том, чтобы игнорировать этот аспект, оставляя виновных безнаказанными. Дело в том, что ответственность приписывается не только тем, кто был идентифицирован как причина тех или иных действий. Если в наших силах внести вклад в борьбу с экологическими проблемами, то мы ответственны за их решение, хотя и не являемся их причиной. Вот почему Смайли неоднократно подчеркивает на страницах своей книги, что надлежит сосредоточиться на тех условиях, силах, факторах, которые мы могли бы контролировать в будущем, чтобы предотвратить повторение причиняемого вреда [Ibid. Р. 179]. Более того, в рамках такого подхода ответственность может быть вменена не только тем, кто по своей социальной роли (в силу должности) обязан следить за предотвращением вреда, но любому гражданину. Недаром Смайли говорит о роли сообщества: ведь от того, воспринимает ли индивид себя частью того сообщества, которому причинен вред, разделяет ли он те же самые критерии допустимого поведения, будет зависеть принятие им возлагаемой на него ответственности [Ibid. Р. 239]. Понятно, что каузальная ответственность не покрывает всю совокупность субъектов, на которых ответственность может быть возложена, хотя, конечно, это будет ответственность, так сказать, не за причины, а за следствия.

С этой точки зрения понятие контроля является более содержательно богатым для характеристики ответственности. Контроль подразумевает не только и не столько поиск причин (ответственных за) совершенного действия, сколько определение тех факторов, на которые по силам воздействовать современному индивиду (группе, обществу) для предотвращения или устранения вреда, и тех агентов действия, которым по силам воздействовать на эти факторы.

Кстати, как отмечает Смайли, задним числом такой подход проецируется и на определение причин происшедшего [8. Р. 182]. Иначе говоря, наше по-

нимание таких причин будет обусловлено нашим пониманием сил, которые мы в состоянии контролировать в будущем. В принципе, это позволяет расширить сферу применения понятия «каузальная ответственность», включив туда вышеупомянутые факторы.

В итоге мы можем утверждать, что появление работ такого рода знаменует поворот в обсуждении темы ответственности. Дискуссии по поводу соотношения свободы воли и детерминизма тем самым либо отходят на второй план, либо становятся самостоятельной областью исследования. Конечно, вышеописанные аспекты не покрывают всех сторон темы ответственности. Анализ в основном сосредоточился на вопросе, связанном с определением субъекта ответственности и условий (свобода воли, в частности), которые обеспечивают бытие таким субъектом. Справедливо отмечается, что без определения такого субъекта невозможно дать само определение ответственности [10. С. 142]. Но прохождение рассмотренных в статье стадий осмысления данной темы открывает путь для осуществления следующих шагов.

Литература

1. O'Connor T. Persons and causes: the metaphysics of free will. Oxford : Oxford University Press, 2000. 135 p.
2. Frankfurt H. Alternate Possibilities and Moral Responsibility // Journal of Philosophy. 1969. Vol. 66, № 23. P. 829–839.
3. Волков Д.А. Проблема свободы воли: обзор ключевых исследований конца 20 – нач. 21 вв. в аналитической философии // Философский журнал. 2016. Т. 9, № 3. С. 175–189.
4. Fischer J.M. My Way. Essays on Moral Responsibility. Oxford : Oxford University Press, 2006. 260 p.
5. Мишура А.С. Гарри Франкфурт и критика принципа альтернативных возможностей // Философия. Журнал Высшей школы экономики. 2017. Т. I, № 4. С. 11–128.
6. McKenna M.S., Russell P. Introduction: Perspectives on P.F. Strawson's «Freedom and Resentment» // Free will and reactive attitudes: perspectives on P.F. Strawson's Freedom and resentment / ed. by M.S. McKenna, P. Russell. Ashgate Publishing Company, 2008. P. 1–17.
7. Strawson P.F. Freedom and Resentment // Free will and reactive attitudes: perspectives on P.F. Strawson's Freedom and resentment / ed. by M.S. McKenna, P. Russell. Ashgate Publishing Company, 2008. P. 19–36.
8. Smiley M. Moral responsibility and the boundaries of community: power and accountability from a pragmatic point of view. Chicago : The University of Chicago, 1992. 286 p.
9. Bennett J. Accountability (II) // Free will and reactive attitudes: perspectives on P.F. Strawson's Freedom and resentment / ed. by M.S. McKenna, P. Russell. Ashgate Publishing Company, 2008. P. 47–69.
10. Агафонова Е.В. Проблема ответственности и проблема вменения в этико-правовом дискурсе: критика каузализма в этике // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2015. № 2 (32). С. 141–150.

Vasily N. Syrov, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: narrat59@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 51. pp. 88–97.

DOI: 10.17223/1998863X/51/9

A DISCUSSION ON FREE WILL AND MORAL RESPONSIBILITY: WHERE ARE THE PROSPECTS?

Keywords: moral responsibility; free will; attribution of responsibility; principle of alternate possibilities; reactive attitudes; objective attitudes.

The article discusses some stages in the study of the topic of moral responsibility. The cases of Frankfurt and Fischer on the status of moral responsibility in the absence of alternative possibilities are considered. A version of the interpretation of the Frankfurt case based on the constructivist methodo-

logy is proposed. This version is built on two positions: (a) we can deal only with forms of knowledge, and not with access to reality itself; (b) the criterion of the reliability of knowledge is associated with its applicability, and not with the correspondence to reality. A solution to the Frankfurt case is proposed. If no one knows that someone controls Jones's activities, then we can hold Jones responsible for his actions. If we know that Black controls Jones's actions, then we believe that Jones is not responsible for his actions. We believe that responsibility matters when there are real alternatives. Such alternatives involve responsibilities, obligations and risks, but, in this example, there are no such risks. It is argued that the Fischer and Frankfurt cases show the dependence of responsibility attribution on our beliefs of who is considered morally responsible and why. These cases discuss the situation in which moral responsibility does not require the sort of control which involves the existence of alternative possibilities. A change in the study of the problem of responsibility, made in Peter Strawson's discussion of reactive and objective attitudes, is shown. Strawson's commentators noted that his strategy in "Freedom and Resentment" involves turning away from the conceptual issues of the analysis of "freedom" and "responsibility" and taking a closer look at what actually goes on when we hold a person responsible. By reactive attitudes Strawson means certain emotional reactions individuals to other individuals' actions in relation to them. Among them, he emphasizes gratitude and resentment. Reactive attitudes are natural forms of the emotional interaction of "adults". Attitudes towards actions due to causes external for individuals are called objective. Strawson believed that moral attitudes can be considered as generalized or vicarious analogues of personal reactive attitudes. It is noted that Strawson's paper marked a turn in the debate on responsibility from analyzing the relationship of free will and determinism to the phenomenology of interpersonal relationships constituting responsibility. Marion Smiley's ideas about the nature of responsibility were also examined. Smiley claims responsibility is attributed. This procedure depends on our sociopolitical interests. Smiley insists on the dependence of such interests on both our configuration of the individual's social role and our own sense of whether or not those being harmed are part of the individual's community. As a result, a shift is shown in the discussion of responsibility status, which links it not only with the action agent as the cause of harm, but also with those action agents who can participate in limiting or preventing harm.

References

1. O'Connor, T. (2000) *Persons and causes: the metaphysics of free will*. Oxford University Press.
2. Frankfurt, H. (1969) Alternate Possibilities and Moral Responsibility. *Journal of Philosophy*. 66(23). pp. 829–839. DOI: 10.2307/2023833
3. Volkov, D.A. (2016) The problem of free will: an overview of major studies by analytical philosophers in late 20th – early 21st century. *Filosofskiy zhurnal – Philosophy Journal*. 9(3). pp. 175–189. (In Russian). DOI: 10.21146/2072-0726-2016-9-3-175-189
4. Fischer, J.M. (2006) *My Way. Essays on Moral Responsibility*. Oxford University Press.
5. Mishura, A.S. (2017) Harry Frankfurt and Criticism of the Principle of Alternate Possibilities. *Filosofiya. Zhurnal Vyshey shkoly ekonomiki – Philosophy. Journal of the Higher School of Economics*. 1(4). pp. 11–128. (In Russian). DOI: 10.17323/2587-8719-2017-1-4-111-128
6. McKenna, M.S. & Russell, R. (2008) Introduction: Perspectives on P.F. Strawson's "Freedom and Resentment". In: McKenna, M.S. & Russell, P. (eds) *Free will and reactive attitudes: perspectives on P.F. Strawson's Freedom and resentment*. Ashgate Publishing Company. pp. 1–17.
7. Strawson, P.F. (2008) Freedom and Resentment. In: McKenna, M.S. & Russell, P. (eds) *Free will and reactive attitudes: perspectives on P.F. Strawson's Freedom and resentment*. Ashgate Publishing Company. pp. 19–36.
8. Smiley, M. (1992) *Moral responsibility and the boundaries of community: power and accountability from a pragmatic point of view*. The University of Chicago.
9. Bennett, J. (2008) Accountability (II). In: McKenna, M.S. & Russell, P. (eds) *Free will and reactive attitudes: perspectives on P.F. Strawson's Freedom and resentment*. Ashgate Publishing Company. pp. 47–69.
10. Agafonova, E.V. (2015) The concept of responsibility and the problem of imputation in the ethical and legal discourse: a critique of theories of causation in ethics. *Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 2(32). pp. 141–150. (In Russian).

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

УДК 1; 37; 069

DOI: 10.17223/1998863X/51/10

А.А. Кильдюшева

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЖОНА ДЬЮИ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА – МУЗЕЙ

Проведен анализ педагогических идей американского философа Джона Дьюи. В прагматистских представлениях об образовании отразилась проблематика непрерывного образования (lifelong learning, adult learning), актуализированная во второй половине XX в. Опираясь на инструментальную практику Дьюи, конструктивисты описали практику музейного обучения. Музей представлен как ресурс получения непрерывного и неформального образования.

Ключевые слова: Джон Дьюи, инструментализм, непрерывное образование, опыт, музей.

В работах философов, социологов, экономистов, педагогов в начале XXI в. одной из обсуждаемых стала тема непрерывного образования, острота которой определялась необходимостью осмысления глубоких изменений, затронувших экономическую и культурную сферы современного общества. Информационный бум, накопление научных знаний, процессы глобализации, совершенствование технологий потребовали подготовки специалистов, способных быстро и гибко реагировать на вызовы времени [1–3].

Идея непрерывного образования не нова, ее истоки находят еще в античной философии, но актуализирована она была во второй половине XX в. [4–7; 8. С. 12–56].

«Осознание особого места образования как базового процесса в развитии общества и человека» способствовало смене концепции «образование в молодости как запас на всю жизнь» концепцией «образование в течение всей жизни» (lifelong learning) [9. С. 8].

«Обучение на протяжении всей жизни предполагает любое целенаправленное обучение, осуществляемое на постоянной основе, с целью совершенствования знаний, умений и навыков (компетенций) в условиях информатизации общества, глобализации мировых процессов и стремительного научно-технического прогресса» [5. С. 675]. Интересна в этом плане точка зрения О. Войтовской и С. Толочко, считающих, что потребность в получении непрерывного образования на протяжении всей жизни является одной из ключевых черт образа «человека будущего, постчеловека», поэтому «lifelong learning – это культура самообразования, саморазвития, самосовершенствования; индивидуальная работа со знаниями, где образовательные технологии должны стимулировать работу сознания к развитию» [10. Р. 150].

Становление концепции непрерывного образования связано «с расширением возможностей для образования взрослых (adult learning) в начале XX в.»

[5. С. 673] и развитием философии образования, апологетом которой был представитель философии прагматизма, ее инструментального направления, теоретик образования Джон Дьюи (1859–1952).

По мнению исследователей, философия прагматизма ориентирована на человеческую личность, ее становление и развитие; прагматизм ставил своей целью «методологически обосновать существование идей и предметов научного знания в различных областях сферы деятельности человека» [11. С. 94], предусматривал создание общего метода решения повседневных проблем, встающих перед обычным человеком в изменяющемся мире [12. С. 375], и в целом понимался как «образ жизни» [13. С. 270].

В последнее время наблюдается всплеск интереса к идеям Дьюи, в частности к педагогическим. Философ изложил свои воззрения на педагогику в двух основных работах, вышедших с разрывом в двадцать два года: в 1916 г. была опубликована работа «Демократия и образование» («Democracy and Education»), а в 1938 г. – «Опыт и образование» («Experience and Education»), труд, резюмировавший мысли американского ученого об идеале образования. Изданная более восьмидесяти лет назад работа Дьюи до сих пор не потеряла своей актуальности; рассмотрим ее тезисы.

История философии образования, по мнению мыслителя, отмечена «противостоянием различных концепций: образование как развитие личности изнутри и как формирование ее извне». Дж. Дьюи критикует традиционное образование, в котором «сведения, умения и навыки, нормы и правила поведения, выработанные в прошлом, передаются новому поколению посредством школы, книг как источников мудрости и учителей как их проводников. Учиться означает приобретать то, что уже содержится в книгах и головах старших». В противовес он предлагает внедрять и использовать прогрессивное образование, суть которого заключается «в самовыражении и развитии личности; свободной деятельности; учении через опыт; освоении умений и навыков для достижения жизненно важных целей; максимальном использовании возможностей настоящего; динамике изменяющегося мира». Фундаментом своей философии Дьюи считает «тесную связь между текущим опытом во всем его многообразии и образованием», или «учение через опыт» [12. С. 327–330]. Он придерживался экспериментального подхода, при этом делал важное уточнение – «подлинное образование, возникающее из опыта, не предполагает, что любой опыт подлинно образователен». Рассуждая об особенностях опыта, философ приходит к выводу: «Все зависит от качества приобретаемого опыта, которое имеет два аспекта: непосредственная приятность (неприятность) и влияние на последующий опыт» [Там же. С. 332–333], при этом для выяснения педагогической ценности опыта Дж. Дьюи использует универсальный принцип непрерывности, или континуума, опыта, подразумевая, что «всякий опыт заключает в себе прежние события и влияет на то, что произойдет в будущем». Образовательный процесс – это непрерывный процесс, целенаправленный «рост, вырастание физическое, умственное, нравственное» [Там же. С. 337–338]. Уже полученный опыт «продолжает свое движение внутри человека», влияет на формирование желаний и целей. «Источники подпитки» опыта находятся вне индивидуума, во внешней среде. «Всякий подлинный опыт обладает активностью, он изменяет объективные условия проживания последующего опыта», – пишет Дьюи [Там же. С. 341].

Введенное им понятие «взаимодействие» выражает суть второго принципа интерпретации опыта в его образовательной функции: оно дает равные права объективным и субъективным факторам опыта. Опыт накапливается в процессе взаимодействия индивида с тем, что в данный момент составляет его окружающую среду (люди, книги, материалы и др.), т.е. с определенной жизненной ситуацией [12. С. 342–343]. Прагматист отмечает, что «пространство опыта велико и неравномерно по консистенции и зависит от места и времени» [Там же. С. 364]. Прогрессивное образование обращается к опыту как источнику проблемных ситуаций. «Континуальность и взаимодействие как продольный и поперечный разрезы опыта, – уточняет философ, – оформляют образовательный процесс, который длится, пока длится жизнь» [Там же. С. 344]. Когда образование основывается на опыте, то его накопление рассматривается как социальный процесс [Там же. С. 352]. По мнению Дж. Дьюи, опыт не может служить задачей образования, если он не способствует освоению фактов и идей и не организован – «без упорядоченности опыт распыляется, становится хаотичным» [Там же. С. 367]. Научный метод служит единственным средством для осмысления нашего повседневного опыта [Там же. С. 370]. Таким образом, прогрессивное образование позволяет учитывать возможности и цели учащихся на каждой стадии обучения, оно основывается на опыте, который всегда является жизненным опытом какого-то человека; учитель и ученик становятся частями «информационного рынка, на котором происходит взаимовыгодный обмен» [Там же. С. 353].

Итак, Дж. Дьюи в своей работе еще раз подчеркнул необходимость создания философии опыта (*philosophy of experience*), в которой главным понятием является «опыт», понимаемый как «поведенческая интеракция» или «весь человек, его жизненный мир во взаимодействии с тем, что создано эволюцией природы, и с тем, что сам он вносит в него собственной субъективностью, культурой и историей»; характеристиками опыта являются длительность и становление [14. С. 162, 168–169]; философ отстаивает идею образования как жизненного опыта. Вера в возможности последнего и основанного на нем прогрессивного образования, неразрывно связана с верой в идеалы демократии, либерализма, гуманизма, равенства, взаимовыгодного сотрудничества. Непрерывное «универсальное» образование для всего общества, обучение способствуют формированию гармонично развитой личности на разных этапах ее жизненного пути. Человек выступает как субъект познания и действия. Необходимость в создании искусственных проблем отпадает, так как сама жизнь выявит те проблемные ситуации, которые нужно решать (переживать и проживать), используя инструментальный (экспериментальный) научный метод, получая бесценный личный опыт. Экспериментальная практика является главным критерием истинности или ложности любых идей, ее инструментов. Образование как исследование жизни создает равные возможности для всех его участников в раскрытии их потенциала; оно значимо для прогресса общества, ориентировано на настоящее и будущее.

Педагогические идеи Дж. Дьюи сейчас востребованы не только в среде получения формального образования (школа, вуз), но и в сфере неформального образования, реализуемого, например, в музеях. Все эти социальные институты ориентированы на развитие коммуникационного процесса. Коммуникацию американский философ «связывает с развитием индивидуального

сознания и характера; это высочайшая форма человеческой деятельности, поскольку она дает возможность делиться опытом; это не просто обмен сообщениями, а прагматический диалог, нацеленный на определенный результат» [15. С. 48].

Музей, ранее находившийся на периферии образовательного процесса и использовавшийся, скорее, в помощь школьному образованию, в ХХI в. заявил о себе как об институте и способе реализации новой образовательной парадигмы [9. С. 8]. По мнению Л. Боун, «именно музей является учебным ресурсом, доступным каждому на протяжении жизни, и в этом качестве он может быть определен как инструмент реализации концепции „образование в течение всей жизни“» (цит. по.: [Там же. С. 9]). Отсюда вытекает, что «музейное образование (museum education) – это развитие жизненного опыта человека на основе музейной коммуникации» [Там же. С. 22].

Сам философ рассматривал музеи как часть процесса познания, признавал их огромную образовательную ценность и любил их посещать. Его многочисленные поездки по США и в другие страны, как правило, включали в себя «строгий график посещения музеев» [16. Р. 352]. В созданной им Чикагской лабораторной школе были запланированы дни посещения учащимися музеев. Такие регулярные посещения Дьюи считал составной частью образовательной программы, а не особой деятельностью один раз в год [17. Р. 413, 420].

Современные североамериканские ученые, опираясь на философские идеи Дж. Дьюи, исследуют темы «музей как место неформального, неформального, непрерывного образования», «музейные образовательные программы», «обучение взрослых в музее» и др.; рассмотрим некоторые труды.

Т. Ансбачер использует работу Дж. Дьюи «Опыт и образование» применительно к анализу музейного образования [18]. Он говорит, что противостояние традиционного и прогрессивного подходов, о которых писал Дьюи, пронизывает и музейные дискуссии о способе показа экспонатов, стиле оформления и содержании этикеток и др. [Ibid. Р. 36–37]. Ансбачер считает, что при создании этикетажа выставок не стоит ни досконально рассказывать посетителям, что им «следует видеть, делать и изучать» (так как это снизит качество коммуникации), ни полностью исключать этикетки, чтобы посетители «не разочаровались, будучи не в состоянии получить хоть какой-то опыт». Два аспекта качества опыта Дж. Дьюи ученый применительно к музеям переформулировал так: 1) посетитель взаимодействует с выставкой и получает опыт; 2) посетитель усваивает опыт и получает обучение [Ibid. Р. 38, Fig. 1]. Термин «обучение» Ансбачер использует в широком смысле, включая в него когнитивное, аффективное и психомоторное. Такое обучение происходит на основе собственного опыта посетителей в определенной выставочной среде; при этом результаты обучения у каждого будут строго индивидуальны. Оценка образовательной эффективности выставки должна учитывать два аспекта качества опыта: если опросы и прямое наблюдение помогут выяснить то, что посетители «на самом деле делали (видели, трогали, слышали...) на выставке», то выявить влияние выставки на посетителя в долгосрочной перспективе сложнее [Ibid. Р. 39–42, Fig. 2]. Ученый считает, что музей должен «организовать такой опыт, который не будет отталкивать, а, скорее, вовлекать в деятельность, и будет более приятен, поскольку он способствует появлению будущего опыта», поэтому развлечение и образование в музее совме-

стимы [18. Р. 43]. По Дьюи, принцип взаимодействия связан с окружающей средой, в которой идет получение опыта; в музее – это выставочное пространство, от правильной организации которого зависит успешность взаимодействия. Принцип непрерывности «встроен в личный континуум переживания каждого человека», но его сложно применить в музее, так как музеи посещают люди со своими личными историями, «личным опытом», и неясно, что «на самом деле происходит в сознании каждого присутствующего». Образовательная ценность музейного опыта основана на предоставлении разнообразных, запоминающихся впечатлений от интеракции с реальными предметами. Ученый, следуя Дьюи, рассуждает на тему баланса свободы посетителя («свобода мышления» и «свобода передвижения») в музее и социального контроля со стороны последнего и приходит к выводу: для контроля нужна причастность посетителей к происходящему [Ibid. Р. 44–45]. В неформальном образовании, каким является музейное, важно, чтобы сами участники формировали цели обучения. В музеях это реализуется через взаимодействие посетителей с выставкой, при этом «чтение этикеток» должно сочетаться с «некоторыми активностями». Представленные на выставке экспонаты являются хорошим материалом для обучения и в рамках «обыденного опыта», и в рамках «специализированного научного опыта». Возникает «непрерывная спираль роста опыта: опыт – проблемы – новый опыт – новые проблемы». Таким образом, экспонаты на выставке создают опыт, инициирующий проблемы, требующие исследования с помощью научного метода. Итак, завершает Т. Ансбачер, создание впечатлений посетителям через их коммуникацию с реальными предметами и феноменами по-прежнему является сильной стороной музеев, и извлечение максимальной образовательной выгоды из этого опыта – постоянная их забота [Ibid. Р. 46–48].

Дж.Э. Хейн специализируется на изучении философии Дж. Дьюи, он подготовил несколько работ, посвященных влиянию идей прагматиста на музейную практику [17, 19, 20 и др.]. Как пишет Хейн, впервые Дьюи показал образовательную роль музея в работе «Школа и общество» («The School and Society», 1900), где тот фигурирует на схемах его «идеальной школы, связанной с жизнью», являясь, как и библиотека, «интеллектуальным центром». Музеи должны быть не только неотъемлемой частью любой образовательной среды, но и сами являться ею – основной лейтмотив философских мыслей Дьюи (цит. по: [17. Р. 415–418, Fig. 1–3]). Музеи должны вырастать из жизненного опыта и использоваться для размышлений о жизни; они не должны просто передавать или навязывать какие-то факты. Дьюи осуждал элитарность, «храмовость», недоступность музеев [Ibid. Р. 420–421]. Хейна впечатляют взгляды философа на особую образовательную роль музеев. Образовательный цикл, предложенный Дж.Э. Хейном и основанный на взглядах Дж. Дьюи, показывает, что задача музеев состоит в создании такого музейного опыта, получив который, посетители, рефлексировав, применяют его в жизненных ситуациях [Ibid. Р. 423–424, Fig. 4]. Исследователь предлагает три цикла получения музейного опыта: «ограниченный», «развернутый», «всеобъемлющий» [19. Р. 191–196, Fig. 1–3]. Первый уровень предполагает «рефлексию и некоторые физические действия» посетителя при взаимодействии с выставкой; именно на этом уровне важно заинтересовать его, привлечь внимание [Ibid. Р. 191]. Второй уровень показывает связь между «багажом»

посетителей (их предыдущим опытом и знаниями) и новой информацией, получаемой на выставке; эта связь устанавливается в том числе за счет «дополнительных ресурсов или объективных условий». Данный уровень призван инициировать новые исследовательские запросы посетителей, помочь им выйти за рамки своего «непосредственного опыта», показать связь между выставкой и окружающим миром [19. Р. 192]. Третий уровень позволяет понять, какое влияние оказало на посетителя его взаимодействие с выставкой, как это отразилось на его дальнейшей жизни, как он применил полученный музейный опыт (знания и переживания). На этом уровне музейные специалисты понимают, эффективна ли выставка, достигнуты ли результаты, есть ли ее долгосрочное воздействие на посетителей [Ibid. Р. 194]. В итоге полный цикл опыта, т.е. все три уровня взаимодействия (музейный опыт, то, что ему предшествует и то, что следует за ним), – это составляющие инструментальной концепции Дьюи применительно к музейному образованию. Отстаивая конструктивистскую модель образования, Хейн поясняет, что «встреча с выставкой» должна побуждать посетителя к действиям, к активному конструированию нового знания в процессе познания [19. Р. 195; 20. Р. 29–32]. Музею необходимо учитывать мнения и слышать «голоса» посетителей в реализации своей политики [20. Р. 182–193].

Д.Ф. Монк задался целью выявить особенности обучения взрослых в музеях через призму философии образования Дж. Дьюи, влияние которой на музеи огромно [21]. Ученый не сомневается в том, что музеи являются уникальными местами для обучения благодаря своей интерактивной и экспериментальной природе и способности изменять видение мира; они отлично подходят для образования взрослых [20. Р. 63]. «Музеи – это институты знания, доступного всем; это альтернативные пространства обучения» [Ibid. Р. 68, 69]. Подробно рассмотрев теоретические основания философии опыта Дьюи и реализованные инструментальные программы музейного образования [Ibid. Р. 64–68], Монк акцентирует внимание «на важном сочетании физического взаимодействия и ментальной деятельности» в ходе обучения взрослых в музее [Ibid. Р. 67]. По мнению ученого, «музеям нужно ориентироваться на взрослое население и их потребности в обучении; музеи должны предлагать такой опыт, который будет интересен взрослой аудитории» [Ibid. Р. 70]. Таким образом, принципы взаимодействия и непрерывности Дьюи находят отражение в музейной практике.

Итак, фигура Джона Дьюи, «последнего публичного интеллектуала Америки» [17. Р. 413], для американской научной мысли значима до сих пор. Философия прагматиста неразрывно связана с его жизнедеятельностью, моральными и социальными взглядами; все свои идеи он применял и проверял в реальных ситуациях, обосновывая использование понятия «опыт», почти синонимичного, по его мнению, понятию «культура» [22. Р. 345–346]. Ставя опыт в центр своей философии, Дьюи делал упор на процесс, преемственность и развитие, а не на статичные, абсолютные понятия. Его философия оказала значительное влияние на государственную систему образования в США. Конструктивисты и новые музеологи с 1980-х гг. стали рассматривать музей как прогрессивную площадку для обучения (или интерпретации) через выставки и образовательные программы. Принципы философии образования Дьюи были применены к музею, который стал местом апробации концепции

«обучение на протяжении всей жизни», институтом непрерывного и неформального образования [23. Р. 1257]. Реализация музеем своей образовательной функции заключалась «в предоставлении всем целевым аудиториям возможности получения знания в доступной для них форме и с учетом их потребностей» [24. С. 216]. Музей в целом оценивался как «образовательное учреждение», а «знание как товар, который предлагает музей» [25. Р. 2]. К концу XX в. сформировавшееся музейное пространство стало экспериментальной площадкой для получения непрерывного образования в современном обществе.

Литература

1. Черникова Ю.А. Непрерывное образование как социокультурный феномен : автореф. дис. ... канд. филос. наук. Волгоград, 2012. 26 с.
2. Смирнова С.Н. Непрерывное образование как фактор сохранения и развития человеческого капитала : автореф. дис. ... канд. экон. М., 2003. 20 с.
3. Manzoor A. Lifelong Learning in a Learning Society: Are Community Learning Centres the Vehicle? // International Development Policy. 2014. № 5. URL : <http://journals.openedition.org/pol-dev/1782> (accessed: 18.04.2019).
4. Ваулина Л.Н. Обучение на протяжении всей жизни в процессе межкультурной коммуникации в профессиональной среде // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2012. Т. 18, № 4. С. 179–183.
5. Воловик И.В. Непрерывное образование в условиях цивилизационных изменений // Гуманитарное образование и наука в техническом вузе / отв. ред. В.А. Баранов. Ижевск : ИЖГТУ, 2017. С. 672–677.
6. Зайцева О.В. Непрерывное образование: основные понятия и определения // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2009. Вып. 7 (85). С. 106–109.
7. Борщева Н.Л., Глухова М.И. Непрерывное образование: различие подходов // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 12. С. 163–165.
8. Гориков М.К., Ключарев Г.А. Непрерывное образование в контексте модернизации. М. : ИС РАН, ФГНУ ЦСИ, 2011. 232 с.
9. Сапанжа О.С. Магистерские программы в области музейного образования в США. Краснодар : ХОРС, 2017. 56 с.
10. Voitovska O., Tolochko S. Lifelong Learning as the Future Human Need // Philosophy and Cosmology. 2019. Vol. 22. P. 144–151.
11. Белоцветова Е.М. Джон Дьюи и философия прагматизма (к 150-летию со дня рождения) // США. Канада: экономика, политика, культура. 2010. № 4. С. 93–106.
12. Дьюи Дж. Демократия и образование / пер. с англ. Ю.И. Турчаниновой, Э.Н. Гусинского, Н.Н. Михайлова. М. : Педагогика-Пресс, 2000. 384 с.
13. Джохадзе И.Д. «Прагматизм как образ жизни»: Хилари Патнэм и Рут Анна Патнэм о философском наследии Джеймса и Дьюи // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2018. № 44. С. 269–277.
14. Юлина Н.С. Философская мысль в США. XX век. М. : Канон+ РООИ «Реабилитация», 2010. 600 с.
15. Вольф М.Н., Косарев А.В. Риторический поворот основателей прагматизма // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 431. С. 47–53.
16. Martin J. The Education of John Dewey. New York : Columbia University Press, 2003. 595 p.
17. Hein G.E. John Dewey and Museum Education // Curator. 2004. Vol. 47, № 4. P. 413–427.
18. Ansbacher T. John Dewey's Experience and Education: Lessons for Museums // Curator. 1998. Vol. 41, № 1. P. 36–49.
19. Hein G.E. John Dewey's "Wholly Original Philosophy" and Its Significance for Museums // Curator. 2006. Vol. 49, № 2. P. 181–203.
20. Hein G.E. Progressive Museum Practice: John Dewey and Democracy. Walnut Creek, CA : Left Coast Press, Inc, 2012. 256 p.
21. Monk D.F. John Dewey and Adult Learning in Museums // Adult Learning. 2013. Vol. 24, № 2. P. 63–71.

22. Westbrooke R.B. John Dewey and American Democracy. Ithaca & London : Cornell University Press, 1993. 592 p.

23. Burcu G. Museum concept from past to present and importance of museums as centers of art education // *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. 2012. № 55. P. 1250–1258.

24. Коренева А.Ю. Музей как институт непрерывного и неформального образования // *Вестник КемГУ*. 2015. Т. 2, № 1 (61). С. 216–220.

25. Hooper-Greenhill E. Museums and the Shaping of Knowledge. London & New York : Routledge. Taylor & Francis Group, 2003. 232 p.

Alina A. Kildyusheva, Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russian Federation).

E-mail: kildyusheva@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 51. pp. 98–106.

DOI: 10.17223/1998863X/51/10

JOHN DEWEY'S EDUCATIONAL PHILOSOPHY: MUSEUM AS AN EXPERIMENTAL PLATFORM

Keywords: John Dewey; instrumentalism; continuous education; experience; museum.

John Dewey (1859–1952), an American philosopher, was recognized as one of the outstanding philosophers and educational theorists in the 20th century, but the influence of his ideas remains substantial in the 21st century. Dewey believed that philosophy should be closely connected with life activity or even flow out of it, which he proved by his own example. In his philosophical works, Dewey sought to achieve a balance of ideas and avoided dualism, believing that the latter would lead to the formation of a hierarchy of values. He insisted on the application of democratic, progressive concepts in all spheres of life (political, economic, social, cultural, educational, etc.). The axial concept of his philosophy was “experience”. The foundation of the educational philosophy, according to Dewey, was the close relationship between current experience in all its diversity and education. It is also important that one should take into account the quality of experience, expressed in two aspects: immediate agreeableness or disagreeableness and influence on subsequent experience. To determine the pedagogical value of experience, Dewey used the principles of continuity, or the experiential continuum, and interaction. Progressive education refers to problem-based experiences. Dewey viewed museums as an integral part of a rich life-experience that promotes education. He believed that people learned in museums, just like they could learn in schools and from books. Moreover, this learning can last as long as a person's life. The pragmatist ideas about education reflect the problems of lifelong learning (adult learning), updated in the second half of the 20th century, while the idea of lifelong learning is not new, its origins are found in ancient philosophy. Based on Dewey's instrumental practice, constructivists described the practice of learning in museums. Ted Ansbacher analyzed museum learning and its effectiveness. George E. Hein focused on the educational role of museums. David F. Monk revealed features of adult learning in museums. By the end of the 20th century, the museum began to be perceived as an experimental platform for receiving continuous and informal education in modern society.

References

1. Chernikova, Yu.A. (2012) *Nepreryvnoe obrazovanie kak sotsiokul'turnyy fenomen* [Lifelong learning as a sociocultural phenomenon]. Abstract of Philosophy Cand. Diss. Volgograd.

2. Smirnova, S.N. (2003) *Nepreryvnoe obrazovanie kak faktor sokhraneniya i razvitiya chelovecheskogo kapitala* [Lifelong learning as a factor in the conservation and development of human capital]. Abstract of Economics Cand. Diss. Moscow.

3. Manzoor, A. (2014) Lifelong Learning in a Learning Society: Are Community Learning Centres the Vehicle? *International Development Policy*. 5. DOI: 10.4000/poldev.1782

4. Vaulina, L.N. (2012) Obuchenie na protyazhenii vsey zhizni v protsesse mezhekul'turnoy kommu-nikatsii v professional'noy srede [Lifelong learning in the process of intercultural communication in a professional environment]. *Vestnik KGU im. N.A. Nekrasova – Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics*. 18(4). pp. 179–183.

5. Volovik, I.V. (2017) *Nepreryvnoe obrazovanie v usloviyakh tsivilizatsionnykh izmeneniy* [Lifelong learning under civilizational changes]. In: Baranov, V.A. (ed.) *Gumanitarnoe obrazovanie i nauka v tekhnicheskoy vuzye* [Liberal Arts and Science in a Technical University]. Izhevsk: Izhevsk State Technical University. pp. 672–677.

6. Zaytseva, O.V. (2009) Nepreryvnoe obrazovanie: osnovnye ponyatiya i opredeleniya [Lifelong learning: basic concepts and definitions]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Tomsk State Pedagogical University Bulletin*. 7(85). pp. 106–109.
7. Borshcheva, N.L. & Glukhova, M.I. (2013) Nepreryvnoe obrazovanie: razlichie podkhodov [Lifelong learning: different of approaches]. *Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii*. 12. pp. 163–165.
8. Gorshkov, M.K. & Klyucharev, G.A. (2011) *Nepreryvnoe obrazovanie v kontekste modernizatsii* [Lifelong learning in the context of modernization]. Moscow: RAS.
9. Sapanzha, O.S. (2017) *Magisterskie programmy v oblasti muzeynogo obrazovaniya v SShA* [Masters Degree in Museum Education in the USA]. Krasnodar: KhORS.
10. Voitovska, O. & Tolochko, S. (2019) Lifelong Learning as the Future Human Need. *Philosophy and Cosmology*. 22. pp. 144–151. DOI: 10.29202/phil-cosm/22/13
11. Belotsvetova, E.M. (2010) Dzhon D'yui i filosofiya pragmatizma (k 150-letiyu so dnya rozhdeniya) [John Dewey and the philosophy of pragmatism (on the 150th anniversary)]. *SShA. Kanada: Ekonomika, politika, kul'tura – USA & Canada: Economics – Politics – Culture*. 4. pp. 93–106.
12. Dewey, D. (2000) *Demokratiya i obrazovanie* [Democracy and Education]. Translated from English by Yu.I. Turchaninova, E.N. Gusinsky, N.N. Mikhaylov. Moscow: Pedagogika-Press.
13. Dzhokhadze, I.D. (2018) Pragmatism as a way of life": Hilary Putnam and Ruth Anna Putnam on the philosophical legacy of James and Dewey. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 44. pp. 269–277. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/44/25
14. Yulina, N.S. (2010) *Filosofskaya mysl' v SShA. XX vek* [Philosophical Thought in the USA. The 20th century]. Moscow: Kanon+ ROOI "Reabilitatsiya".
15. Wolf, M.N. & Kosarev, A.V. (2018) The rhetorical turn of pragmatism's founders. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 431. pp. 47–53. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/431/6
16. Martin, J. (2003) *The Education of John Dewey*. New York: Columbia University Press.
17. Hein, G.E. (2004) John Dewey and Museum Education. *Curator*. 47(4). pp. 413–427. DOI: 10.1111/j.2151-6952.2004.tb00136.x
18. Ansbacher, T. (1998) John Dewey's Experience and Education: Lessons for Museums. *Curator*. 41(1). pp. 36–49. DOI: 10.1111/j.2151-6952.1998.tb00812.x
19. Hein, G.E. (2006) John Dewey's "Wholly Original Philosophy" and Its Significance for Museums. *Curator*. 49(2). pp. 181–203. DOI: 10.1111/j.2151-6952.2006.tb00211.x
20. Hein, G.E. (2012) *Progressive Museum Practice: John Dewey and Democracy*. Walnut Creek, California: Left Coast Press, Inc.
21. Monk, D.F. (2013) John Dewey and Adult Learning in Museums. *Adult Learning*. 24(2). pp. 63–71.
22. Westbrook, R.B. (1993) *John Dewey and American Democracy*. Ithaca & London: Cornell University Press.
23. Burcu, G. (2012) Museum concept from past to present and importance of museums as centers of art education. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. 55. pp. 1250–1258. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.09.622
24. Koreneva, A.Yu. (2015) Museum as a non-formal education and lifelong learning institution. *Vestnik KemGU – Bulletin of Kemerovo State University*. 1-2 (61). pp. 216–220. (In Russian).
25. Hooper-Greenhill, E. (2003) *Museums and the Shaping of Knowledge*. London & New York: Routledge. Taylor & Francis Group.

УДК 165.6 : 1 (091)

DOI: 10.17223/1998863X/51/11

А.А. Меньшикова

ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА П. СТРОСОНА КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИИ «ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КАНТИАНСТВА»

Обоснована преемственность традиции «лингвистического кантианства» в аналитической философии языка. Философия И. Канта рассматривается как основополагающая традиция философии языка. Приводятся аргументы, подтверждающие преемственность кантовской традиции в философии П. Стросона.

Ключевые слова: «лингвистическое кантианство», П. Стросон, дескриптивная метафизика, трансцендентализм посредника, традиция.

Выявление традиции «лингвистического кантианства» признается не всеми исследователями. В большинстве случаев положение о кантианской природе философии языка оспаривается по причине определенной, абсолютизированной интерпретации самого термина, его буквального прочтения.

Цель исследования – обоснование концепции «лингвистического кантианства» как тенденции в аналитической философии языка, а также исторической и эпистемологической преемственности между концепцией И. Канта и философами аналитического направления. Феномен «лингвистического кантианства» исследуется на материале концепции дескриптивной метафизики и концептуальной схемы П. Стросона. Опровергается положение М.А. Смирнова об отсутствии связи между традицией И. Канта и философией языка, неадекватности термина «лингвистическое кантианство». Исследовательские задачи заключались в выявлении оснований кантианства в концепции П. Стросона и философии языка в работах И. Канта, представлении философии британского автора как очередного этапа развития лингвистического кантианства.

Несмотря на категоричную позицию М.А. Смирнова, констатирующего отсутствие исторической и эпистемологической преемственности между традициями кантовской философии и работами представителей аналитической философии языка [1. С. 34], в отношении традиции аналитической философии и кантианства можно обосновать наличие преемственности.

Развивая свою аргументацию, направленную на отрицание связи философии языка с идеями И. Канта, М.А. Смирнов отождествляет понятие «лингвистического кантианства» и концепцию Сепира–Уорфа [Там же]. Понятие «лингвистическое кантианство» рассматривается здесь как обозначение позиции (ограниченно – воззрения), фактически продолжающей развитие концепции Сепира–Уорфа [Там же]. Эти позиции отождествляются. Тем не менее существуют многочисленные свидетельства отличия исследований британских авторов от работ И. Канта, не позволяющие отождествлять и даже сравнивать эти позиции.

Методологические и гносеологические основания работ И. Канта несовместимы с направленностью исследований Э. Сепира и Б. Уорфа, занимав-

шихся исследованиями в области когнитивной лингвистики, которая, с их точки зрения, опирается на лингво-культурологию.

М.А. Смирнов, принимая довод Л.Б. Макеевой, считает, что гипотеза лингвистической относительности, описывающая «множественность упорядочивающих лингвистических структур» [2. С. 3–20], онтологически не соответствует взглядам И. Канта на природу концептуальной схемы. Тем не менее расхождение в представлениях о репрезентации языковых и ментальных структур не исключает наличия сформировавшейся категории. В этом отношении преемственность эпистемологической связи подтверждает наличие самой онтологической категории. Более того, представления И. Канта об априорных формах рассудка предвосхищают онтологию взаимосвязи языка и сознания, представленную в концепции Сепира–Уорфа. Множественность вариантов функционирования языковых структур не опровергает наличия инварианта концептуальной схемы и основополагающей идеи И. Канта о невозможности полностью адекватного постижения реальности по причине специфики работы сознания, согласующейся с положениями концепции Сепира–Уорфа. Это позволяет выдвинуть предположение о том, что положения самой гипотезы лингвистической относительности формировались под влиянием исследований и выводов И. Канта.

В традиции «лингвистического кантианства» формируется тесная связь между философской направленностью И. Канта и П. Стросона [3].

Философия И. Канта получила дальнейшее развитие и характеризуется беспрецедентным влиянием на труды последующих исследователей благодаря неоднократно констатированной противоречивости (ср. исследования П. Гайера [4], П. Стросона [3]), возникающей при попытке восстановить позицию немецкого философа как целостную систему. Возникающие противоречия наводят на мысль об отсутствии связанной системноорганизованной теории, которая могла бы охарактеризовать идеи И. Канта. П. Гайер неоднократно подчеркивал развивающийся характер идей И. Канта [4. С. 167–240].

Попытка подвести традиции в онтологии и эпистемологии под один знаменатель остаются безуспешными. Однако для обоснования наличия преемственности этого не требуется, поскольку категории онтологии и эпистемологии, как и интерпретация понятий, характеризуются исторической изменчивостью. Признание неизменности категорий означало бы отсутствие каких-либо традиций и метафизических систем, в том числе и аналитической, в истории философии в принципе. Обоснование такого подхода характеризовалось бы историческим и онтологическим индетерминизмом. Тем не менее в работах философов-аналитиков имеет место исследование вопроса отношения суждений и реальности, инициатива возникновения которого принадлежит И. Канту. Проблема, исследованная И. Кантом, оказывается по-разному связанной с интересами философов аналитического направления. П. Стросон продолжает решать проблемы, поставленные И. Кантом (что изложено в его работах «Границы смысла» [3], «Индивиды» [5], «Сущность и идентификация» [6]), по сути, совершенствуя онтологию и эпистемологию немецкого философа, предпринимая попытку устранить из нее противоречия.

Развивая теорию трансцендентализма, И. Кант занимается исследованием суждений и речевых высказываний. Становление «лингвистического кантианства» происходит под влиянием переосмысления сущности предложе-

ний. Глубокое проникновение в метафизические основания онтологии позволяет установить фундаментализм категорий, которыми оперирует немецкий философ. Антиномия «вещи в себе» и сознания свидетельствует об отношении языковых сущностей в философии И. Канта к проявлению работы сознания и опосредывающей структуры, препятствующей познанию истинной природы вещей. Другим основанием становления тенденции «лингвистического кантианства» в аналитической философии является направление трансцендентальной логики, которая, по наблюдению В.Н. Брюшинкина [7], сближает эпистемологию И. Канта и П. Стросона. Отдельные аспекты эпистемологии И. Канта просто совпали с исследовательскими системами отдельных философов аналитического направления. Общность сферы исследований сопровождается прямым заимствованием положений и их дальнейшим развитием в философии британского автора.

Трансцендентальная логика по своей природе в большей степени связана с прагматической функцией высказываний, естественной средой функционирования языка. По замечанию Е.Г. Драгиной-Черной, «правила трансцендентальной логики, не обладающие онтологической неколебимостью... наделяются привилегированным эпистемологическим статусом конститутивных принципов концептуальной системы, имеющей интерпретацию в пределах возможного опыта» [8. С. 131]. В своей концепции [5] Стросон сближает логическую и грамматическую формы, направляет кантовскую традицию в область структурализма.

Представление И. Канта о сущности понятий и отражении категорий в сознании неоднократно подвергалось критике как противоречивая позиция. П. Гайер писал о развитии трансцендентальной теории и дефиниции понятий, что «мы должны задаться вопросом не только о том, что он понимал под понятиями „разграничения“ и „соответствия“ в сознании трансцендентального субъекта и почему они представлены определенными ограничениями, но также почему эти ограничения связаны с репрезентацией объекта» [4. С. 48]. П. Стросон указывал на противоречие, возникающее вследствие отсутствия внятного уточнения Канта о понятиях аналитических и синтетических суждений [3. С. 15], считая, что «сами эмпирические суждения в принципе той же природы, что и аналитические суждения» [3. С. 15]. Сложность интерпретации концепции Канта наводит на мысль о том, что его философские изыскания не представляют собой организованной непротиворечивой теории, неизменной в отношении любой темы исследования. И. Кант проводил исследования, находясь в состоянии постоянного поиска, открытого происходящим изменениям. Противоречие кантовской философии устраняется Стросоном при попытке соотнести партикулярии как концепты, отражающие объекты в сознании, между собой.

Аргументы, представленные Смирновым в отношении докантовского периода существования гипотезы лингвистической относительности, не учитывают того, что вопросы отношения, отождествления языка и мышления переживали долгую традицию в логике. Мышление в данном случае понималось как процесс. Кант ввел более точное определение трансцендентального субъекта, также дополняющее прототип гипотезы Сепира–Уорфа. Нельзя рассматривать представление о языке И. Канта как свойственное онтологии языкознания XX в. Язык в период исследований Канта синкретичен по отно-

шению к мышлению. Понятия являются такими же лингвистическими сущностями, как и логическими. Категории логики и грамматики им отождествляются, грамматические формы обозначены «чистыми элементами человеческого познания» [9. С. 83].

Отношения между философией И. Канта и П. Стросона характеризуются диалогическим и диалектическим подходами. Дескриптивная метафизика Стросона заложила основания самостоятельной теории с разработанным понятийным аппаратом. Критический подход Стросона к теории Канта сопровождается попыткой устранить противоречивость, возникающую при определении природы суждений. Нельзя сказать, что Стросон отождествляет язык и мышление. Стросон убежден в том, что условия влияния сознания и формы мысли в эмпирических суждениях при достижении эмпирически полученного знания представлены имплицитно.

Скорее, понятия, представленные в индивидах, выражают реляционные операции, происходящие на границе объектного мира и воспринимающего сознания.

Диалектический принцип отношений исследований Стросона к философии Канта подтверждает возможность эволюционного развития концепции «лингвистического кантианства», выражающую отклонения по отношению к источнику.

Устраняя противоречия концепции Канта, Стросон привносит в понятие концептуальной схемы категориальные понятия, уточняя степень влияния объектов реальности на концептуальную систему языка. Сознание наделяется метафизическими характеристиками.

По представлениям немецкого философа, ядром сознания и мышления является логика [10. С. 268]. П. Стросон приходит к пониманию ядра мышления – концептуальной схемы как логико-лингвистической сущности. В подтверждение сближения представлений немецкого и британского философов приводятся аналогии между логикой и грамматикой языка [Там же], что воспринимается единичной тенденцией, не распространяющейся на эпистемологию в целом.

Исследования П. Стросона демонстрируют синтез эпистемологических систем и онтологии различных наук (психологии, когнитивных наук, языкознания), в ряду которых философский подход является обоснованием лингвистических феноменов. Принцип обоснования является основополагающей модальностью детерминизма в онтологии исследований Стросона. Источник обоснования языковой природы в том числе затрагивает область компетенций психологии, что также указывает на связь с кантианской традицией.

В качестве возможного аргумента в пользу отождествления языка и мышления, к которому оказался близок И. Кант (об этом см.: [1. С. 36]), позволяющего вписывать его философию в традицию лингвистической философии и видеть преемственность между его философией и «лингвистическим кантианством», некоторые исследователи приводят переход И. Канта к рассмотрению категории модальности (см. исследование Л.А. Калининкова: [11]). В целом категория «мышление» в философии И. Канта «невербальна» [1. С. 43]. Понимание взаимосвязи языка и мышления у британского исследователя не ограничивается категорией модальности. Трансцендентальное единство восприятия, представленное в качестве тезиса И. Кантом, отожд-

дествляется с самосознанием. Обращения Канта к пропозиции достаточно для того, чтобы признавать определенное влияние лингвистической философии наряду с трансцендентальным идеализмом (см. работу Ф.М. Березина: [12. С. 41–45]).

Интерпретация онтологии языка И. Канта связана с сочетанием структуралистской и прагматической функций высказываний. П. Стросон предпринимает попытку внести глубинную онтологию.

Стадия развития «лингвистического кантианства», выраженная в концепции П. Стросона, характеризуется обращением к языку, воплощенному в речи [Там же. С. 15]. Продолжена кантовская традиция дистинкции концептов, формирующихся под влиянием чувственного и нечувственного познания, и их идентификация в пространственно-временном континууме. Стросон продолжает развивать концепцию Канта. Функциональное проявление концептуальной схемы дополняется активностью субъекта – способностью к идентификации [Там же. С. 31], связывает идентификацию с базовыми партикуляриями [Там же. С. 38–63], формирующимися под влиянием объектов реальности. Таким образом, Стросон устраняет противоречивость философии И. Канта, которую П. Гайер усмотрел в необходимости наличия объектов для формирования опыта в условиях утвержденного трансцендентализма сознания [4. С. 235]. Предикаты наследуют онтологию логических категорий. Чувствуется влияние онтологии лингвистики XX в., и язык предстает системой, не отождествляемой с мышлением. Стросон вводит типологические детерминанты в отношении феномена сознания [5. С. 64–87]. Кантовская проблема «самоидентификации» объектов решается в плоскости сопоставления с альтернативными субъектами [Там же. С. 94]. Основополагающими концептами Стросон считает персоналии. В отношении природы и функционирования концептуальной схемы он придерживается позиции коллективного сознания, отождествляет категории Канта с грамматическими. Дальнейшее развитие теории обращено к выявлению отношений грамматических категорий и дискурса и приравнивает концептуальную схему к экзистенциалистским категориям. Идентификация времени и пространства представлена в теории Стросона как концептуально-лингвистические категории. Сама идентификация требует наличия предиката, обозначающего связь грамматических структур с реальностью, что приводит к констатации факта возможности познания феноменов реальности только через указанные категории, унаследованные от традиции Канта. Стросон дополнительно формирует позиционный контекст, априорно создающий традицию между собственной концепцией, философией И. Канта и теорией У. Куайна [6. С. 125]. В отношении гипотезы Сепира–Уорфа Стросон установил более тесные связи в когнитивном ключе. Традиция когнитивного языкознания отечественной школы опирается на теорию концептуальной схемы, заложенной П. Стросоном.

В исследованиях двух философов не совпадают методологические тенденции. Существующие споры основываются на выборе приоритета в методологии: следует ли выбирать отдельную тенденцию для подтверждения аргументов или требуется проводить комплексное исследование с учетом существующих системных связей. Главной проблемой для исследования исторического и эпистемологического детерминизма в философии И. Канта и П. Стросона является сложность реконструкции системы в исследованиях

И. Канта. Онтология объекта в аналитической философии языка менялась в пользу интенсификации конвенциональных тенденций и становления связей обусловленности между различными аспектами эпистемологии. Язык выполняет функцию посреднической категории в эпистемологии аналитической философии. Метафизика Стросона возвращает проявление языковой системы в область объекта исследований. Детерминистские отношения языковой системы формируются в зависимости от проявлений реальности.

Не последняя роль в онтологии языка Стросона отведена категории понимания.

Теория Стросона устраняет релятивизм, мотивы которого прослеживаются в философии И. Канта [1. С. 34], продолжая развивать положение Канта о нечувственных формах познания, о которых немецкий философ писал: «...нет никакой необходимости ограничивать способ созерцания в пространстве и времени чувственностью человека» [13. С. 135]. Стросон переводит представление о влиянии опыта на познание в сферу статичных категорий.

Соответствие метафизики П. Стросона «трансцендентализму посредника», характеризующему, по замечанию Смирнова [1. С. 43], эпистемологию аналитической философии языка в целом, вызывает сомнения. От понятия «трансцендентализм посредника» в философии П. Стросона следует отказаться, поскольку языковая система в его онтологии представляет собой антропологическую категорию, связанную с сознанием субъекта. Метафизический поворот Стросона обосновывает онтологическую значимость языковой среды в ее тесной связи с проявлением феноменов реальности.

Смысл термина «лингвистическое кантианство» можно считать условным. Сравнивая исследования И. Канта и П. Стросона, можно прийти к заключению о большем влиянии собственно аналитической традиции, на что указывает обращение Стросона к трансцендентальной логике, ее связи с понятием концептуальной схемы, отождествления субъекта и партикулярий, предиката и универсалий. Преемственность традиции осуществляется в первую очередь под влиянием преемственности логической традиции. Стросон выводит традицию «лингвистического кантианства» на уровень эпистемологии, разрабатывая «аналитический аргумент» [14]. Примером закреплённой традиции «лингвистического кантианства» следует считать сохранение представления о концептуальной природе категорий, тематической преемственности и прямого заимствования тезисов в общем онтологическом контексте, что демонстрирует в своих работах П. Стросон. В философии И. Канта принято выделять три периода [1. С. 38], что отражает нестабильность, возможность разрыва с предшествующей. Исследования британского философа последовательно восстанавливали непротиворечивую концепцию. Понятие концептуальной схемы характеризуется интеграцией психологической теории и структуралистских оснований на базе новой эпистемологии, возникающей в традиции аналитической философии. Представление о концептуальной схеме эпистемологически связано с коммуникативной средой — понятием, не встречающимся в философии И. Канта. Концептуальная схема в философии П. Стросона представляет собой редуцированную модель языка [5. С. 168], «идеальную модель формальной структуры обыденного языка» [15. С. 180], вводя определенные модификации в эпистемологическую традицию И. Канта. Исследование эпистемологии

П. Стросона позволяет установить генетическую преемственность между трансцендентализмом субъекта, характеризующим философию И. Канта, и трансцендентализмом посредника, позиционирующим язык как структурный элемент, определяющий условия познания. Концептуальная схема в эпистемологии П. Стросона является в равной степени логическим и лингвистическим понятием.

Пути развития преемственности осуществляются опосредованно. Философия И. Канта в интерпретации П. Стросона оказывается самостоятельным этапом и онтологией для развития аналитической философии и воспринимается в качестве посредника между идеями Канта и развитием аналитической философии. Традиция кантианства, таким образом, обнаруживает эволюционную изменчивость. Установлено основание соотношения концепции И. Канта с традицией аналитической философии.

Литература

1. Смирнов М.А. Философия Канта и «лингвистическое кантианство» // Кантовский сборник. 2018. Т. 3, № 2. С. 32–45.
2. Макеева Л.Б. Язык и реальность // Логос. 2006. № 6 (57). С. 3–20.
3. Strawson P.S. The Bounds of Sense: An Essay on Kant's "Critique of Pure Reason". London : Routledge, 1995. 196 p.
4. Guyer P. Kant and the claims of knowledge. New York ; Cambridge : Cambridge University Press, 2003. 482 p.
5. Strawson P. Individuals. New York ; London : Routledge, 2006. 255 p.
6. Strawson P. Entity and identity : and other essays. Oxford : Clarendon Press [a. o.], 2005. 285 p.
7. Брюшинкин В.Н. Логика Канта и метафизика Стросона // Кантовский сборник. 2011. № 3. С. 7–17.
8. Драгалина-Черная Е.Г. Консеквенции и дизайн в общей и трансцендентальной логике // Кантовский сборник. 2018. Т. 37, № 1. С. 25–39.
9. Кант И. Прологомены ко всякой будущей метафизике, которая может появиться как наука // Сочинения. М., 1994. Т. 4. С. 5–152.
10. Кант И. Логика // Сочинения. М. : Чоро, 1994. Т. 8. С. 266–398.
11. Калинин Л.А. Модальность как одно из оснований философской системы Канта и ее связь со структурой языка // Кантовский сборник. 2017. Т. 36, № 1. С. 7–18.
12. Березин Ф.М. История лингвистических учений. М. : Высшая школа, 1984. 318 с.
13. Кант И. Критика чистого разума. М. : Наука, 2006. Ч. 1, т. 2. 1081 с.
14. Чалый В.А. Критическая теория И. Канта как «аналитический аргумент» в трактовке П. Стросона // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2017. № 3. С. 133–138.
15. Панченко Т.Н. Питер Стросон в роли аналитического интерпретатора кантовской философии // Вопросы теоретического наследия Иммануила Канта. Калининград : Изд-во Калининград. гос. ун-та, 1980. Вып. 5. С. 91–109.

Anna A. Menshikova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: menanna1366@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 51. pp. 107–115.

DOI: 10.17223/1998863X/51/11

KANTIAN LINGUISTIC TRADITION IN PETER STRAWSON'S PHILOSOPHY OF LANGUAGE

Keywords: Kantian linguistic tradition; Peter Strawson; descriptive metaphysics; transcendental intermediary; tradition.

The article presents a research upon the Kantian linguistic tradition for philosophy of language in Peter Strawson's theory of descriptive metaphysics and conceptual scheme seen as a new stage in the evolution of philosophy of language. The aim of the article is to justify the existence of the Kantian

linguistic tradition as a tendency for analytic philosophy. Mikhail Smirnov's thesis of the non-Kantian linguistic tradition in the philosophy of language is refuted. Smirnov's arguments are under discussion because his perception of the Kantian linguistic tradition and the language philosophy lead to their misinterpretation, for the Kantian philosophy and the theory of Edward Sapir and Benjamin Whorf (taken as the issue of philosophy of language) differ in their basis. Hence, Smirnov's premise is false a priori. Kant's philosophy itself is contradictory and presents no syncretic theory as a system. This leads to various interpretations of Kant's philosophy as different possible trends in analytic philosophy. The central issue of reality and its perception in analytic philosophy derives from the Kantian tradition. The latter is developed by Strawson in his theory of descriptive metaphysics, transcendental logic and conceptual scheme. Strawson transforms Kant's metaphysics, associates logical categories with grammar. Strawson eliminates the ambiguity of Kant's theory and develops his theory of a priori judgments. Empirical judgements in the insight appear implicit. Kant's influence upon Strawson confirms the existence of the Kantian linguistic tradition as a tendency in analytic philosophy. In his paper "The Individuals", Strawson elaborates categories for the structure of his theory's scheme of concepts being the insight essence of both logical and linguistic origin, studies speech and distinguishes particulars from universals that denote various objects of reality and their qualities as well as the subject and the predicate. According to Strawson, time and space are represented as conceptual linguistic categories. Strawson's conceptual scheme was borrowed by cognitive linguistics. Strawson excludes relativism. His descriptive metaphysics justifies the ontological significance of language as it reflects reality. As a stage in philosophy of language, Kant presents the category of modality. The transcendentalism of the Kantian subject transforms into the transcendentalism of the intermediary (language).

References

1. Smirnov, M.A. (2018) Kantian philosophy and 'linguistic Kantianism'. *Kantovskiy sbornik – Kantian Journal*. 3(2). pp. 32–45. (In Russian).
2. Makeeva, L.B. (2006) Yazyk I real'nost' [Language and reality]. *Logos*. 6(57). pp. 3–20.
3. Strawson, P.S. (1995) *The Bounds of Sense: An Essay on Kant's "Critique of Pure Reason"*. London: Routledge.
4. Guyer, P. (2003) *Kant and the Claims of Knowledge*. New York; Cambridge: Cambridge University Press.
5. Strawson, P. (2006) *Individuals*. New York; Leningrad: Routledge.
6. Strawson, P. (2005) *Entity and Identity and Other Essays*. Oxford: Clarendon Press.
7. Bryushinkin, V.N. (2011) Kant's logic and Strawson's metaphysics. *Kantovskiy sbornik – Kantian Journal*. 3. pp. 7–17. (In Russian).
8. Dragalina-Chernaya, E.G. (2018) Consequences and design in general and transcendental logic. *Kantovskiy sbornik – Kantian Journal*. 37(1). pp. 25–39. (In Russian).
9. Kant, I. (1994) *Sochineniya* [Works]. Vol. 4. Moscow: CHORO. pp. 5–152.
10. Kant, I. (1994) *Sochineniya* [Works]. Vol. 8. Moscow: CHORO. pp. 266–398.
11. Kalinnikov, L.A. (2017) Modality as a basis of Kant's philosophical system and its connection to the language structure. *Kantovskiy sbornik – Kantian Journal*. 36(1). pp. 7–18. (In Russian). DOI: 10.5922/0207-6918-2017-1-1
12. Berezin, F.M. (1984) *Istoriya lingvisticheskikh ucheniy* [A History of Linguistic Theories]. Moscow: Vysshaya shkola.
13. Kant, I. (2006) *Kritika chistogo razuma* [Critique of Pure Reason]. Vol. 2. Translated from German. Moscow: Nauka.
14. Chalyy, V.A. (2017) Kriticheskaya teoriya I. Kanta kak "analiticheskii argument" v traktovke P. Strosona [The critical theory of I. Kant as an "analytical argument" interpreted by P. Strawson]. *Gumanitarnye issledovaniya v Vostochnoy Sibiri i na Dal'nem Vostoke – Humanities Research in the Russian Far East*. 3. 2017. pp. 133–138.
15. Panchenko, T.N. (1980) Piter Stroson v roli analiticheskogo interpretatora kantovskoy filosofii [Kant's philosophy in P. Strawson's interpretation]. In: Grinishin, D.M. et al. (eds) *Voprosy teoreticheskogo naslediya Immanuila Kanta*. Kaliningrad: Kaliningrad State University. pp. 91–109.

УДК 160.1

DOI: 10.17223/1998863X/51/12

А.Г. Пушкарский

ОСНОВНОЙ ЗАКОН МЫШЛЕНИЯ: ОТ КАНТА К БУЛЮ

Проводятся параллели между поиском оснований логики и мышления у И. Канта и Дж. Буля и определением ими основных операций мышления. Оказывается, что ход рассуждений Буля удивительным образом напоминает таковой у раннего Канта. Сначала он формулирует основной закон мышления, основанный на некотором варианте закона тождества для классов, а затем выводит из него закон противоречия и элементарные действия мышления.

Ключевые слова: основной закон мышления, принцип тождества, философия математики Канта, алгебра логики Буля.

В некоторых вопросах философское значение историко-логических исследований трудно переоценить. Прежде всего, потому что в основе любой значимой философской системы лежит определенная логика, редко явно выраженная, и ее экспликация помогает разяснить основные положения, раскрыть генезис данной системы и, возможно, избежать откровенно ложных ее интерпретаций.

Основной принцип метафизики

Первой серьезной работой Канта, посвященной собственно проблемам метафизики, можно считать его диссертацию «Новое освещение первых принципов метафизического познания», представленную на философском факультете в Кёнигсбергском университете в сентябре 1755 г. Написанная на латыни¹ и в традиционной для того времени трактатов по метафизике форме, она тем не менее примечательна тем, что в ней Кант выступил с критикой двух фундаментальных принципов господствующей тогда лейбницевольфовской метафизики, а именно принципов противоречия и достаточного основания. Он предложил заменить их на принцип тождества для основания и критерия всех истин и принцип определяющего основания для определения источника истинного знания. Несмотря на то, что аргументация кантовского трактата выдержана в духе критикуемой им метафизики и даже усилена в этом смысле (см.: [1. С. 191]), в проводимом им различении основания истины и действительности, в идее о том, что из логической возможности вещи невозможно вывести ее существование, можно усмотреть источник его последующей критической философии.

Однако наше внимание к данной работе обусловлено тем, что с точки зрения истории логики в ней присутствует ряд любопытных идей и рассуждений. Остановимся только на двух. Во-первых, Кант дает весьма необычную формулировку закона тождества, который он противопоставляет лейбницевскому закону противоречия как основному принципу метафизики: «Суще-

¹ Ее латинское название – «Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio».

ствуют два безусловно первых принципа всех истин: один для утвердительных истин, а именно положение: „все, что есть, есть“; другой для отрицательных истин, а именно положение: „все, что не есть, не есть“. Оба эти положения, взятые вместе, называются принципом тождества» [2. С. 268]¹. Далее он утверждает, что «принцип тождества надлежит предпочесть принципу противоречия как высший по сравнению с ним принцип выведения истины...» [Там же. С. 271], поскольку закон противоречия, по Канту, сводится к заключению о невозможности противоположного, а это дает нам возможность утверждать только то, что «нечто скорее есть, чем не есть», что не исключает тем не менее возможности противоположного этому «нечто», т.е. не необходимой, а случайной связи между субъектом и предикатом. Все это не дает нам требуемой от основного закона логики логической необходимости, и, таким образом, по Канту, закон противоречия должен сводиться к закону тождества, правда, «двойному».

Сформулировав свой принцип тождества как основной закон логической сферы метафизики, Кант обрушивается с довольно язвительной критикой в адрес комбинаторного искусства Г.В. Лейбница. Приведем его комментарий (схолию) целиком, ввиду того что сегодня он выглядит просто вызывающе архаичным: «Вот, правда, небольшой, но не лишенный некоторого значения пример „знаковой комбинаторики“, ибо те простейшие выражения, которыми мы пользуемся при объяснении этих принципов, почти ничем не отличаются от знаков. По этому поводу я открыто выскажу то, что думаю об этом искусстве, которое Лейбниц выдавал за свое изобретение и о котором все сведущие люди сожалеют, что оно сошло в могилу вместе с этим великим мужем. Я признаюсь, что вижу в этом суждении великого философа лишь нечто подобное завещанию того отца у Эзопа, который, лежа на смертном одре, поведал своим детям, что на своем поле он зарыл клад, однако, прежде чем успел указать им точно это место, внезапно скончался. Он побудил этим сыновей к неустанному раскапыванию и разрыхлению почвы, пока они, хотя и обманутые в своих надеждах, не оказались тем не менее бесспорно разбогатевшими благодаря тому, что повысили плодородие почвы. Это, конечно, единственная польза, которую можно ожидать, на мой взгляд, от исследования этой знаменитой системы, если только кто-нибудь еще захочет тратить на это свой труд... Я не стану отрицать, что, после того как безусловно первые принципы уже найдены, можно кое-где применить знаковую комбинаторику, так как в этом случае представляется возможность использовать в качестве знаков и наиболее простые понятия, а следовательно, и простейшие выражения; однако там, где при помощи этих знаков должно быть выражено сложное познание, вся проницательность ума оказывается как бы внезапно повисшей над пропастью и наталкивается на неразрешимые трудности» [Там же. С. 269–270].

Это высказывание Канта удивительно прежде всего тем, что оно оказалось пророческим. Правда, совсем не в том смысле, который он хотел в него вложить. Действительно, если мы обратимся к творчеству Лейбница в деле

¹ Между прочим, А.Г. Кислов полагает, что в этом раннем трактате Канта можно найти идею двухмерной логики, в которой негативные суждения можно рассматривать как онтологически автономные, что, в свою очередь, может дать ключ к понимаю кантовского трихотомического деления суждений по качеству, см.: [3].

построения новой символической логики, то обнаружим поразительную судьбу его логических работ, напоминающую историю из басни Эзопа «Крестьянин и его сыновья». Идея Лейбница о том, что логику следует строить по образцу математики, с одной стороны, и идея о том, что и математику можно свести к логике, с другой стороны, были хорошо известны. Из-за этого, и вполне справедливо, он считается предшественником логицизма, одного из трех направлений в основаниях математики, сформировавшихся в начале XX в. благодаря работам Б. Рассела. А вот сами работы Лейбница в области математической логики никто не видел практически до начала XX в., когда они были опубликованы усилиями французского математика Луи Кутюра только в 1903 г. (см.: [4. С. 659]).

К тому же с современной точки зрения на историю логики такие кантовские «безусловно первые принципы» комбинаторного искусства были найдены спустя почти столетие в работах Де Моргана и Дж. Буля, и заключались они в применении методов символической алгебры. Это стало началом радикального изменения представлений о науке логики и означало не просто применение более удобного способа выражения и более эффективных методов решения логических проблем, а изменение, по существу, самого способа логического мышления.

Интересно, однако, что и сам Кант в «Критике чистого разума» писал о символическом конструировании как об универсальном математическом методе, правда, только по отношению к современным ему арифметике и алгебре. Его представления об алгебраическом методе и символическом конструировании мы рассмотрим ниже.

Основной закон мышления

Логику Кант определяет как науку «о правилах рассудка вообще» [5. С. 155]. Однако следует иметь в виду, что он подразделяет всю логику на логику частного применения рассудка, которая является пропедевтикой наук, поскольку «содержит правила правильного мышления о предметах определенного рода» [Там же], и на логику общего применения рассудка, которая «содержит безусловно необходимые правила мышления, без которых невозможно никакое применение рассудка, и потому исследует его, не обращая внимания на различия между предметами, которыми рассудок может заниматься» [Там же]. Общую логику Кант подразделяет на чистую и прикладную. Прикладная логика «рассматривает правила применения рассудка при субъективных эмпирических условиях, указываемых психологией», и «представляет рассудок и правила его необходимого применения *in concreto*, т.е. при случайных условиях субъекта, которые могут препятствовать или содействовать применению рассудка и даются только эмпирически» [Там же. С. 157]. Общая чистая логика «имеет дело исключительно с априорными принципами и представляет собой *канон рассудка* и разума, однако только в отношении того, что формально в их применении, тогда как содержание может быть каким угодно (эмпирическим или трансцендентальным)» [Там же. С. 156]. В приведенном выше высказывании речь идет именно об *общей чистой логике*, в которой как раз и были собраны и систематизированы самые общие принципы чистого разума, и система этих принципов полна и неизменна. Именно эта логика, будучи каноном рассудка и разума, является

законченной и совершенной наукой разума. Кант называет ее формальной, поскольку имеет дело только с чистыми формами мышления и отвлекается от всякого их содержания. Отметим также, что рассудок Кант понимает не только как отдельную познавательную способность, но и фактически как синоним мышления вообще. Разум не является самостоятельной познавательной способностью, а в некотором смысле «вырастает» из рассудка. Хотя само понятие разума Кант также часто понимает в широком смысле как любую способность мышления вообще. Поэтому совместно рассудок и разум, выделяемые обычно как отдельные познавательные способности, и будут, по Канту, составлять мышление и его познавательные способности. Логика – это и есть наука о мышлении, а общая чистая логика содержит ее основные и необходимые, априорные принципы. Можно ли выделить основной и центральный принцип этой логики? Любое мышление, по Канту, основывается на *законе тождества*. Почему? Потому что никакое мышление о мире не было бы возможно, во-первых, если бы мы не могли воспринимать тождество предметов мышления в процессе восприятия многообразного во времени, и во-вторых, без тождества воспринимающего субъекта [6. С. 351–352]. Таким образом, надо признать, что статус закона тождества не сильно изменился и в критической философии Канта, как и его идея различия логических и реальных оснований познания.

Кант о логике и алгебре

Тем не менее именно общая чистая логика Канта в последующей традиции стала пониматься как собственно логика, ничем не отличающаяся от логики аристотелевской¹; именно она нам сегодня известна под названием «формальная традиционная логика»². И эта формальная логика, понимаемая как наука об основных законах мышления и, соответственно, познания вообще, оказалась не просто тесно связанной с философией, она стала рассматриваться как центральная часть гносеологии. Такое понимание логики заняло господствующие позиции как минимум в немецкой философии, имеющей, однако, часто решающее влияние на развитие всей мировой философии в XIX в. Но на рубеже веков положение изменилось. Революционные изменения в логике, произошедшие в середине XIX в. и связанные с созданием и развитием математической логики, постепенно захватили целые философские направления. Новая логика стала пониматься как мощнейшее средство решения если не всех философских проблем, то по крайней мере наиболее принципиальных. А вот традиционная формальная логика, которая зачастую напрямую связывалась с философией Канта, начала подвергаться разнообразной и зачастую уничижительной критике, самая минимальная из которой состояла в том, что традиционная логика – это просто небольшой фрагмент новой математической логики, а именно исчисление классов, т.е. одноместное исчисление предикатов (см.: [8. С. 68–80]). Кроме того, концепция «старой» логики, понимаемая как наука

¹ О том, что это не так, а «кантовская концепция формальной логики, т.е. чистой логики, принадлежит к традиции, отталкивающейся от знаменитой „Логики Пор-Рояля“, см.: [7. С. 67].

² Аутентичная логика Аристотеля включала в себя, например, учение о модальном силлогизме и как минимум поэтому существенно отличалась от того, что называли аристотелевской логикой в XIX в. и преподавали на всех европейских философских факультетах.

о формах мышления, по мнению родоначальников новых философских направлений, таких как, например, логический позитивизм, оказалась неизлечимо больна психологизмом. Дошло до того, что Бертран Рассел, один из самых известных и значительных философов XX в., предлагал вообще выбросить традиционную логику как устаревшую дисциплину как из науки и философии, так и из преподавания. По его мнению, она непригодна для современной науки, поскольку не удовлетворяет необходимым для нее критериям строгости доказательств. В философии она приводит нас к принятию ложной метафизической картины мира, так как, по его мнению, «логика есть сущность философии»¹ и «логика фундаментальна для философии» [9. С. 146], а философские «школы следует характеризовать, скорее, по их логике, чем по их метафизике» [Там же].

Но, так или иначе, в истории логики укрепилась вполне определенная точка зрения о негативном влиянии традиционной формальной логики, сформировавшейся как раздел гносеологии в виде науки, изучающей формы мышления, в развитии и эволюции логики вообще. Подобное мнение и ныне является преобладающим среди историков логики и математики. Приведем, например, такую, довольно показательную, цитату: «С наступлением эпохи Возрождения судьба этих двух дисциплин изменилась: математика ожила и преуспела, а логика – *именно потому*, что она стала областью философов, а не математиков, – мало повлияла на большие успехи научной мысли шестнадцатого и семнадцатого веков» [10. Р. 39]. Далее автор, Джон Доусон, приводя упомянутое выше высказывание Канта о том, что логика со временен Аристотеля не сделала «ни одного шага вперед», выделяет исключительно одного Лейбница как предшественника современной логики, который не просто выдвинул идею математизации логики и предполагал возможность свести всю математику к логике, но предпринял определенные попытки реализации своих идей. Что касается Канта, то его иногда упрекают ни много ни мало в том, что его концепция логики оказалась препятствием на пути прогресса в становлении новой математической логики: «Если Кант ограничился лишь утверждением о невозможности превзойти аристотелевский логический формализм, то Гегель в своей критике Плукэ попытался высмеять саму идею математизации логики. Позиция двух крупнейших философов того времени (в особенности кантовская) не могла не подорвать доверия части ученых к зарождающейся логико-математической теории. Те мыслители, которые тем не менее имели смелость вновь вернуться к разработке алгебро-логических идей, выступали теперь лишь от собственного имени, предпочитая не ссылаться ни на Ламберта, ни на Плукэ²» [11. С. 272].

¹ Этот знаменитый тезис Рассел впервые выдвинул в 1914 г. в работе «Наше познание внешнего мира», повторив его в работе «Логический атомизм» (1924). Он означает, что использование определенных логических методов и видов философских рассуждений неявно вынуждает принимать определенный тип метафизики; подробнее см.: [12. С. 52].

² Иоганн Генрих Ламберт и Готтфрид Плукэ были в том числе последователями программы Г.В. Лейбница *characteristica universalis*. И действительно, основоположники современной математической логики Август Де Морган и Джордж Буль никак не опирались на их работы. Что, однако, не помешало шотландскому философу сэру Уильяму Гамильтону, который к тому же считал себя правоверным последователем философии Канта, обвинить Де Моргана те только в присвоении его теории квантификации предикатов, но и в плагиате работ Ламберта и Плукэ.

Что же касается Канта, то, как мы заметили выше, он подразделяет всю логику на логику общего применения рассудка и логику частного применения рассудка, которая должна быть пропедевтикой любой науки, в том числе и математики. И для того чтобы понять, какое место должны была бы занимать современная математическая логика в логической концепции Канта, которая сама по себе не одномерна и нетривиальна, следует обратиться к его философии математики. Одним из основных вопросов кантовской философии был вопрос: «Как возможна математика?», т.е. как возможны всеобщие и необходимые математические суждения? И одна из главных идей его философии математики состояла в том, что «математическое знание есть познание посредством *конструирования понятий*» [5. С. 600]. В своем сочинении, известном как «Против Эберхарда», Кант дает самое элементарное разъяснение этого процесса, поэтому приведем этот отрывок полностью: «Для предотвращения неправильного применения выражения „конструирование“ понятий, которому столь много места уделено в „Критике чистого разума“ и тем самым впервые указано различие между методами в математике и философии, может служить следующее. В самом общем значении всякая демонстрация понятия с помощью (самостоятельного) производства корреспондирующего ему созерцания может называться конструированием. Если это происходит с помощью простой силы воображения согласно понятию *arguere*, то оно называется чистым (которое математик должен класть в основу всех своих демонстраций, поэтому он и может на примере окружности, начерченной им на песке, какой бы несовершенной она ни была, столь совершенно доказать свойства окружности вообще, как будто она выгравирована самым лучшим художником). Если же оно будет выполнено на каком-либо материале, то оно будет называться эмпирическим конструированием. Первое может быть названо схематическим, а второе – техническим. Последнее, действительно, так называемое несобственное конструирование (потому что оно относится не к науке, а к искусству и производится с помощью инструментов), является или *геометрическим* (с помощью циркуля и линейки), или *механическим*, для чего необходимы другие инструменты, например для вычерчивания других конических сечений, отличных от окружности» [13. С. 43–44]. Обоснование возможности чистой математики Кант дает в трансцендентальной эстетике «Критики чистого разума». Но в ней речь идет только об арифметике и геометрии, а современная логика появилась в виде алгебры логики, которая понималась ее создателями как исчисление классов или множеств. Об алгебре и алгебраическом методе Кант упоминает только в двух местах «Учения о методе» «Критики чистого разума». Вот один из них: «...действия алгебры с уравнениями, из которых она посредством редукции получает истину вместе с доказательством, представляют собой... конструирование с помощью символов, в котором понятия, в особенности понятия об отношении между величинами, выражены в созерцании знаками, и, таким образом... все выводы гарантированы от ошибок тем, что каждый из них показан наглядно» [5. С. 614]. Было бы заманчиво трактовать «конструирование с помощью символов» с современной точки зрения как идею символической и универсальной алгебры, т.е. как теорию операций над символами, отвлекающуюся от каких-либо значений самих символов.

Тем не менее, если реконструировать математическую логику в виде алгебры логики, как основанную на алгебре множеств¹, в кантовских понятиях ее логической концепции, и предположить вслед за Томасом Зеебомом, что что эти множества нам даны в интуиции и ее понятия есть символические конструкции в интуиции, то следует прийти к следующему выводу: «Если современную логическую теорию или по крайней мере некоторую ее часть можно рассматривать как логику, то это – „логика частного применения рассудка, содержащая правила правильного мышления о предметах определенного рода“, *logica specialis*. Эти предметы представляют собой множества, а теория множеств представляет собой самую основу математической логики и, следовательно, представляет собой *logica specialis* математики» [7. С. 69]. Таким образом, в общей чистой логике² формулируются основные принципы логики, а в математической логике, как *logica specialis*, должны быть сформулированы принципы правильного мышления о математических объектах, таких как комбинации символов в алгебре или множества и операции с ними в теории множеств.

Конечно, никакой математической логики или логической алгебры мы у Канта найти не сможем. И наши современные интерпретации идей Канта о «конструировании понятий» и «символических конструкциях» не могли быть известны британским математикам начала XIX в., в среде которых и зародилась революция в логике. Само слово «математическая логика» выглядело тогда просто нелепым, и господствующее мнение как среди математиков, так и среди логиков состояло в том, что алгебра и логика – это абсолютно разные науки с существенно различными предметными областями. А для философов и логиков идея того, что логику можно рассматривать как формальное изучение объемов понятий как множеств (классов), лишенных содержания, или что ее можно сформулировать посредством математических формул, воспринималась как совершенно бессмысленная.

А вот философия математики Канта оказала на британских математиков, можно сказать, прямое, но весьма своеобразное влияние. В романтический викторианский период зарождения современной науки в Британии математика начинает пониматься как чистая и «божественная» наука, которая использует «язык неба» для поиска единой трансцендентальной истины. Эта истина «божественна», существует в форме небесных символов и законов и доступна только благодаря использованию математики, которая игнорирует все человеческие ограничения. Поэтому математика должна служить Богу, поскольку она есть единственный способ подняться выше наших человеческих эмпирических конструкций. Более того, математическое познание является не пассивным восприятием информации, а инструментом проникновения в

¹ Конечно, споры о том, что такое логика, и о природе логического не утихают до сих пор. Мы же останавливаемся на исторически первой логической теории – алгебре логики, изначальной интерпретацией которой как раз и можно считать алгебру множеств.

² Другое дело, что вопрос о том, как вообще возможна такая логика с современной логической точки зрения, совсем не прост. Ведь если для выражения логических законов и выражений нам потребуется какой-либо символический язык, неизбежно предполагающий определенные онтологические presuppositions, о «чистоте» такой логики в кантовском смысле уже нельзя будет говорить. О подобных трудностях упоминает и Т. Зеебом: «Формальная логика, т.е. теория суждений, используемая как путеводная нить для метафизической дедукции категорий и стоящая также за логической реконструкцией системы идей чистого разума, не может быть сведена к *logica pura*» [Там же. С. 80].

божественные истины, лежащие за пределами досягаемости наших органов чувств. А в качестве поддержки и обоснования подобных идей широко привлекается трансцендентальная философия Канта, получающая при этом не совсем неадекватную интерпретацию¹.

И если Де Морган быстро перешел к септическому отношению к такого рода философскому мировоззрению, близко связанному с теологией, то вот для второго творца современной логики – Джорджа Буля, – по нашему мнению, влияние философских идей Канта было отнюдь не отрицательным. Например, Буль свободно читал труды Канта по-немецки и, видимо, с постоянным интересом до конца жизни. Уже 1840 г. он познакомился с философией Канта и даже сильно увлекся ею (см. [14. Р. 91]). Влияние Канта мы можем, например, увидеть во введении к его революционной работе «Математический анализ логики», вышедшей в 1847 г.: «Если можно трактовать [логику] извне как то, что связывает ее саму через понятие числа с интуицией пространства и времени, то так же законно рассматривать ее изнутри как основанную на фактах иного порядка, тех, которые имеют своим источником структуру нашего сознания» [15. Р. 1]. Он также обсуждал работы Канта в переписке с Августом Де Морганом (хотя часть переписки оказалась утерянной) и не оставил изучение кантовских идей в области логики и в поздний период (см., напр.: [16. Р. 108]), когда работал над своим знаменитыми «Законами мышления», вышедшими в 1854 г. Трудно сказать, насколько прямым и продуктивным было это влияние. Но несомненно то, что Буль полагал, что возможна строгая наука о разуме, которая подчиняется определенным законам [17. Р. 3], и самым подходящим средством для выражения этих законов является язык математически.

Для истории логики определение источников генезиса возникновения современной символической логики является одной из наиболее важных проблем. Разработка алгебры логики Де Морганом вписывается, так сказать, в «стандартную модель» возникновения современной логики, в которой центральную роль играют развитие математики в Британии начала XIX в. и появление в ней оригинальной теории символической алгебры, тогда как концепция символической алгебры зародилась в школе «кембриджских символистов», британских математиков, членов «Аналитического общества», основанного математиком Чарльзом Бэббиджем вместе с математиком и астрономом Джоном Гершелем в 1812 г., и изначально предполагала изучение необычных числовых систем и соответствующих им алгебр, одну из которых Де Морган просто экстраполировал в область логики. А толчком к публичному появлению новой концепции логики, выраженной на языке математики, как раз и послужил упомянутый выше спор *математика* Де Моргана и *философа* Уильямом Гамильтоном, причем последний, обвиняя Де Моргана в плагиате своей теории квантификации предикатов, придерживался, по его мнению, кантовских положений в своей философской концепции логики. Таким образом, хотя, как мы уже заметили, философия математики Канта сыг-

¹ Тогда поэты были философами и немного математиками, а математики – философами и немного поэтами. Так, один из представителей поэтов «озерной школы» Сэмюэл Тэйлор Кольридж был почитателем Канта и хорошим другом выдающегося ирландского математика Уильяма Роуэна Гамильтона, которому он послал свой собственный экземпляр «Критики способности суждения» Канта. Сам же Гамильтон считал себя кантианцем и, например, прямо указывал на Канта, идеи которого подтолкнули его попытаться построить алгебру как «науку о чистом времени».

рала не последнюю роль в формировании понимания математики и ее эволюции в викторианскую эпоху, для Де Моргана математический фактор в его разработках в области математической логики сыграл решающую роль. Но для Буля, хотя он тоже был членом «Аналитического общества» и непосредственным участником исследований по символической алгебре, скорее всего, наиболее существенную, если не центральную, роль в его стремлении к применению новых алгебраических методов в логике сыграли не математические и даже не логические факторы, а философские и теологические (см., напр.: [18]). Прежде всего им двигало желание создать строгую науку о человеческом мышлении, чтобы «изучить основные законы тех операций ума, посредством которых осуществляются рассуждения; в том, чтобы дать выражение этих законов в символическом языке логического исчисления» и «проложить путь к выдвиганию некоторых вероятностных указаний, касающихся природы и структуры человеческого мышления» [17. Р. 1–2]. Подобные высказывания до сих пор дают повод упрекать Буля в психологизме в логике, особенно крамольные в силу наступившего в XX в. почти полного господства антипсихологической концепции в философии логики [16. Р. LIV].

Джордж Буль и его основной закон мышления

На одной логической конференции, прошедшей в Санкт-Петербурге в 2016 г., довольно известный в наше время логик Жан Ив Безье процитировал Пропозицию IV из главы III знаменитых булевских «Законов мышления», которая утверждает буквально следующее:

«Аксиома метафизиков, которая называется принципом противоречия и которая утверждает, что для любой сущности невозможно, что она может обладать определенным свойством и в то же время не обладать им, является следствием фундаментального закона мышления, выражением которого является $x^2 = x$ » [17. Р. 49].

Далее Буль приводит пошаговый вывод этого положения из фундаментального закона мышления, сначала получая $x - x^2 = 0$, а затем получая уравнение $x(1 - x) = 0$, в котором как раз и выражается закон противоречия, отмечая при этом, что «эти трансформации удовлетворяют аксиоматическим законам комбинирования и транспозиции (II.13)» [Ibid.].

Докладчик назвал это положение странным и даже сравнил со знаменитым спором, который произошел в 1770-х гг. в Санкт-Петербурге между Л. Эйлером и Д. Дидро. В этом споре Эйлер привел такой аргумент: «Если $(a + b^n) / n = x$, то, следовательно, Бог существует». Поскольку «алгебра была для Дидро все равно что китайская грамота, он был осмеян и бежал, поджав хвост, назад в Париж». По мнению Безье, «это утверждение странно ввиду двух главных причин. Во-первых, до Буля никто не полагал, что $x^2 = x$ – это фундаментальный закон мышления. Во-вторых, неясно, как мы можем вывести принцип противоречия из этого фундаментального закона» [19. С. 10]. Конечно, с позиции современной математической логики данное утверждение и построения Буля выглядят совершенно искусственными, необоснованными и потому столь странными. Но, как справедливо замечает Безье, «можно рассматривать эту пропозицию как устанавливающую взаимосвязи между двумя разнородными областями исследований – метафизикой, с одной стороны, и математикой – с другой» [Там же. С. 10]. И нас в данном слу-

чае интересуют источники мысли Буля, которые и привели к революции в логике.

Как мы уже отмечали, начиная с середины XIX в. в Британии сформировалась «школа символической алгебры», в рамках которой «были высказаны в первоначальной несовершенной форме фундаментальные идеи, освоение которых составляет эпоху в истории математики, продолжающуюся и по настоящее время» [20. С. 70]. Основателем данной школы стал Джордж Пикок, опубликовавший в 1830 г. «Трактат по алгебре», в котором он разделил всю алгебру на числовую и символическую. По Пикоку, новая символическая алгебра – это «...наука, которая рассматривает комбинации произвольных знаков и символов с помощью определенных, хотя и произвольных законов: ибо мы можем принимать любые законы... до тех пор, пока наши предположения являются независимыми и, следовательно, не противоречат друг другу...» [21. Р. 70]. В данную школу входили и Де Морган и Дж. Буль, а также друг Буля Дункан Ф. Грегори, который, кстати, и ввел Буля в круг продвинутых британских математиков XIX в.

Можно сказать, что с появлением символической алгебры в руках британских математиков оказались практически все элементы для создания логической алгебры, но такая теория для большинства из них просто не была целью, достойной усилий. Пока, исходя совсем не из математических соображений, Де Морган и Буль не обратили по разным причинам свое внимание на современную им философскую логику. Так вот, для Буля такой причиной стала идея создания науки, исследующей законы мышления, структуру сознания и интеллектуальные способности познания. И разработка новой символической логики, основанной на математических методах, была только начальной частью этого проекта.

Свою небольшую работу под названием «Логическое исчисление», опубликованную в 1848 г., он начинает так: «В недавно опубликованной работе¹ я продемонстрировал применение новой и оригинальной формы математики для выражения операций мышления в процессе рассуждения» [22. Р. 183]. Затем Буль приводит 6 положений своей новой системы, которые должны «предоставить правильный взгляд на природу разработанной системы». Приведем некоторые из них:

«(2) Прежде чем мы распознаем существование пропозиций, действуют законы, объектом рассмотрения которых является понятие класса, это законы, которые зависят от строения интеллекта и определяют характер и форму процесса рассуждения...

(3) Эти законы имеют свое математическое выражение и, таким образом, составляют базис интерпретируемого исчисления...

(5) Формы пропозиций, выраженных в соответствии с принципами данного исчисления, по существу, аналогичны таковым для философского языка» [Ibid.].

Далее Буль формулирует 3 закона своей логики, основанные на «первичном и самом элементарном понятии» Универсума (1 или целого (unity)) и элементарной мыслительной операции выбора элементов класса, которые следуют из самой «природы ментальных операций». Третий закон имеет сле-

¹ «Математический анализ логики, являющийся опытом исчисления дедуктивного рассуждения» [15].

дующий вид: $x^n = x$. Буль называет его «индексным законом (index law)», который и «характерен исключительно для элективных символов», т.е. для символов, обозначающих операцию выбора произвольного элемента из определенного класса, репрезентирующего данный класс. Индексный закон Буля, по существу, является интерпретацией индексных законов, впервые появившихся в работах по символической алгебре. Например, Д.Ф. Грегори в своей работе 1840 г. «О природе символической алгебры» пытается выделить наиболее примитивные отношения, которые должны существовать между операциями, поскольку, хотя существуют различные виды операций, разные теории могут содержать операции, удовлетворяющие одним и тем же законам, и поэтому свойства этих операций можно установить в общем случае на основании этих законов [23. Р. 1–13]. Он определяет пять классов таких операций, второй из которых и включает в себя два вида индексных законов¹.

Теперь мы видим, что упомянутый выше фундаментальный закон мышления Буля, который выражается уравнением $x^x = x$, является просто частным случаем индексного закона символической алгебры. Примечательно, однако, что в основании законов логической алгебры Буля лежит общая аксиома: «Эти законы связаны с общей аксиомой. Мы видели, что алгебраические операции, производимые с элективными символами, репрезентируют ментальные процессы. Таким образом, соединение двух символов знаком «+» представляет собой объединение двух классов в один класс, а соединение двух символов $xу$ как умножение представляет собой ментальную операцию выбора из класса $У$ тех членов, которые принадлежат также к другому классу $Х$, и т.д. С помощью таких операторов модифицируется понятие класса. Кроме того, мышление обладает способностью воспринимать отношения равенства классов. Аксиома, которая имеется здесь в виду, состоит в следующем – *если между двумя классами установлено отношение эквивалентности, то оно остается неизменным, когда они оба одинаково модифицируются с помощью описанных выше операций* (А). Именно эта аксиома, а не „dictum Аристотеля“², является реальной основой всех процессов рассуждений...» [22. Р. 185]. Пожалуй, эту аксиому можно трактовать как своеобразный принцип тождества для исчисления классов, на котором строится алгебра логики Буля.

«Логическое исчисление» интересно для нас еще и тем, что это единственная опубликованная работа, где Буль напрямую касается логики Канта. В ней он «исправляет» классификацию основных форм суждений Канта, на которой основана его метафизическая дедукция априорных категорий рассудка. По Канту, основополагающим действием мышления является суждение. Он выделяет 12 основных форм суждений в соответствии с основными логическими функциями мышления. В результате предметного истолкования этих логических функций Кант выводит 12 априорных чистых понятий рассудка – категорий [5. С. 167–168]. В результате трактовки категорических суждений с помощью своей логической системы Буль приходит к следующим выводам: «Отношения, которые логики обозначают терминами „условное“, „дизъюнктивное“ и т.д., Кант рассматривает как отдельные условия

¹ II. Класс операций с индексами, удовлетворяющих законам: (1) $f_m(a) \cdot f_n(a) = f_{m+n}(a)$; (2) $f_m f_n(a) = f_{mn}(a)$; см.: [Ibid. Р. 4].

² Dictum de omni et nullo (лат. – «обо всем или ни о чем») – закон силлогистики Аристотеля.

мышления (различные виды мысли). Однако в высшей степени примечательным фактом является то, что выражение всех этих отношений можно дедуктивно вывести одно из другого путем простого аналитического процесса. Из уравнения $y = vx$, выражающего *условную* пропозицию: „Если пропозиция Y истинна, то пропозиция X истинна“, мы можем вывести уравнение,

$$yx + (1 - y)x + (1 - y)(1 - x) = 1,$$

которое выражает дизъюнктивную пропозицию: „Либо Y и X вместе истинны, или X истинно и Y ложно, либо они оба являются ложными“, и, кроме того уравнение $y(1 - x) = 0$, которое выражает отношение сосуществования, а именно что истина Y и ложность X вместе не сосуществуют. Я полагаю, что утверждение и отрицание как различные ментальные состояния имеют право называться фундаментальными» [22. Р. 198].

Как нам представляется, случайно или нет, ход рассуждений Буля удивительным образом напоминает таковой у раннего Канта. Сначала он формулирует основной закон мышления, основанный на некотором варианте закона тождества для классов, а затем выводит из него закон противоречия. Далее он обращается к одной из важнейших задач критической философии Канта, чтобы выявить элементарные действия мышления и создать условия для построения адекватной теории сознания. В неопубликованных заметках о природе логики Буль пишет, что совершенно неверно определять логику как искусство или науку о рассуждениях, поскольку невозможно хоть как-то определить процесс рассуждения без предварительного анализа процесса мышления, концептуализации и суждения. Кроме того, недостаточно просто признать существование таких процессов и описать их объекты. Необходимо установить их законы. «Как я понимаю, истинное определение логики состоит в том, что логика – это наука о мышлении, мышлении о вещах, получившим свое выражение в языке... Логика – это наука о законах мышления, выраженных в операциях над понятиями суждений и рассуждений» [16. Р. 105].

Литература

1. Жучков В.А. Из истории немецкой философии XVIII в. Предклассический период. От вольфовской школы до раннего Канта. М. : ИФ РИН, 1996. 260 с.
2. Кант И. Новое освещение первых принципов метафизического познания // Сочинения : в 6 т. М. : Мысль, 1963. Т. 1. С. 263–314.
3. Кислов А.Г. Онтологическая автономия ассерции и негации у раннего Канта // Онтология негативности : сб. науч. тр. М. : Канон+ РООИ «Реабилитация», 2015. С. 292–307.
4. Лейбниц Г.В. Сочинения : в 4 т. М. : Мысль, 1984. Т. 3.
5. Кант И. Сочинения : в 6 т. М. : Мысль, 1964. Т. 3: Критика чистого разума. 799 с.
6. Васильев В.В. Философская психология в эпоху Просвещения. М. : Канон+, 2010.
7. Зеебом Т.М. Логика понятий как предпосылка кантовской формальной и трансцендентальной логики // Кантовский сборник. 1993. Вып. 17. С. 67–81.
8. Гильберт Д. Основы теоретической логики. М. : Изд-во иностр. лит., 1947.
9. Рассел Б. Философия логического атомизма. Томск : Водолей, 1999.
10. Dawson J.W. Logical Dilemmas: the life and work of Kurt Gödel. WellesLey, MA : A.K. Peters, 1997.
11. Стяжкин Н.И. Формирование математической логики. М. : Наука, 1967.
12. Кюнг Г. Онтология и логический анализ языка. М. : Дом интеллектуальной книги, 1999.
13. Кант И. Об одном открытии, после которого всякая новая критика чистого разума становится излишней ввиду наличия прежней (против Эберхарда) // Кант И. Трактаты. Рецен-

зии. Письма (впервые изданные в «Кантовском сборнике»). Калининград : Изд-во РГУ им. И. Канта, 2009. С. 38–115.

14. *Cohen D.J.* Equations from God Pure Mathematics and Victorian Faith. Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 2007.

15. *Boole G.* The Mathematical Analysis of Logic, Being an Essay towards a Calculus of Deductive Reasoning. London ; Cambridge, 1847.

16. *Boole G.* Selected manuscripts on logic and its philosophy / [ed. by] Ivor Grattan-Guinness, Gerard Bornet. Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, 1997.

17. *Boole G.* An investigation of the laws of thought, on which are founded the mathematical theories of logic and probabilities. London ; Cambridge : Macmillan, 1854.

18. *Laita L.M.* Boolean algebra and its extra-logical sources: the testimony of Mary Everest Boole // History and Philosophy of Logic. 1980. Vol. 1. С. 37–60.

19. *Béziau J.-Y.* Is the principle of contradiction a consequence of $x^2 = x$? // Современная логика: проблемы теории, истории и применения в науке. СПб., 2016. С. 10–15.

20. *Математика XIX века* / под ред. А.Н. Колмогорова и А.П. Юшкевича. М. : Наука, 1978.

21. *Peacock G.* A Treatise on Algebra. Cambridge : J. & J. J. Deighton, 1830.

22. *Boole G.* The Calculus of Logic // Cambridge and Dublin Mathematical Journal. 1848. Vol. III. P. 183–198.

23. *Gregory D.F.* The Mathematical Writings of Duncan Farquharson / M.A. Gregory, W. Walton, eds. Cambridge : Deighton, Bell, 1865.

Anatoly G. Pushkarsky, Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russian Federation).

E-mail: pushcarskiy@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 51. pp. 115–128.

DOI: 10.17223/1998863X/51/12

THE FUNDAMENTAL LAW OF THOUGHT: FROM KANT TO BOOLE

Keywords: basic law of thought; principle of identity; Kant's philosophy of mathematics; Boole's algebra of logic.

In some matters, the philosophical significance of historical and logical research cannot be overestimated. First, because any significant philosophical system is based on a certain logic, rarely pronounced, and its explication helps to clarify the main points, reveal the genesis of this system and, possibly, avoid its frankly false interpretations. Immanuel Kant's doctoral thesis "A New Elucidation of the First Principles of Metaphysical Cognition (*Principiorum primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio*)", presented at the Faculty of Philosophy at the University of Königsberg in September 1755, can be considered his first serious work devoted to the actual problems of metaphysics. This treatise is remarkable, for, in it, Kant criticized two fundamental principles of the then dominant Leibniz–Wolff metaphysics, namely, the principles of contradiction and sufficient reason. He proposes to replace them with the principle of identity for the basis and criterion of all truths and the principle of the determining basis for finding the source of true knowledge. In his critical philosophy, Kant considers reason and mind as cognitive abilities that constitute rational thinking in general. Logic is the science of thinking, and general pure logic contains its basic and necessary, a priori principles. Any thinking, according to Kant, is based on the law of identity because no thinking about the world would be possible, firstly, if we could not perceive the identity of the objects of thinking in the process of perceiving the diverse in time and, secondly, without the identity of the perceiving subject. Thus, it must be admitted that the status of the law of identity has not changed much in Kant's critical philosophy, just like his idea of distinguishing between logical and real foundations of knowledge. Despite the fact that the origin of the first systems of symbolic logic is not associated with traditional metaphysics, it seems that it is not accidental; the course of George Boole's reasoning about the basic principle of logic surprisingly resembles that of early Kant. First, he formulates the fundamental law of thought, based on some version of the law of identity for classes and then deduces from it the law of contradiction. Then he turns to one of the most important tasks of Kant's critical philosophy to identify the elementary actions of thinking to create conditions for the construction of an adequate theory of consciousness. In his unpublished notes on the nature of logic, Boole writes that it is absolutely wrong to define logic as an art or a science of reasoning, since it is impossible to define the process of reasoning in any way without first analyzing the process of thinking, conceptualizing and judging. In addition, it is not enough just to recognize the existence of such processes and describe their objects. Their laws must be estab-

lished. According to Boole, logic is the science of thought and its laws, expressed in operations on the concepts of judgments and reasoning and in language.

References

1. Zhuchkov, V.A. (1996) *Iz istorii nemetskoj filosofii XVIII v. Predklassicheskiy period. Ot vol'fovskoy shkoly do rannego Kanta* [From the history of German philosophy of the 18th century. Preclassical period. From the Wolf school to early Kant]. Moscow: RAS.
2. Kant, I. (1963) *Sochineniya* [Works]. Vol. 1. Translated from German. Moscow: Mysl'. pp. 263–314.
3. Kislov, A.G. (2015) Ontologicheskaya avtonomiya assertsii i negatsii u rannego Kanta [Ontological autonomy of assertion and negation in the early Kant]. In: *Ontologiya negativnosti* [Ontology of Negativity]. Moscow: Kanon+ ROOI "Reabilitatsiya". pp. 292–307.
4. Leibniz, G.V. (1984) *Sochineniya v 4 t.* [Works in 4 vols]. Vol. 3. Moscow: Mysl'.
5. Kant, I. (1964) *Sochineniya* [Works]. Vol. 1. Translated from German. Moscow: Mysl'. pp. 82.
6. Vasiliev, V.V. (2010) *Filosofskaya psikhologiya v epokhu Prosveshcheniya* [Philosophical Psychology in the Enlightenment]. Moscow: Kanon+.
7. Seebom, T.M. (1993) Logika ponyatiy kak predposylka kantovskoy formal'noy i transtsendental'noy logiki [The logic of concepts as a prerequisite of the Kant formal and transcendental logic]. *Kantovskiy sbornik – Kantian Journal*. 17. pp. 67–81.
8. Hilbert, D. (1947) *Osnovy teoreticheskoy logiki* [Fundamentals of Theoretical Logic]. Moscow: Izd-vo inostrannoy literatury.
9. Russell, B. (1999) *Filosofiya logicheskogo atomizma* [Philosophy of Logical Atomism]. Translated from English by V. Surovtsev. Tomsk: Vodoley.
10. Dawson, J.W. (1997) *Logical Dilemmas: the Life and Work of Kurt Gödel*. Routledge.
11. Styazhkin, N.I. (1967) *Formirovanie matematicheskoy logiki* [The Formation of Mathematical Logic]. Moscow: Nauka.
12. Kung, G. (1999) *Ontologiya i logicheskii analiz yazyka* [Ontology and logical analysis of language]. Translated from German. Moscow: Dom intellektual'noy knigi.
13. Kant, I. (2009) *Traktaty. Retsenzii. Pis'ma (vpervye izdannye v "Kantovskom sbornike")* [Tracts. Reviews. Letters (first published in the Kant Collection)]. Translated from German. Kalinnigrad: Immanuel Kant Russian State University. pp. 38–115.
14. Cohen, D.J. (2007) *Equations from God Pure Mathematics and Victorian Faith*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
15. Boole, G. (1847) *The Mathematical Analysis of Logic, Being an Essay towards a Calculus of Deductive Reasoning*. London: Cambridge.
16. Boole, G. (1997) *Selected manuscripts on logic and its philosophy*. Basel; Boston; Berlin: Birkhauser.
17. Boole, G. (1854) *An Investigation of the Laws of Thought, On Which are Founded The Mathematical Theories of Logic and Probabilities*. London; Cambridge: Macmillan.
18. Laita, L.M. (1980) Boolean algebra and its extra-logical sources: the testimony of Mary Everest Boole. *History and Philosophy of Logic*. 1. pp. 37–60. DOI: 10.1080/01445348008837004
19. Béziau, J.-Y. (2016) Is the principle of contradiction a consequence of $x^2 = x$? In: Fedorov, B.I. & Slinin, Ya.A. (eds) *Sovremennaya logika: problemy teorii, istorii i primeneniya v nauke* [Modern Logic: Problems of Theory, History and Application in Science]. St. Petersburg: St. Petersburg State University. pp. 10–15.
20. Kolmogorov, A.N. & Yushkevich, A.P. (eds) (1978) *Matematika XIX veka* [Mathematics of the 19th century]. Moscow: Nauka.
21. Peacock, G. (1830) *A Treatise on Algebra*. Cambridge, UK: J. & J. J. Deighton.
22. Boole, G. (1848) The Calculus of Logic. *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*. 3. pp. 183–198.
23. Gregory, D.F. & Walton, W. (1865) *The Mathematical Writings of Duncan Farquharson*. Cambridge, UK: Deighton, Bell.

СОЦИОЛОГИЯ

УДК 316.42

DOI: 10.17223/1998863X/51/13

Е.С. Богомягкова, Е.А. Орех

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЗДОРОВЬЯ: ОТ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ К ЕЕ НАПОЛНЕННОСТИ¹

Поднимается вопрос о необходимости дополнения современных трактовок качества жизни представлениями о наполненности жизни, отражающими актуальные социальные изменения. На основе обзора наиболее распространенных сегодня эмпирических индикаторов, фиксирующих состояние медицинских институтов, а также эволюции концепций здоровья, в качестве показателей наполненности жизни предлагается рассматривать характеристики вовлеченности в сети социальных взаимодействий.

Ключевые слова: здоровье, качество жизни, наполненность жизни, концепции здоровья, социальные изменения, социальные сети.

Введение

Благосостояние нации и благополучие отдельного человека декларируются в качестве целей социального развития ведущими международными организациями и отдельными государствами. Для их оценки собираются статистические данные, проводятся мониторинги и обследования, разрабатываются различные критерии и индикаторы. Среди комплексных показателей благополучия индекс качества жизни, вошедший в научный оборот в 1960-х гг., занимает лидирующие позиции. Ученые до сих пор спорят по поводу его понимания и измерения, тем не менее большинство трактовок стремится учесть широкий спектр социальных и экономических показателей, а также использует и объективные, и субъективные оценки [1–3]. Представления о качестве жизни объединяет и то, что многие из них индикаторами благополучия видят состояние здоровья и системы здравоохранения [3–5]. Большинство исследовательских организаций включает показатели здоровья в оценку качества жизни населения. В 2018 г. в ходе опроса ВЦИОМ среди предлагавшихся респондентам составляющих благополучия россияне на первое место поставили здоровье². Для ВОЗ уровень здоровья выступает самостоятельным маркером социального развития.

Применение конкретных индикаторов явно или неявно опирается на теоретические представления об изучаемом социальном феномене. Это справедливо и для показателей здоровья, в основании которых лежат различные ин-

¹ Статья подготовлена в рамках исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, проект № 18-18-00132.

² Более подробную информацию можно получить на сайте ВЦИОМ: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9460>

терпретации «хорошего самочувствия» – концепции здоровья. Обычно учитываются не только физиологические характеристики, но и социальные отношения и практики, необходимые для сохранения и поддержания здоровья. Физическое состояние важно, но оно отражает только один из аспектов благополучия индивида.

Концепции здоровья, служащие опорой современным трактовкам качества жизни, зачастую предстают как непроблематичные и редко поддаются рефлексии, что делает реальное положение вещей ускользающим от взгляда исследователя, политика, управленца. Однако представления о том, что значит быть здоровым и больным, меняются с течением времени. В нашей работе мы ставим вопрос: насколько имеющиеся на сегодняшний день интерпретации здоровья, выраженные в социальных индикаторах и статистических инструментах, отражают реальную картину жизни общества? Выявить концепции здоровья, имплицитно применяемые в современных системах расчета показателей качества жизни, и оценить их достаточность для формулирования выводов о благополучии современного человека входит в задачи данной статьи. Во-первых, мы опишем трактовки здоровья и болезни, лежащие в основании использования самых распространенных на сегодняшний день индикаторов здоровья. Во-вторых, продемонстрируем трансформацию понимания здоровья, вызванную актуальными социальными преобразованиями. В заключение продемонстрируем необходимость корректировки существующих представлений на основе учета новейших тенденций социальных изменений.

Здоровье как показатель качества жизни: теоретические основания и эмпирические индикаторы

Обзор индикаторов здоровья, используемых в некоторых российских системах измерения качества жизни¹, позволяет систематизировать их следующим образом:

- индикаторы, характеризующие население в целом и выраженные в средних оценках; среди них – ожидаемая продолжительность жизни, показатели заболеваемости (в том числе социально опасными и хроническими заболеваниями), смертности, рождаемости;
- индикаторы, фиксирующие уровень развития здравоохранения – например доступность врачебной помощи, расходы государства на медицину;
- индикаторы, отражающие физиологическое самочувствие человека и субъективные оценки удовлетворенности им;
- индикаторы, характеризующие практики взаимодействия индивида с институтом здравоохранения, – частота и регулярность обращений за врачебной помощью, удовлетворенность качеством медицинских услуг;
- индикаторы, регистрирующие индивидуальные способы заботы о здоровье, например распространение практик здорового образа жизни – занятия спортом, соблюдение диеты, отказ от никотина и алкоголя.

Перечисленные показатели можно разделить на две большие группы: 1) направленные на описание общества как целого и дающие представление о состоянии социальных институтов; 2) отражающие самочувствие человека и

¹ В расчет принимались показатели здоровья и состояния здравоохранения, используемые ВЦИОМ, Российским мониторингом экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ, Федеральной службой государственной статистики РФ.

индивидуальные практики заботы о здоровье. Остановимся на каждой группе отдельно и проанализируем концепции здоровья, на которые они опираются.

Стремление «охватить» население в целом, представив его в виде средних величин, а также акцент на зависимости состояния здоровья от эффективности взаимодействия человека с институтами официальной медицины позволяют предположить, что в основании учета данных показателей лежит сформулированная Т. Парсонсом в середине XX в. концепция здоровья. В соответствии с его функциональной и нормативной моделью здоровье понимается как состояние оптимальной возможности индивида эффективно выполнять роли и задачи, для которых он был социализирован [6]. Болезнь не считается ошибкой индивида, т.е. не всегда зависит от его личных усилий по поддержанию здоровья, но в случае заболевания он призывается к активному взаимодействию с институтами здравоохранения. Больной временно «выпадает» из повседневной жизни и обязан лечиться. В концепции Парсонса болезнь рассматривается как временная недееспособность, которую нужно преодолеть, а обладающий моральным обязательством к выздоровлению индивид полностью включен в социальные институты, регулирующие его деятельность, в том числе заботу о здоровье.

В то же время для Т. Парсонса болезни связываются с угрозой общественному равновесию и социальному порядку, а здоровье выступает в качестве не только медицинской, но и социальной нормы. «Быть здоровым» означает быть способным выполнять свои социальные функции, что, в свою очередь, вносит вклад в стабильность и равновесие системы. Отсюда внимание к характеристикам общества как некоторой целостности и сбору индикаторов, оцениваемых с позиции оптимального (нормального) воспроизводства социального порядка и угроз / рисков этому процессу. Концепция американского социолога описывает общество всеобщего благосостояния середины XX в. со значительным средним классом, задающим не только стандарты потребления, но и способы заботы о здоровье, и рассматривает индивида как следующего нормативным предписаниям социальных ролей.

Фокусирование исследователей на индивидуальных практиках сохранения и поддержания хорошего самочувствия опирается на концепцию здоровья, возникшую в последние десятилетия XX в., что обусловлено социальными изменениями этого периода. Во-первых, на смену идеям равновесного, стабильного, «нормального» состояния общества приходят концепции общества риска [7], текучей современности [8], отражающие ощущение растущей неопределенности социального мира и необходимости ориентироваться в этой неопределенности [9]. Во-вторых, значительные успехи медицины в лечении острых и инфекционных заболеваний привели к увеличению продолжительности жизни и старению населения развитых стран, что, в свою очередь, внесло вклад в рост интереса как ученых, так и обывателей к образу жизни как основному способу обеспечения качественной и здоровой жизни. В-третьих, триумф неолиберального проекта в глобальной перспективе вызвал усиление тенденций индивидуализации [8]. На уровне государства и проведения социальной политики неолиберальная логика реализуется в уменьшении финансирования здравоохранения и сокращении государственной поддержки различных категорий нуждающихся. Ответственность за здоровье и благополучие перекладывается на индивида, который призывается к

активным действиям по поддержанию собственного хорошего самочувствия и профилактике заболеваний [10, 11]. В 1986 г. значимость персональной ответственности в достижении и сохранении здоровья зафиксирована в документах ВОЗ [12]. Теперь здоровье декларируется в качестве ключевой жизненной ценности, главного блага, к достижению которого нужно стремиться, приобретает черты достигаемого социального статуса [13]. Отсутствие болезней и хорошее самочувствие оказываются результатом личных усилий человека и все менее связываются с эффективностью социальных институтов. Критически настроенные социологи обозначили это новое понимание здоровья термином «хелсизм» (healthism) [14, 15].

Поскольку здоровье мыслится зависимым от личного выбора и активности человека, то риски развития социального целого теперь связываются с индивидуальными поведенческими рисками, а потому оптимизация поведения и контроль за соблюдением правил заботы о здоровье приобретают первостепенное значение. В качестве главного инструмента обеспечения благополучия провозглашается здоровый образ жизни как совокупность культурно одобряемых социальных практик заботы о себе и своем теле. Достижение и поддержание здоровья вменяется в обязанность современному человеку, который должен стать «активным, ответственным и осмотрительным биологическим гражданином» [16]. Отметим, что индикаторы, соответствующие такому пониманию здоровья, ограничиваются данными о количестве людей, реализующих те или иные практики здорового образа жизни (физическая активность, отказ от вредных привычек, контроль питания) и не включают оценку доступности современной высокотехнологичной медицины, играющей сегодня существенную роль в диагностировании, профилактике и предупреждении заболеваний.

Полагаем, что концепции здоровья, основанные на представлениях об обществе, сформулированных в XX в. (Т. Парсонс, У. Бек, З. Бауман, Э. Гидденс), оказываются нечувствительными к социальным изменениям последних десятилетий. Среди актуальных преобразований, оказавших влияние на практики сохранения и поддержания здоровья, – возникновение альтернативных традиционным социальным институтам сетевых и потоковых структур современного общества. В связи с этим нуждается в дополнении и уточнении понимание того, что означает «быть здоровым».

Актуальные тенденции в здравоохранении и практиках заботы о здоровье

Сегодня наряду с традиционными социальными институтами, долгое время выступавшими основными регуляторами человеческих действий, активно развиваются новые формы социальности – в частности сетевые структуры [17]. Сети представляют собой новую модель структурности, основанную на символических коммуникациях [18]. Их основное отличие от социальных институтов заключается в меньшей нормативности и большей гибкости: взаимодействия участников коммуникаций селективны и требуют доверия. В то же время сети являются устойчивыми во времени структурами нового типа, определяющими поведение человека.

Утрата необходимости однозначно следовать заданным нормативным образцам приводит к многообразию стилей и образов жизни, что снижает

ценность расчета средних величин для характеристики здоровья населения, рассмотренного в целом. Ученые отмечают нарастание статусной и культурной дифференциации и исчезновение среднего слоя, который традиционно рассматривался как социокультурно однородное большинство [19], задающее стандарты потребления и реализующее сходные практики лечения, сохранения и поддержания здоровья. Нерелевантными становятся как функциональная нормативность в духе Т. Парсонса, так и культурная нормативность здорового образа жизни. Люди сопротивляются доминированию единых поведенческих образцов, креативно раздвигая нормы, отстаивая свою субъектность и предлагая альтернативные варианты понимания «нормального». Нередко провозглашение иной трактовки нормы выливается в устойчивую общественную реакцию или приобретает организационные формы. В качестве примеров можно привести движение «бодипозитив» (The Body Positive)¹, а также «право не знать» в ситуации генетического тестирования [20, 21].

Институты официальной медицины утратили монополию на обеспечение благополучия человека в области здоровья. Об этом свидетельствуют и данные о влиянии расходов государства на здравоохранение на общую удовлетворенность здоровьем: увеличение расходов в этой сфере не обязательно обеспечивает повышение уровня удовлетворенности населения [22]. Активное развитие получают альтернативные структуры, среди которых важное место занимают группы взаимопомощи, объединяющие пациентов со сходными заболеваниями. Несмотря на то, что подобные сообщества существовали и ранее, сетевой характер виртуальной реальности позволил им приобрести глобальные и транснациональные формы. Люди с различными недугами получили новые площадки для выражения своих потребностей и интересов. В современном «обществе ремиссии» (термин А. Франка) [23, 24] болезнь более не может восприниматься как временное отклонение от нормы или как провал в практиках здорового образа жизни, а понимается как состояние, которое может сопровождать человека всю жизнь. Признание того, что болезни являются хроническими и неизлечимыми, а медицинская норма оказывается недостижимой, не отменяет факта, что человек может жить наполненной, насыщенной жизнью. Участие в сетевых форматах коммуникации – возможность рассказать свою историю болезни, поделиться опытом выздоровления или жизни с хроническим недугом, спросить совета, а также ощущение принадлежности к группе – сегодня выступает важной составляющей субъективной оценки благополучия человека. Одним из примеров таких сообществ является международная платформа PatientsLikeMe. Любопытно, что в качестве ее миссии декларируется возможность лучшей жизни (better life) и процветания (thriving), которых можно достичь, несмотря на ограничения болезни.

Шеринг (sharing) – возможность поделиться личной информацией с другими людьми – становится важной составляющей практик селф-трекинга (self-tracking), получающих сегодня широкое распространение. Изначальный смысл цифрового самомониторинга заключался в контроле самочувствия путем отслеживания различных физиологических показателей с помощью гаджетов и цифровых устройств. Однако показатели и достижения становятся

¹ О «бодипозитиве» см. сайт движения: <https://www.thebodypositive.org/>

субъективно более важными, когда оцениваются сообществом единомышленников [25, 26]. Крупнейшей шеринговой платформой выступает движение «Исчисляемый я» (Quantified Self), насчитывающее на данный момент более 70 тыс. членов по всему миру. Многие трекеры (например, Endomondo, Strava, Runkeeper), а также социальные медийные платформы позволяют формировать сетевые сообщества, в которых пользователи делятся своими результатами друг с другом. На основе серии глубинных интервью с пользователями цифровых девайсов Р. Кент обнаружила любопытную связь: чем больше люди делятся информацией и обсуждают свои практики с сообществом, чем больше лайков и последователей имеют, тем «здоровее» они себя чувствуют вне зависимости от объективных показателей активности [27].

Некоторым исследователям кажется очевидным, что новые практики заботы о здоровье являются продолжением логики хелсизма [13] и лишь стимулируют человека поддерживать ценности здорового образа жизни. Мы же хотим подчеркнуть, что ощущение благополучия не столько становится результатом личной активности по поддержанию здоровья и взаимодействию с институциями здравоохранения, сколько все больше обусловлено принадлежностью человека к новым сообществам, возможностью делиться своими данными и опытом с другими людьми и получать обратную связь. Кроме того, забота о здоровье перестает сводиться только к целенаправленной деятельности, а часто сочетается с иными практиками – потребительскими, коммуникативными, игровыми, пересекает привычные институциональные границы. Мы видим в них новые источники, обеспечивающие благополучие человека, ощущение им полноценной и насыщенной жизни.

Преобразования затрагивают и институты официальной медицины, оказавшиеся перед лицом социальных изменений. Трендом последних десятилетий является развитие цифрового здравоохранения (d-Health). Речь идет о формировании единого информационного медицинского электронного пространства, доступ к которому должны иметь все участники лечебного процесса. Например, в России действует «Мед@рхив» – облачный сервис для тех, кто желает собрать в одном месте всю свою медицинскую информацию для последующего получения к ней удаленного доступа. Меняются и способы идентификации человека в роли пациента, который оказывается уже не пассивным пользователем, но креативным и независимым участником взаимодействий нового типа. Активно развиваются медицинские транснациональные онлайн-платформы, формирующие новые сети пациентов. Например, коммерческая компания «23 and Me», предлагая услуги по генетическому тестированию на риски наследственных заболеваний, в то же время позволяет пользователям стать участниками глобальных исследований. Таким образом реализуются практики партиципативности. Мы можем предположить, что ощущение благополучия усиливается возможностью участия пациентов в сетевой коммуникации медицинских организаций.

Дискуссия

Мы можем выделить три концепции здоровья (таблица), основанные на различных представлениях о структуре общества. Во-первых, это взгляды на здоровье Т. Парсонса, полученные на основе описания равновесного, стабильного общества середины XX в. с ярко выраженным большинством пред-

ставителей среднего класса, следующих предписаниям социальных ролей. Во-вторых, это концепция хелсизма, получившая распространение на рубеже XX–XXI вв. и рассматривающая современное общество как общество риска, растущей индивидуализации, победы неолиберальных ценностей и возлагающая ответственность за здоровье на самого человека. По нашим оценкам, существующие на сегодняшний день индикаторы здоровья опираются именно на эти две концепции, а следовательно, и на лежащие в их основании образы социальной реальности. При этом социальные изменения последних десятилетий остаются незамеченными с точки зрения концепций здоровья, сформулированных в XX в.

Современные концепции здоровья

Категория	Середина XX в. (Т. Парсонс)	Конец XX в. (хелсизм)	Начало XXI в.
Здоровье	Возможность выполнения социальных функций	Результат индивидуальных личных усилий, достигаемый статус	Возможность жить наполненной жизнью, насыщенный виртуально-телесный опыт
Болезнь	Случайность / провал в исполнении роли больного	Провал в практиках здорового образа жизни	Граница между здоровьем и болезнью размывается
Норма	Медицинская и социальная норма	Культурно заданный образец здорового образа жизни	Множественность норм и образцов, отсутствие единого понимания здоровья
Модель общества	Равновесное, стабильное общество всеобщего благосостояния	Общество риска, растущей неопределенности и индивидуализации, выраженных неолиберальных ценностей	Глобальное, сетевое, потоковое общество
Практики	Выполнение роли пациента, взаимодействие с институтом здравоохранения	Практики здорового образа жизни	Коммуникации в сетях социальных взаимодействий
Показатели благополучия	Заболеваемость, смертность, доступность медицинской помощи и удовлетворенность ею	Распространенность практик здорового образа жизни	Вовлеченность в сети социальных взаимодействий

На наш взгляд, необходима разработка новой концепции здоровья, опирающейся на актуальные представления о социальной реальности. Среди главных результатов изменений отмечаем формирование сетевых структур, альтернативных традиционным социальным институтам и размывающих единую нормативность. Сегодня границы между здоровьем как медицинской и социальной нормой и болезнью как отклонением от нее становятся подвижными. Быть здоровым сегодня – это не оценивать себя по шкале соответствия медицинскому стандарту, а максимально реализовывать имеющийся в каждом случае спектр возможностей «полноценной» и насыщенной жизни, используя ресурсы новых социальных структур. Практики сохранения и поддержания здоровья, описанные в предыдущих концепциях, не исчезают, а дополняются новыми вариантами. Благополучие человека перестает зависеть исключительно от успешности медицинского лечения или быть результатом личных целенаправленных усилий, а может быть связано с возможностями получения виртуально-телесного опыта, обеспечиваемого интегрированностью в социальные сети. Мы говорим о сетевых структурах как о «точках доступа» к новому виртуально-телесному опыту, как о ресурсах, обеспечивающих человеку возможность быть активным, мобильным и креативным в

вопросах сохранения и поддержания хорошего самочувствия, несмотря на физические ограничения.

Обозначенный нами новый тренд в понимании здоровья не фиксируется в представлениях о качестве жизни и (пока) не находит отражения в эмпирических индикаторах. Это дает основание поставить вопрос о формулировании альтернативной концепции – концепции наполненности жизни. В условиях сетевого характера современного общества не качество жизни, а ее наполненность, показывающая, насколько активно, интенсивно, насыщенно, включенно человек живет [28], может рассматриваться как основа современного понимания благополучия. Требуется дальнейшая концептуализация представлений о наполненности жизни и разработка соответствующих эмпирических индикаторов, позволяющих фиксировать ее проявления. Применительно к здоровью трактуемое таким образом благополучие предполагает получение интенсивного виртуально-телесного опыта путем «подключения» к сетям социальных взаимодействий. В качестве показателей наполненности жизни могли бы выступать количество социальных контактов, коммуникативная встроенность в социальные сети и практики обмена данными, наличие значимых групп поддержки. Здесь мы инициируем социологическую дискуссию о назревшей потребности в обновлении концептуального аппарата для понимания и объяснения составляющих «счастливой жизни» в свете трендов социальных изменений.

Заключение

Практики сохранения и поддержания здоровья перестают сводиться к традиционным вариантам – посещению врача и / или следованию здоровому образу жизни. «Реальный» опыт физической активности сочетается с виртуальным контролем и управлением своим здоровьем с помощью цифровых технологий, получением поддержки и обменом данными в социальных сетях. Границы между заботой о здоровье, игрой, коммуникацией в онлайн-сообществах становятся проницаемыми. Не отрицая важности и необходимости учета классических индексов качества жизни, мы начали разговор о возможности их дополнения представлениями о наполненности жизни, отражающими современные взгляды на социальное благополучие. Трансформация медицинских институтов, равно как и практик заботы о хорошем самочувствии, обусловленная тенденциями актуальных социальных изменений, требует разработки не только новой концепции здоровья, но и ее эмпирических индикаторов. В качестве таковых мы предлагаем использовать критерии, отражающие вовлеченность в сети социальных взаимодействий. Можно возразить, что большинство населения развитых стран по-прежнему реализуют традиционные практики заботы о здоровье и пока рано говорить о разработке и внедрении новых показателей социального благополучия. Однако в этом случае исследователи рискуют упустить актуальные социальные различия, новейшие разрывы и неравенства, вовремя не отреагировать на острые вопросы повестки дня.

Литература

1. Costanza R., Fisher B., Ali S., Beer C., Bond L., Boumans R., Gayer D.E. Quality of Life: an Approach Integrating Opportunities, Human Needs, and Subjective Well-being // Ecological Economics. 2007. Vol. 61, № 2–3. P. 267–276.

2. Павлова И.А., Монастырский Е.А., Гуменников И.В., Барышева Г.А. Российский индекс благополучия старшего поколения: методология, методика, апробация // Журнал исследований социальной политики. 2018. Т. 16, № 1. С. 23–36.
3. Чентемирова Н.А. Социологические критерии качества жизни в аспекте социологии здоровья // Вестник Астраханского государственного технического университета. 2007. № 5 (40). С. 97–101.
4. Кислицина О.А. Национальный индекс качества жизни (благополучия) как инструмент мониторинга эффективности социально-экономической политики в России // Журнал исследований социальной политики. 2017. Т. 15, № 4. С. 547–558.
5. Baer H., Singer M., Susser I. Medical Anthropology and the World System. Westport : Praeger, 2003.
6. Парсонс Т. О социальных системах. М. : Академический проект, 2002.
7. Beck U. Risikogesellschaft. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1986.
8. Бауман З. Текучая современность. СПб. : Питер, 2008.
9. Гидденс Э. Ускользящий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М. : Весь Мир, 2004.
10. Crawford R. Health as a Meaningful Social Practice // Health. 2006. Vol. 10, № 4. P. 401–420.
11. Lock M., Nguyen V.-K. An Anthropology of Biomedicine. Oxford : Wiley-Blackwell, 2010.
12. WHO. The Ottawa Charter for Health Promotion. First International Conference on Health Promotion, Ottawa, 21 November 1986. URL: <https://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/> (accessed: 08.07.2019).
13. Гольман Е.А. Новое понимание здоровья в политике и повседневности: истоки, актуальные направления проблематизации // Журнал исследований социальной политики. 2014. Т. 12, № 4. С. 509–522.
14. Crawford R. Healthism and the Medicalization of Everyday Life // International Journal of Health Services. 1980. Vol. 10, № 3. P. 365–388.
15. Skrabanek P. The Death of Humane Medicine and the Rise of Coercive Healthism. Suffolk : Social Affairs Unit, 1994.
16. Governmentality. Current Issues and Future Challenges / U. Bröckling, S. Krasmann, T. Lemke (eds.). New York : Routledge, 2011.
17. Castells M. The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture. Oxford : Wiley-Blackwell, 2010. Vol. I.
18. Иванов Д.В. К теории потовых структур // Социологические исследования. 2012. № 4. С. 8–16.
19. Иванов Д.В. Новые конфигурации неравенства: анклавы глобальности и структуры глэм-капитализма // Телескоп : журнал социологических и маркетинговых исследований. 2015. № 4. С. 24–31.
20. Andorno R. Law, ethics and medicine. The right not to know: an autonomy based approach // Journal of Med. Ethics. 2004. Vol. 30. P. 435–439.
21. Rhodes R. Genetic links, family ties, and social bonds: Rights and responsibilities in the face of genetic knowledge // Journal of Medicine and Philosophy. 1998. Vol. 23, № 1. P. 10–30.
22. Здоровье – 2020: Основы Европейской политики в поддержку действий всего государства и общества в интересах здоровья и благополучия. URL: https://www.ndphs.org/documents/3239/NCD_5_6_3-Info_2_rus_Health_2020_WHO-EURO_short.pdf (дата обращения: 08.07.2019).
23. Frank A.W. Wounded Storyteller: body, illness, and ethics. Chicago : University of Chicago Press, 1997.
24. Лехциер В.Л. Болезнь: опыт, нарратив, надежда : очерк социальных и гуманитарных исследований медицины. Вильнюс : Logvino literatūros namai, 2018. 312 с.
25. Ajana B. Communal Self-Tracking: Data Philanthropy, Solidarity and Privacy // Self-Tracking. Empirical and Philosophical Investigations / B. Ajana (ed.). Cham : Palgrave Macmillan, 2018. P. 125–141.
26. Ним Е.Г. Селф-трекинг как практика квантификации телесности: концептуальные контуры // Антропологический форум. 2018. № 38. С. 172–192.
27. Kent R. Social Media and Self-tracking: Representing the “Health Self” // Self-tracking: Empirical and Philosophical Investigations / B. Ajana (ed.). Cham : Palgrave Macmillan, 2018. P. 61–76.
28. Иванов Д.В. От глобализации к постглобализации: анклавы дополненной современности и перспективы социального развития // Телескоп : журнал социологических и маркетинговых исследований. 2019. № 1. С. 12–18.

Elena S. Bogomyagkova, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation).
E-mail: e.bogomyagkova@spbu.ru, elfrolova@yandex.ru

Ekaterina A. Orekh, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation).
E-mail: e.orekh@spbu.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 51. pp. 129–139.

DOI: 10.17223/1998863X/51/13

THE CURRENT CONCEPTS OF HEALTH: FROM QUALITY OF LIFE TO FULLNESS OF LIFE

Keywords: health; quality of life; fullness of life; concepts of health; social change; social networks.

The article raises the question of the need to supplement modern interpretations of the quality of life with ideas about the fullness of life, reflecting the current social changes to a greater extent. So far, human well-being, articulated as the main goal of social development, is measured by indicators of the quality of life. Among them, health indicators play an important role. They are based on explicit and implicit ideas about what it means to be healthy and sick – the concept of health. Three basic concepts of health were elaborated in the study. The first concept is normative and functional views on health by Talcott Parsons, derived from the description of a balanced, stable society of the mid-20th century with a distinct majority of the middle class, following the requirements of social roles. The second is the concept of healthism, which spread at the turn of the 21st century and considers modern society as a risk society, with the growing individualization and the victory of neo-liberal values. This concept makes individuals be responsible for their own health. The third is a modern understanding of health as an opportunity to live a full life, involving an intense virtual-corporeal experience, which arose in the context of current social changes in the early 21st century. Among these changes, the formation of network and flow structures, alternative to traditional social institutions and leading to the erosion of a single normativity, can be distinguished. A review of the most common health indicators used by Russian research companies in the calculation of the quality of life leads to the conclusion that the transformations in the understanding of health and disease are not taken into account in them, which requires the development of a new understanding of well-being. In the light of current trends, it is not the quality of life, but its fullness, showing how intensely, fully, richly a person can live. In relation to the sphere of health, it is proposed to consider indicators of the fullness of life that reflect the involvement in networks of social interactions. The indicators include, for example, the number of social contacts, communicative inclusion in social networks and sharing, the presence of significant support groups. Further conceptualization of ideas about the fullness of life and the development of appropriate empirical indicators to diagnose its manifestations are important research tasks.

References

1. Costanza, R., Fisher, B., Ali, S., Beer, C., Bond, L., Boumans, R. & Gayer, D.E. (2007) Quality of Life: An Approach Integrating Opportunities, Human Needs, and Subjective Well-being. *Ecological Economics*. 61 (2-3). pp. 267–276. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2006.02.023
2. Pavlova, I.A., Monastyrsky, E.A., Gumennikov, I.V. & Barysheva, G.A. (2018) The Russian Elderly Well-Being Index (REWI): Methodology, Methods, Approbation. *Zhurnal issledovaniy sotsial'noy politiki – The Journal of Social Policy Studies*. 16(1). pp. 23–36. (In Russian). DOI: 10.17323/727-0634-2018-16-1-23-36
3. Chentemirova, N.A. (2007) Sotsiologicheskie kriterii kachestva zhizni v aspekte sotsiologii zdorov'ya [Sociological criteria of quality of life in terms of sociology of health]. *Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta – Vestnik of Astrakhan State Technical University*. 5. pp. 97–101.
4. Kislitsina, O.A. (2017) The National Index for the Quality of Life (Well-Being) as a Tool for Monitoring the Effectiveness of Socio-Economic Policy in Russia. *Zhurnal issledovaniy sotsial'noy politiki – The Journal of Social Policy Studies*. 15(4). pp. 547–558. (In Russian). DOI: 10.17323/727-0634-2017-15-4-547-558
5. Baer, H., Singer, M. & Susser, I. (2003) *Medical Anthropology and the World System*. Westport: Praeger.
6. Parsons, T. (2002) *O sotsial'nykh sistemakh* [The Social System]. Translated from English by V.F. Chesnokov, S.A. Belanovsky. Moscow: Akademicheskiy proekt.
7. Beck, U. (1986) *Risikogesellschaft*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

8. Bauman, Z. (2008) *Tekuchaya sovremennost'* [Liquid Modernity]. Translated from English. St. Petersburg: Piter.
9. Giddens, A. (2004) *Uskol'zayushchiy mir: kak globalizatsiya menyaet nashu zhizn'* [Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives]. Translated from English. Moscow: Ves' Mir.
10. Crawford, R. (2006) Health as a Meaningful Social Practice. *Health*. 10(4). pp. 401–420. DOI: 10.1177/1363459306067310
11. Lock, M. & Nguyen, V.-K. (2010) *An Anthropology of Biomedicine*. Oxford: Wiley-Blackwell.
12. WHO. (1986) *The Ottawa Charter for Health Promotion*. First International Conference on Health Promotion. Ottawa, November 21, 1986. [Online] Available from: <https://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/> (Accessed: 8th July 2019).
13. Golman, E.A. (2014) New Health Consciousness in Policy and Everyday Life: Origins, Main Directions for Problematisation. *Zhurnal issledovaniy sotsial'noy politiki – The Journal of Social Policy Studies*. 12(4). pp. 509–522. (In Russian).
14. Crawford, R. (1980) Healthism and the Medicalization of Everyday Life. *International Journal of Health Services*. 10(3). pp. 365–388. DOI: 10.2190/3H2H-3XJN-3KAY-G9NY
15. Skrabanek, P. (1994) *The Death of Humane Medicine and the Rise of Coercive Healthism*. Suffolk: Social Affairs Unit.
16. Bröckling, U., Krasmann S. & Lemke, T. (eds) (2011) *Governmentality. Current Issues and Future Challenges*. New York: Routledge.
17. Castells, M. (2010) *The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture*. Vol. 1. Oxford: Wiley-Blackwell.
18. Ivanov, D.V. (2012) K teorii potovykh struktur [Towards a theory of flow structures]. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 4. pp. 8–16. (In Russian).
19. Ivanov, D.V. (2015) Novye konfiguratsii neravenstva: anklavy global'nosti i struktury glem-kapitalizma [New configurations of inequality: Enclaves of globality and structures of glam-capitalism]. *Teleskop: zhurnal sotsiologicheskikh i marketingovykh issledovaniy*. 4. pp. 24–31.
20. Andorno, R. (2004) Law, ethics and medicine. The right not to know: an autonomy based approach. *Journal of Medical Ethics*. 30. pp. 435–439.
21. Rhodes, R. (1998) Genetic links, family ties, and social bonds: Rights and responsibilities in the face of genetic knowledge. *Journal of Medicine and Philosophy*. 23(1). pp. 10–30. DOI: 10.1076/jmep.23.1.10.2594
22. WHO. (n.d.) *Zdorov'e – 2020: Osnovy Evropeyskoy politiki v podderzhku deystviy vsegosudarstva i obshchestva v interesakh zdorov'ya i blagopoluchiya* [Health 2020: European Policy Framework for Action by the State and Society for Health and Well-being]. [Online] Available from: https://www.ndphs.org/documents/3239/NCD_5_6_3-Info_2_rus_Health_2020_WHO-EURO_short.pdf (Accessed: 8th July 2019).
23. Frank, A.W. (1997) *Wounded Storyteller: Body, Illness, and Ethics*. Chicago: University of Chicago Press.
24. Lekhtsier, V.L. (2018) *Bolezn': opyt, narrativ, nadezhda. Ocherk sotsial'nykh i gumanitarnykh issledovaniy meditsiny* [Disease: experience, narrative, hope. An essay on social and humanitarian studies of medicine] Vilnius: Logvino literatūros namai.
25. Ajana, B. (2018) Communal Self-Tracking: Data Philanthropy, Solidarity and Privacy. In: Ajana, B. (ed.) *Self-Tracking. Empirical and Philosophical Investigations*. Cham: Palgrave Macmillan. pp. 125–141.
26. Nim, E. (2018) Self-tracking kak praktika kvantifikatsii telesnosti: kontseptual'nye kontury [Self-tracking as a practice of quantifying body: Conceptual outlines]. *Antropologicheskii forum – Forum for Anthropology and Culture*. 38. pp. 172–192.
27. Kent, R. (2018) Social Media and Self-tracking: Representing the “Health Self”. In: Ajana, B. (ed.) *Self-Tracking. Empirical and Philosophical Investigations*. Cham: Palgrave Macmillan. pp. 61–76.
28. Ivanov, D.V. (2019) Ot globalizatsii k postglobalizatsii: anklavy dopolnennoy sovremenno-sti i perspektivy sotsial'nogo razvitiya [From globalization to post-globalization: Enclaves of augmented modernity and prospects of social development]. *Teleskop: zhurnal sotsiologicheskikh i marketingovykh issledovaniy*. 1. pp. 12–18.

УДК 316:323.21

DOI: 10.17223/1998863X/51/14

А.К. Полянина

ГРАНИЦЫ КРЕАТИВНОСТИ: СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЭТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ РЕКЛАМЫ В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

Рассматривается конфликт социального института рекламы и информационной безопасности детей. Социологические аспекты рассматриваемого конфликта связываются автором с трансформацией воздействий медиа в целом и рекламной информации в частности. Отмечается, что нарастающая медиатизация жизненного пространства требует совершенствования механизма социального контроля рекламы, в том числе осуществляемого экспертными советами при антимонопольном органе.

Ключевые слова: реклама, маркизация, медиатизация, информационная безопасность детей.

Перенасыщение окружающего пространства образами и «сообщениями» вне какой бы то ни было связи с запросом на них, уплотнение контента, а вернее, сжатие содержания до клипа «взламывают» социальную систему и качественно ее трансформируют. Погруженность человека в медиа, включая всевозможные проявления рекламы, стало социальным фактом, обладающим принуждающей силой. Растущая визуализация информационного пространства, во многом под влиянием инноваций в области рекламных коммуникаций, вызывает «реакцию на чрезмерную стимуляцию» [1. С. 344], которая приводит к снижению способности отбирать, оценивать и запоминать информацию. «Перенасыщенность визуальной информацией ведет к угнетению восприятия», а также вызывает привыкание и так называемую «медиабулимию». Основным источником визуального загрязнения городской среды выступает наружная реклама. Реклама выходит на первый план среди других медиа по потенциально возможным информационным рискам в отношении здоровья и развития детей. Опасность деградации социальной ситуации развития ребенка на фоне «медиагенной» среды мегаполиса обуславливают необходимость «визуальной экологии» [2], т.е. сознательного регулирования внешней медиасреды, формирования стандартов качества и повышения уровня безопасности городского пространства, прежде всего для детей ввиду их уязвимости на фоне тотальной медиатизации жизни. Дети и подростки в условиях «информационного взрыва» и трансформации социальной ситуации развития испытывают необычайный стресс, в том числе деформацию психических процессов и свойств личности. Способность рекламы оказывать воздействие на социальные различия, сознание и поведение аудитории относит ее к социальному факту, к тому, что, по Э. Дюркгейму, побуждает человека к определенному поведению.

Исследователи сходятся в мысли, что медиа — это среда, а не просто средство передачи информации. В этой среде «производятся, эстетизируются и транслируются культурные коды» [3. С. 17]. Реклама, являя собой медиа,

также обладает свойством проникать в другие медиа и растворяться в медиасреде, так называемой «виативностью» – способностью насквозь пронизывать информационные составляющие окружающей действительности и содействовать «диффузии контента в медиапространстве» [4]. Так, реклама превращает другие медиа, в которые встраивается, в такую же рекламу. Попадая в медийное пространство, реклама заражает его собой и превращает в себя. Контент, зараженный рекламой (кинофильм, книга, теле- или радиопрограмма, текст сетевого СМИ и т.д.) начинает служить ее главной цели – формированию представлений об идеальной модели потребления желаемой социальной группы. Определение рекламы как самоорганизующейся среды означает, что организация происходит по нескольким направлениям в соответствии с инновациями в способах трансляции информации как по форме, так и по содержанию. По форме она может меняться в зависимости от динамики изменения медиа в целом, включая применение новых средств воздействия на органы чувств. По содержанию реклама способна к органичному внедрению в контент, растворению в нем до такой степени, что будет совершенно незаметен коммерческий интерес, стоящий за данным контентом. В этом случае организация системы информационной безопасности детей, построенная на нормах и стандартах принятой культуры, будет целиком зависеть от медиа, которые большей частью состоят из рекламы. Стандарты, по которым строится система информационной (медийной) безопасности детей, таким образом, ставится в зависимость от коммерческих интересов рекламодателей.

Проблема деструктивного влияния рекламы широко исследуется в различных научных областях, включая психологию, философию, социологию. Конструирование ценностных ориентаций, влияние на статусную дифференциацию общества, навязывание предложений участвовать в демонстрации «публичных доказательств собственной платежеспособности» [5. С. 13] и маркировка своего социального статуса делают рекламу инструментом мифологизации реальности. Тактической задачей рекламы при этом выступает постоянное поддержание ситуации соблазна любыми подходящими для этого средствами. «Незаметное внушение» рекламы осуществляется с целью управление социумом через потребление [6]. В силу «аллегоричности своих образов и слов реклама способна лучше всех сказать нам, что же именно мы потребляем через вещи» [7. С. 221]. Потребитель становится объектом контроля, а для того, чтобы это прекратить, необходима организация эффективного социального контроля над самой рекламой.

Социологический подход к изучению рекламы концентрируется вокруг управленческого компонента рекламного воздействия и требует применения методологического аппарата социологии управления.

Характер влияния рекламы на детей связан с особенностями их психики, находящейся в процессе становления, и вытекающими отсюда высокой сензитивностью личности, готовностью к сохранению впечатлений, способностью к яркой эмоциональной реакции, не критичностью, тенденцией к подражанию, неразвитостью способности к дифференциации реальности и иллюзии. Создание условий безопасности социальной ситуации развития является целью обеспечения информационной безопасности. Революционное развитие информационного пространства современных детей происходит со

скоростью, не позволяющей ребенку полноценно адаптироваться к восприятию информации в ущерб анализу и фильтрации негативного контента, и приводит к «информационному насилию», или принуждению к потреблению информации, в том числе к принуждению к потреблению рекламной информации в «местах, доступных для детей» (общественных местах и службах сервиса: магазинах, ресторанах, кафе и т.п.).

Реклама рассматривается и в качестве коммуникативного процесса с передачей информации неопределенному множеству адресатов. Развитие медиакоммуникаций влечет разработку более незаметных (точечных) методов воздействия, что, в свою очередь, требует усиления контроля за соблюдением условий информационной безопасности человека и выработки новых методов социального контроля. Недостаточность социального контроля над распространением и качеством рекламной информации означает, что общество позволяет рекламе кодировать культуру в интересах, которые противопоставлены культуре как таковой и не совпадают с задачами культуры. «Медиаатизация жизни» означает «маркетизацию» жизненного пространства человека.

В некоторой степени социальный контроль над рекламой осуществляется и в виде саморегулирования, например Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР), которая создана для защиты общих интересов своих членов, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере рекламы. Учитывая, что главной заботой АКАР и подобных ей организаций является обеспечение экономических интересов своих членов и, условно говоря, защита их от контролирующего воздействия со стороны общества, снижающего экономический эффект от рекламы, нетрудно предположить, что такие организации меньше всего заинтересованы в усилении социального контроля над рекламой в целях защиты детей, который подразумевает снижение манипулятивного и другого патологического воздействия рекламы и, соответственно, уменьшение спроса на рекламируемый объект.

Большинство патологических элементов рекламного сообщения может быть выявлено правоприменителем без дополнительных исследований, в отличие от оценки этической составляющей рекламного контента. Анализ рекламы на предмет ее этической корректности, с точки зрения специалистов в области психологии рекламы, должен начинаться «с анализа непосредственной аффективной реакции на рекламное сообщение» [8. С. 63] в виде негативных или амбивалентных (двойственных, зачастую противоречивых) эмоций, которые она вызывает у потребителя. Исключительное значение для детского возраста эмоциональной сферы усугубляет влияние этого фактора. С позиций психотехнического подхода негативная эмоциональная реакция на рекламу «возникает в случае интуитивно ощущаемой угрозы витальным установкам, образу Я, внутренне непротиворечивой системе ценностей», а амбивалентные эмоции связываются с «начинающейся личностной диссоциацией, когнитивным диссонансом, перестройкой ценностей». Можно предположить, что негативное эмоциональное состояние от рекламы чаще испытывают взрослые в связи с устоявшимся характером ценностной системы, а амбивалентность и противоречивость эмоций чаще испытывают от восприятия рекламы дети, поскольку их ценностные ориентации и установки находятся на стадии формирования.

Известно, что аффективная эмоциональная реакция может быть результатом использования методов привлечения внимания к рекламируемому объекту. Среди средств привлечения внимания рекламистами часто используются так называемые «стоперы», т.е. такие приемы, которые направлены на шокирование аудитории, чрезвычайные раздражители. Для этой цели используются образы и выражения, демонстративно нарушающие общественную мораль и табуированную тематику или приближенные к тому. Акцент на сексуальной тематике применяется для этого чаще других. Законодательство о защите детей от информации среди критериев вредности информационной продукции называет «эксплуатацию интереса к сексу». Исследователи отмечают, что «использование сексуальных мотивов в рекламе реализуется, как правило, по трем направлениям: как „стоппер“ для привлечения внимания; как презентация товара в виде блага, повышающего сексуальную привлекательность своего владельца; как товар, ассоциирующийся с ситуацией сексуального обладания партнером, провоцируя соответствующие эмоции» [9. С. 37].

Сложности отнесения рекламы к нарушающей общественную мораль связаны с особой социальной функцией этических ценностей и невозможностью четкого правового формулирования этических норм. Это обуславливает необходимость выявления общественного мнения или экспертной оценки. Действительно, отношение к одной и той же информации разных людей может отличаться в зависимости от личностных характеристик субъекта, при этом очевидно, что восприятие детьми рекламы, сомнительной с точки зрения пристойности, предполагает настолько высокую степень риска, что не должно ставиться в зависимость от «личностных характеристик воспринимающего» [10]. Реклама, которая в текстовой, образной или звуковой форме содержит «сообщение», нарушающее нормы общественной морали в виде употребления бранных слов, непристойных образов, оскорбительных образов, непристойных и оскорбительных сравнений, непристойных и оскорбительных выражений, является ненадлежащей, а ее распространение влечет юридическую ответственность в соответствии с рекламным законодательством. При этом законодательство о защите детей от информации, содержащее более детализированные формулировки критериев вредной информации, исключает рекламу из сферы своего регулирования. Так, положения ФЗ «О рекламе», в отличие от ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей», не содержит каких либо ограничений, связанных с изображением или описанием половых отношений между мужчиной и женщиной, бранными словами и выражениями, не относящимися к нецензурной брани. Представляется вполне справедливым мнение, согласно которому выведение «рекламы из сфер, подлежащих контролю и ограничению в соответствии с новым законом, скорее всего, кроется в миллиардных бюджетах рекламных компаний, которые, очевидно, не пожалели средств на сохранение существующего положения вещей» [11]. Выпадение рекламной информации из поля социального контроля за информационным пространством противоречит целям информационной безопасности детства в условиях «информационного бума» и тотальной «медиатизации жизни». Существующая в оценке регулирующего воздействия ФЗ «О защите детей от информа-

ции...» «недосказанность» действительно может наталкивать на мысль о лоббировании интересов бизнес-сообщества рекламистов.

Механизм определения рекламы, содержащей непристойные образы сравнения и выражений, является составной частью механизма обеспечения информационной безопасности детей, а исследование опыта рассмотрения антимонопольным органом рекламы на предмет этичности выступает важной составляющей разработки эффективной системы информационной безопасности детей.

Социальный контроль рекламы осуществляется как в форме реализации своих полномочий Федеральной антимонопольной службой и ее территориальными управлениями, так и в форме общественного контроля посредством экспертных советов по рекламе при региональных УФАС (управлениях федеральной антимонопольной службы). В задачи экспертных советов в числе прочих входят экспертиза и оценка содержания рекламы, включая оценку воздействия рекламы на потребителей рекламной информации.

В рамках данного исследования проведен анализ количественных показателей деятельности экспертных советов при всех 84 территориальных управлениях ФАС с 2013 по 2018 г. Результат исследования позволяет оценить долю общественного контроля в регулировании оборота рекламной продукции в регионе и возможности участия общественности в контроле за распространением информации, потенциально опасной для детей. Важным показателем при этом выступает количество протоколов, размещенных на официальных сайтах УФАС, и состав экспертных советов, особенно наличие в составе советов специалистов, способных на профессиональном уровне оценить наличие в рекламных образцах патогенных для здоровья и развития детей факторов, т.е. специалистов в области педагогики, психологии, возрастной физиологии, детской психиатрии, по аналогии с требованиями к экспертам, установленным законодательством о защите детей от информации (таблица).

Анализ данных о работе экспертных советов по состоянию на 10.07.2018 г.

Федеральные округа	Отсутствуют протоколы засе- даний эксперт- ных советов на сайтах УФАС		Количество УФАС, сайты которых содержат протоколы заседаний экспертных советов						Экспертные советы, вклю- чающие специ- алистов	
			от 0 до 10		от 10 до 30		от 30 и выше			
	Количество советов	Доля в об- щем количе- стве УФАС по России, %	Количество	Доля в об- щем количе- стве по ре- гиону, %	Количество	Доля в об- щем количе- стве по ре- гиону, %	Количество	Доля в об- щем количе- стве по ре- гиону, %	Количество	Доля в об- щем количе- стве по ре- гиону, %
Центральный	2	11	13	72	3	16			6	33
Северо-западный	2	18	8	72	1	9			2	18
Южный	3	50	3	50					1	16
Уральский	2	33	2	33	2	33			2	33
Северо-Кавказский	6	86	1	14						
Приволжский	4	29	3	1	5	6	2	4	5	36
Дальневосточный	2	23	4	4	3	3			4	44
Сибирский	2	17	5	42	4	33	1	8	6	50
Крым			1	100					1	100
В целом по РФ	23	27	40	48	18	21	3	4	27	32

Наличие на официальных сайтах региональных УФАС информации о работе экспертных советов говорит об открытости ведомства как о факторе эффективности социального контроля, равно как и количество проведенных заседаний советов, о которых свидетельствует количество протоколов. Участие в составе советов специалистов, способных оценить патологическое воздействие рекламной информации на детей, определяет качество экспертных оценок. Результат исследования показал, что только 32% действующих экспертных советов в России включают в свой состав таких специалистов. Экспертные советы при территориальных подразделениях антимонопольного органа в Сибирском федеральном округе отличаются на фоне других округов достаточно квалифицированным составом. Количество протоколов, имеющих на сайтах УФАС, также позволяет судить об интенсивности и роли общественного контроля в принятии решений о надлежащем качестве рекламной продукции. Так, 66% всех территориальных управлений регулятора разместили на официальных лишь до 10 протоколов, и только 4% – до 30 протоколов (Приволжский и Сибирский федеральные округа). Это говорит о крайне малом внимании к статусу общественного участия в принятии решений об этическом аспекте рекламной информации, чаще всего требующем выявления коллективного экспертного мнения. Настораживает также тот факт, что на официальных сайтах Чеченского УФАС Северо-Кавказского федерального округа, равно как и на сайте Чукотского УФАС Дальневосточного федерального округа вовсе нет информации о каких-либо действующих общественных советах. Это может свидетельствовать об отсутствии самих советов либо о крайне незначительной доле общественного контроля над рекламой в регионах. Кроме того, в целом сайты УФАС Северо-Кавказского и Южного федеральных округов выделяются на фоне других недостаточностью информации о работе общественных советов.

Механизм социального контроля рекламы, предполагающий коллегиальное мнение специалистов в форме заседаний экспертных советов при территориальных подразделениях государственного регулятора в области рекламы, очевидно, требует совершенствования, в том числе в целях обеспечения безопасного информационного пространства детства. Доводы, апеллирующие к экономической свободе участников рынка или социальной ответственности самих потребителей, которые должны игнорировать рыночные предложения недобросовестных с точки зрения маркетинговой политики предпринимателей, не пользоваться услугами и не приобретать товары, в рекламе которых используются непристойные образы и выражения, не имеют оснований с позиции приоритетов социальной политики государства, ценности безопасности, здоровья и развития детей – «вынужденных потребителей» рекламы. Вне зависимости от поведения потребителей, которое зачастую программируется на стадии разработки товара, рекламная информация, обладающая публичным характером и вызывающая сомнения в соответствии с общественными представлениями о пристойности, должна подлежать квалифицированной оценке. Воспитание общественного сознания (подобно антикоррупционному) и отношения к непристойной рекламе требует длительного времени и широкого общественного обсуждения. Негативное же воздействие непристойной рекламы следует пресекать незамедлительно. Следовательно, общественный контроль в форме экспертных советов предполагает открытость и обще-

ственную огласку при помощи всех коммуникативных информационных технологий, в том числе информирования на официальных сайтах, страницах в социальных сетях и других СМИ.

В связи с этим интересна также аргументация субъектов рекламного бизнеса, чья продукция привлекла внимание антимонопольного органа по причине наличия элементов, противоречащих общественной морали. Создание неоднозначной с этических позиций рекламы объясняется ими следующим: стремление решить социальные проблемы (например, «проблему безопасности интимных отношений в молодежной среде»), необходимость общаться с молодежью на ее языке («языке целевой группы»); стремление популяризировать «эротiku как культуру, как таинство, дающее жизнь» и преодолеть «недостаточный уровень сексуальной культуры и образованности»; создание рекламы есть творческий акт, в котором проявляется свобода творчества [12]. «Городскими сумасшедшими» рекламисты называют неравнодушных горожан, обращающихся в ФАС с жалобами на непристойную рекламу, недоумевая, «как от них защититься» (УФАС по Новгородской области). Налицо противоречивость экономических интересов хозяйствующих субъектов и интересов общества в сохранении состояния защищенности детей от явлений, деформирующих информационный компонент социальной ситуации развития.

Итак, уязвимость детства перед рекламой, очевидность конфликта «законов рынка», присущих рекламе как бизнес-сфере, и фундаментальной потребности общества в обеспечении здоровья и развития детей требуют модернизации статусного положения рекламной аудитории. Социальный статус потребителя рекламы как из целевой, так и из нецелевой аудитории из пассивного субъекта управленческого воздействия должен быть преобразован в активный субъект посредством участия в общественном обсуждении или экспертном совете (даже в качестве наблюдателя). Изменения отношений между актором рекламного воздействия как управляющим субъектом и аудиторией публичной коммуникации как коллективным управляемым субъектом можно назвать системными. Несовпадение целевой и нецелевой аудиторий рекламы, прежде всего детей в случае с примерами непристойной рекламы, содействует возникновению социального конфликта [9] и вызывает потенциальную угрозу социальному порядку, ценностям, т.е. угрозу возникновения социальной аномии. Социальный контроль над рекламой, включая неоднозначные с точки зрения пристойности проявления «креативного» маркетинга, является способом противодействия социальной аномии, «маркетингизации» жизненного пространства человека, кодированию культуры в целом.

Литература

1. Тоффлер Э. Шок будущего : пер. с англ. М. : АСТ, 2002.
2. Колесникова Д.А., Савчук В.В. Визуальная экология как дисциплина // Вопросы философии. 2015. № 10. С. 41–50.
3. Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М., 2006. С. 17.
4. Жилавская И.В. Теория всеобщих медиа: опыт обоснования // Медиа. Информация. Коммуникация : международный электронный научно-образовательный журнал. URL: <http://mic.org.ru/new/676-teoriya-vseobshchikh-media-opyt-obosnovaniya> (дата обращения: 15.08.2018).
5. Уралева Е.Е. Реклама как социальный институт // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2012. № 28. С. 588–593.

6. Бодрийяр Ж. Общество потребления. М. : Культурная революция, 2006. 269 с.
7. Бодрийяр Ж. Система вещей. М. : Рудомино, 1999.
8. Пронина Е.Е. Психологическая экспертиза рекламы: теория и методика психотехнического анализа рекламы. М. : РИП-холдинг, 2003.
9. Савельева О.О. Социология рекламного воздействия. М. : РИП-холдинг, 2006.
10. О порядке применения части 6 статьи 5 ФЗ «О рекламе» : письмо ФАС России № АД/17355/13 от 29.04.2013 г.
11. Жилавская И.В. Проблемы информационной безопасности детей через призму нового закона // Сайт Научно-издательского центра «Социосфера». 2011. С. 64–70. URL: <http://socio-sphera.com/files/conference/2011/k-1-1-11.pdf> (дата обращения: 25.08.2018).
12. Лапина А.В. «Казанове» назвали причиной решения УФАС «недостаточный уровень сексуальной культуры». URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3428310> (дата обращения: 16.07.2019).

Alla K. Polyamina, Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod, Russian Federation).

E-mail: Alker@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 51. pp. 140–148.

DOI: 10.17223/1998863X/51/14

LIMITATIONS OF CREATIVITY: SOCIAL CONTROL OVER ADVERTISING IN THE CONTEXT OF CHILDREN'S INFORMATION SECURITY

Keywords: advertising; marketing; media; information security of children.

The article deals with the conflict between the social institution of advertising and the information security of children. The sociological aspects of the conflict under consideration are associated with the transformation of media influences in general and advertising information in particular, with children's vulnerability to advertising influences that force them to consume. Children, according to the author, act as a non-target audience of such advertising, which most often does not correspond to public ideas about decency, but, with the public nature of the distribution of advertising, children are its forced consumers. It is also noted that the growing mediatization of the living space requires the improvement of the mechanism of social control over advertising, including expert councils under the antimonopoly authority. An attempt is made to analyze the existing state of public control over advertising, which primarily requires additional qualification due to its ambiguity in terms of public morality. For this purpose, the research of quantitative indicators of expert councils' activities in all 84 territorial administrations of the Federal Antimonopoly Service of Russia is carried out. The research was based on information materials posted on the official websites of Russia's Federal Antimonopoly Service. The composition of the expert councils was evaluated as an indicator of the effectiveness and quality of decisions they make. Also, when considering the existing mechanism of social control over advertising, the provisions of normative acts regulating the information sphere to protect children from harmful information and advertising turnover were compared. The insufficiency of social control carried out by expert councils as bodies of public control is stated. The insufficiency is expressed in the inadequacy of the composition of the councils, extremely rare meetings, inattention to informing the public about the activities of the Federal Antimonopoly Service and expert councils on advertising, the closed nature of the activities of the councils, the lack of opportunities to join the council or public monitoring of the work of the councils.

References

1. Toffler, A. (2002) *Shok budushchego* [Future Shock]. Translated from English. Moscow: AST.
2. Kolesnikova, D.A. & Savchuk, V.V. (2015) Visual Ecology As a Discipline. *Voprosy filosofii*. 10. pp. 41–50. (In Russian).
3. Kirillova, N.B. (2006) *Mediakul'tura: ot moderna k postmodernu* [Media culture: from modern to postmodern]. Moscow: akademicheskiiy projekt.
4. Zhilavskaya, I.V. (n.d.) *Teoriya vseobshchikh media: opyt obosnovaniya* [Theory of universal media: the substantiation experience]. [Online] Available from: <http://mic.org.ru/new/676-teoriya-vseobshchikh-media-opyt-obosnovaniya> (Accessed: 15th August 2018).
5. Urалева, E.E. (2012) *Reklama kak sotsial'nyy institut* [Advertising as a social institute]. *Izvestiya PGPU im. V. G. Belinskogo*. 28. pp. 588–593.

6. Baudrillard, J. (2006) *Obshchestvo potrebleniya* [Consumer Society]. Translated from French. Moscow: Kul'turnaya revolyutsiya.
7. Baudrillard, J. (1999) *Sistema veshchey* [The System of Objects]. Translated from French. Moscow: Rudomino.
8. Pronina, E.E. (2003) *Psikhologicheskaya ekspertiza reklamy: teoriya i metodika psikhotehnicheskogo analiza reklamy* [Psychological examination of advertising: theory and methodology of psychotechnical analysis of advertising]. Moscow: RIP-kholding.
9. Savelieva, O.O. (2006) *Sotsiologiya reklamnogo vozdeystviya* [Sociology of advertising exposure]. Moscow: RIP-kholding.
10. FAS of the Russian Federation. (2013) *Pis'mo FAS Rossii № AD/17355/13 ot 29.04.2013g. "O poryadke primeneniya chasti 6 stat'i 5 FZ "O reklame""* [Letter of the FAS Russia No. AD / 17355/13 of April 29, 2013, "On the Procedure for the Application of Part 6 of Article 5 of the Federal Law On Advertising].
11. Zhilavskaya, I.V. (2011) *Problemy informatsionnoy bezopasnosti detey cherez prizmu novogo zakona* [The problems of children's information security through the prism of the new law]. [Online] Available from: <http://sociosphera.com/files/conference/2011/k-1-1-11.pdf> (Accessed: 25th August 2018).
12. Lapina, A.V. (n.d.) *"Kazanove" nazvali prichinoy resheniya UFAS "nedostatochnyy uroven' seksual'noy kul'tury"* ["Casanova" has learnt that the reason for the FAS decision was "low level of sexual culture"]. [Online] Available from: <https://www.kommersant.ru/doc/3428310> (Accessed: 16th July 2019).

УДК 325. 2.000.1

DOI: 10.17223/1998863X/51/15

В.Д. Попков, Е.А. Попкова

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ МИГРАНТЫ В ГЕРМАНИИ: СВЯЗИ СО СТРАНАМИ ИСХОДА И ОРИЕНТАЦИЯ НА ВОЗВРАЩЕНИЕ¹

Рассматривается реэмиграционный потенциал русскоязычных групп в Германии. Основное внимание уделяется этнически привилегированным мигрантам («русским немцам» и «русским евреям»). Ставится цель показать особенности взаимодействия русскоязычных групп, проживающих в Германии, с обществами происхождения. В основе исследования лежит качественная методология. Аналитическая база представляет собой 43 интервью, проведенных в Мюнхене.

Ключевые слова: русскоязычные мигранты, постсоветское пространство, Германия, интеграция, ориентация на возвращение.

Введение в проблему

Присутствие значительного числа мигрантов из бывшего СССР в Германии становится поводом для научной и общественной дискуссии о присутствии и выраженности в русскоязычной среде потенциала «обратной миграции» в Россию и страны постсоветского пространства. Основное внимание теме реэмиграции уделяется в российском научном поле, в то время как в немецкоязычной среде доминируют работы, посвященные интеграции приезжих. Если авторы и касаются темы реэмиграции, то упоминают в основном челночные поездки мигрантов в страны исхода, не связанные напрямую с принятием решения о возвращении [1, 2]. Те редкие случаи, когда предпринимается попытка отследить возвращенческую миграцию выходцев из бывшего СССР, авторы касаются отдельных групп этнически привилегированных мигрантов. Например, А. Шмид приводит цифру 13 616 реэмигрантов из числа поздних переселенцев, которые в период с 2000 по 2006 г. вернулись в Россию [3. S. 77]. Поскольку основной целью немецких исследователей является не изучение обратного потенциала русскоязычных групп, а их интеграция в общество поселения, то и тема реэмиграции ни в научных, ни в политических кругах Германии практически не звучит.

В российском научном и политическом дискурсе к данной теме, наоборот, замечен существенный интерес. Причем постсоветские мигранты рассматриваются здесь под другим углом зрения. В русскоязычной дискуссии присутствует понятие соотечественников, очерчивающее круг лиц, имеющих отношение к России и составляющих демографический (и экономический) потенциал для современного российского государства. Понятие «соотечественники» имеет объяснение и закрепление в Федеральном законе от 24 мая 1999 г. № 9-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» [4], который к настоящему времени

¹ Авторы благодарят Фонд Александра Гумбольдта за поддержку проекта.

претерпел ряд изменений и дополнений. Важно отметить, что как устойчивая исследовательская традиция данное направление еще не сложилось. К настоящему моменту еще нет значимой эмпирической базы, сравнимой со случаями немецких переселенцев и еврейских беженцев. В проведенных исследованиях доминирует позиция, согласно которой репатриационный потенциал русскоязычных мигрантов в Германии оценивается как невысокий [5–8]. Например, Ю. Баскакова, характеризуя репатриационные настроения соотечественников, склоняется к тому, что «большинство проживающих в Германии <...> предпочли бы остаться в стране пребывания» [6. С. 94]. В то же время ряд других исследователей отмечают усиление репатриационных настроений [9, 10]. В данных работах важно отметить тенденцию к изучению репатриационного потенциала мигрантов на «уровне действия». То есть для исследователей важно определиться с позицией мигрантов по поводу их возможного обратного переезда в терминах «ехать обратно» или «остаться». Именно на выяснение позиции респондентов по данному поводу и направлено большинство исследований. Между тем проблема видится гораздо шире. Ориентация на возвращение включает в себя не только непосредственное действие (обратную миграцию), но и ряд активностей мигрантов, направленных на общество исхода и предшествующих данному перемещению, но не всегда к нему приводящих. Данное направление изучения проблемы недостаточно представлено в современных исследованиях.

Принимая во внимание заметный разброс авторских позиций, а также сохраняющуюся актуальность данной темы, обратим внимание на некоторые векторы взаимодействия русскоязычных мигрантов в Германии с обществами исхода.

Цель статьи и направления анализа

Цель настоящей статьи – выяснение характера взаимодействия русскоязычных групп в Германии с обществами исхода. Акцент ставился на изучении выраженности связей со странами исхода, а также форматов, в которых эти связи поддерживаются. *Объект исследования*, объединенный под общим названием «русскоязычные мигранты» состоял из двух групп:

1. «Русские немцы». Основной законодательной базой для иммиграции русских немцев являются Закон по делам изгнанных и беженцев (*Bundesvertriebenengesetz*), вступивший в силу 19 мая 1953 г. [11] и Закон для урегулирования законов, вызванных последствиями войны (*Gesetz zur Bereinigung von Kriegsfolgesetzen*) [12], вступивший в силу с начала 1993 г. В соответствии с последним документом был введен единый статус «поздних переселенцев», который получили и русские немцы. Всего с представителями данной группы было проведено 20 тематически-центрированных интервью.

2. «Русские евреи». В эту категорию вошли еврейские контингентные беженцы, прибывшие в Германию на основании закона «О мероприятиях в отношении беженцев, принятых в рамках акций гуманитарной помощи» [13]. Данный документ более известен в качестве Закона о контингентных беженцах (*Kontingentflüchtlingsgesetz*). Русские евреи, приехавшие в Германию до 1 января 2005 г. получали этот статус. Всего в данной группе было проведено 23 тематически-центрированных интервью.

Методология исследования

В основе теоретических построений исследования лежит конструктивистский подход П. Бергера и Т. Лукмана [14], опирающихся на феноменологическую традицию Альфреда Шюца [15].

Для сбора информации применялся метод тематически-центрированного интервью. Основная идея заключалась в том, что респонденту предлагался набор тематических блоков, в рамках которых поступательно формулировались открытые вопросы, касающиеся только одной темы, и велось свободное обсуждение. Теоретическая выборка формировалась методом «снежного кома».

Представление результатов

Русские немцы

Значительная часть группы русских немцев сохраняет устойчивый интерес к странам исхода. В основном это проявляется в отслеживании новостей по телевидению, в немецкой и русскоязычной прессе, а также через публикации в Интернете и устные рассказы других русскоязычных, недавно приехавших из стран исхода. В то же время многие мигранты вполне осознанно идут на то, чтобы ограничить контакты с обществами исхода. Особенно ярко эта тенденция выражена в первые годы после переезда. Однако в целом это не приводит к заметному результату. Подавляющее число респондентов остаются погруженными в русскоязычную среду, даже если они стараются минимизировать контакты с ее представителями.

Интерес к покинутым странам не приводит к их частому посещению. Большинство респондентов ездят в Россию и другие страны исхода не чаще, чем один раз в два-три года. Во многом это связано с нехваткой денег для таких поездок либо отсутствием какой-либо собственности и близких родственников в странах исхода.

«Я за 13 лет была только 2 раза. По неделе. И меня не тянет туда. У меня нет потребности туда ехать. Но меня очень интересует, что происходит в России. Но я нисколько не тоскую. У меня моя мама здесь, брат с сестрой здесь. Вся родня» (жен., 59).

Другой важной причиной редких посещений стран исхода является большое расстояние, которое должны преодолеть мигранты до конкретного места исхода. В ряде случаев это регионы Сибири и Урала в России или же города Казахстана, не говоря уже о его отдаленных населенных пунктах. Для респондентов из городов европейской части России и российских столиц ситуация выглядит не столь критично, тем не менее принцип «сжигать мосты» кажется групповой особенностью для миграции русских немцев. Особенно это характерно для мигрантов из отдаленных российских городов и Казахстана, решивших «ехать навсегда» и оказавшихся своего рода заложниками подобного решения. Вероятно, поэтому в ряде случаев респонденты вполне осознанно ограничивают себя в прямых контактах со странами исхода, полагая, что самым фактом миграции они перешли Рубикон и о прошлой жизни лучше не вспоминать.

«Нам уже нет дороги назад. Мы не оставили ничего в России. Как говорят, сожгли за собой мосты. И это сразу было сказано. Раз решили переез-

жать – значит переезжать. И мы все там продали. Есть же люди, которые решают, давайте поедem – посмотрим. Оставим здесь квартиру, ничего продавать не будем, если что, мы вернемся... Но мы решили, что если ехать, – то ехать. Если ездить туда-сюда, то нечего позориться» (муж., 40).

Нетрудно заметить, что такая позиция отражает некоторую неуверенность респондентов в том, что принятое решение о миграции было правильным. Скорее всего, за ней прослеживается желание «идти до конца». Думается, что указанная тенденция представляет собой радикальный декларируемый вариант отказа от реэмиграции. Ключевым моментом здесь является констатация отсутствия возможности обратного пути, которая помогает данной подгруппе русских немцев справляться со стрессом, вызванным разрывом с обществом исхода и вхождением в общество поселения. В данном случае считается, что возвращение уже невозможно и (в том числе поэтому) нежелательно. Такая парадоксальная позиция, обосновывающая нежелание возвращение в страну исхода невозможностью данного действия, не является редкостью в группе опрошенных русских немцев. Однако если перед респондентами «рисовалась» обратная программа переселения русских немцев в Россию, которая гипотетически могла бы быть принята российским правительством, то возвращение рассматривалось уже как вполне реальное событие.

«В Россию и без всяких программ многие едут. Ну, не многие, а кое-кто из наших знакомых в Россию уехали. Кто-то там купил уже квартиру. Потому что не все тут настолько привыкли, чтобы думать, что это родина и больше уже ничего не надо. Не у всех такие мысли. Конечно, наверное, у 90 процентов такие мысли есть, что больше ничего не надо. А, наверное, процентов у 10 есть такие мысли, что они не на месте, что они как на вокзале сидят. И когда будет возможность, то они вернутся» (жен., 56).

Многие респонденты отмечают невозможность возвращения как раз по причине отсутствия каких-либо накоплений и материальной базы в стране исхода, которые они не в состоянии создать самостоятельно. Кроме того, считается, что в силу возраста многие «выпали» из жизни в России, Казахстане или других странах бывшего Союза, что также не способствует укреплению реэмиграционных настроений. Также подчеркивается зависимость части русских немцев от финансовых институтов страны поселения, предоставивших долгосрочные кредиты. Возможность их выплаты, в свою очередь, связывается с той работой и теми доходами, которые респонденты могут зарабатывать, только находясь в Германии. Поэтому обратный переезд в страну исхода рассматривается как нереальный.

«Многие хотят обратно уехать, но понимают, что некуда ехать. У меня двоюродный брат только и мечтает о том, чтобы уехать назад. Но там ни работы нет, ни квартиры, там ничего нет. А дом здесь он продать не может, он за него еще не выплатил. Все русские немцы в долгах здесь. Их же всех здесь лет на 25, на 30 повязали! Но душой они здесь не живут. Никто. Они так и будут жаловаться, как им плохо, но останутся. У них как волю забрали» (муж., 45).

Большинство опрошенных русских немцев избегают открыто декларировать свою ориентацию на возвращение в Россию, несмотря на фактическое ее присутствие и выраженность. Данная тенденция доминирует на фоне узкой

прослойки мигрантов из крупных городов России, в основном столиц, у которых, как правило, не выражена жесткая позиция относительно невозможности возвращения и которые не рассматривают вопрос в рамках дихотомии «или – или». Нужно особо отметить, что данная тенденция малозаметна в группе; ее представители склонны к созданию границы и ставят себя вне группы русских немцев, рассматривая ее как бы со стороны.

Русские евреи

Подавляющее большинство группы русских евреев живо интересуются происходящим в странах исхода. Многие респонденты регулярно смотрят русскоязычное телевидение и следят за новостными блоками телекомпаний страны поселения, которые посвящены странам бывшего СССР. Наиболее привлекательными для респондентов являются российские каналы. Большая часть информации черпается из Интернета при явном доминировании русскоязычных сайтов.

Личные посещения стран исхода происходят с периодичностью не чаще одного-двух раз в год. При этом часть респондентов отмечают определенные риски или чувство дискомфорта, которые возникают при поездках в страны исхода.

«Вот у меня в отношении России неуверенность, что там полный порядок и безопасность. Это из того, что я читаю, слышу... Там тебя могут где-то зацепить, в милиции избить... То есть я бы так с удовольствием побывал, но специально поехать... у меня нет такой мысли» (муж., 72).

Интересно выглядит позиция респондентов относительно возможного возвращения в страны исхода. Следует отметить, что для ряда опрошенных вопрос в плоскости «возвращаться – оставаться» не рассматривается. В первую очередь это связано с тем, что для респондентов, сохранивших недвижимость и гражданство стран исхода, этот вопрос, сформулированный как альтернатива «или – или», неактуален, поскольку имеющиеся возможности позволяют им жить на два дома. В этом смысле данная часть русских евреев «никуда не уезжали», поэтому и вопрос о возвращении не возникает. Возможность присутствия и «там» и «здесь» одновременно нивелирует и саму идею возвращения для данной части респондентов. В основном это относится к выходцам из крупных городов России (столиц в первую очередь), которые не воспринимают переезд как окончательный и не рассматривают миграцию в Германию как билет в одну сторону. Для данной подгруппы русских евреев постоянно сохраняется возможность поехать назад как на время, так и навсегда.

«Раз в два года я точно бываю в Питере. Вот сейчас поеду скоро. У меня нет никакого ощущения отрыва. То они ко мне приезжают, то я к ним. Переживаемся без конца, 'и-мейлы' шлем. То есть часто мы и там так общались, потому что все очень заняты. Я не могу сказать, что мы с друзьями видимся реже, чем тогда, когда я жила там. Я вообще не вижу разницы, только здесь жизнь более приятная. А так я сижу, смотрю это же телевидение. А когда надоест, я могу поехать туда. Там жизнь кипит» (жен., 60).

Важно отметить, что само понятие «возвращение» в смысле окончательного возвращения отсутствует в данной подгруппе русских евреев. Вероятно, это объясняется сохранением «якорей» в России для ряда ее участников, что

проявляется, например, в наличии российского гражданства, деловых и личных связей в России и часто недвижимости или бизнеса.

На уровне действия обратная миграционная активность практически не заметна. Несмотря на то, что о конкретных случаях возвращения в страну исхода слышали многие опрошенные, личное знакомство с людьми, которые решились на обратный переезд, встречается редко. При этом возвращение не воспринимается респондентами как какое-то необычное, экзистенциально важное событие. Оно подается как почти что ординарное явление, несмотря на его относительную редкость.

«Вот в последнее время я слышала о случаях возвращения. Это бывает чрезвычайно редко, но бывает. Это бывает с теми людьми, кто здесь как бы понимает, что он здесь никак не реализуется. А работать надо, иначе жить невозможно. Еще до пенсии далеко. Значит, он понимает, что в России он все-таки будет иметь работу, а здесь нет. И вот такие люди могут уехать. И очень редко по другим соображениям уезжают» (жен., 70).

Следует отметить, что в группе русских евреев явно доминирует тенденция к сохранению связей со странами исхода. Различия по группе проявляются лишь в интенсивности и выраженности этих связей. Обращает на себя внимание подгруппа «никуда не уезжавших» русских евреев, которые имеют наиболее тесные связи со странами исхода и успешно существуют «между» двумя странами. Ее основу составляют, как правило, русские евреи из мегаполисов России с сохраненным российским гражданством. Эта подгруппа относительно небольшая, более обеспеченная и наиболее мобильная.

Другая подгруппа русских евреев не обладает столь широкими возможностями. Она численно доминирует. Ее основу составляют мигранты, не имеющие дополнительных финансовых вливаний (кроме социальной помощи) и не обладающие возможностями для поддержания частых личных контактов со странами исхода. Именно в этой подгруппе идея «возвращения» является наиболее обсуждаемой, однако не приводит к реальной реэмиграции. Актуальным становится поиск путей для регулярного посещения стран исхода с целью извлечения выгоды из своего нового статуса.

Выводы

Большое значение для представителей обеих групп имеет разделение своей жизни на «до» и «после» миграции, предполагающее наличие некоего рубежа. Особенно это заметно в группе русских немцев. В данном случае респонденты стараются обосновать правильность принятого в свое время решения о его переходе (переезде в Германию) и отсутствие необходимости реэмиграции. В то же время эмоциональный настрой относительно идеи о возвращении в страну исхода часто находится в диссонансе с реальным действием. Создается впечатление, что многие респонденты хотели бы переехать в Россию, но в силу различных обстоятельств либо не могут этого сделать, либо сознательно глушат в себе это желание. Поэтому, несмотря на выраженность ориентации на страну исхода в среде русских немцев, ожидать реэмиграционной волны не приходится.

В группе русских евреев тема репатриации также широко дискутируема, но более или менее массовая фактическая реэмиграция отсутствует. Вероятно, это обусловлено тем, что, несмотря на возросшую привлекательность

России, возвращение в страны исхода связано со значительными финансовыми потерями для большинства респондентов, которые в силу возраста рискуют не найти хорошо оплачиваемой работы на российском рынке труда. Уровень пенсий и прочих социальных выплат также не прибавляет оптимизма вероятным реэмигрантам. На этом фоне стабильно высокий уровень жизни в Германии и социальные гарантии, предоставляемые немецким государством русским евреям, являются самыми существенными тормозящими факторами. Это не позволяет ожидать заметной реэмиграции в ближайшее время.

Применительно к обеим группам обращает на себя внимание то, что наиболее интенсивные связи поддерживаются в тех русскоязычных средах, участники которых являются выходцами из больших городов европейской части бывшего СССР. Отчасти это связано с близким географическим положением таких городов к стране поселения. Во многом поэтому Москва, Санкт-Петербург или Киев значительно чаще фигурируют как места, с которыми поддерживаются устойчивые контакты. Это особенно выражено, когда речь идет о личных посещениях. В этом случае постоянная рециркуляция мигрантов между странами исхода и поселения создает мощный канал влияния на русскоязычные группы. Учитывая процессы формирования новых идентичностей в странах исхода, эти контакты становятся особенно важными, поскольку с их помощью задействуется механизм прямой ретрансляции новых социальных установок, общественных настроений и национальных политик в странах исхода, что сказывается и на русскоязычных мигрантах в Германии. Таким образом, общества исхода могут влиять на русскоязычное пространство, «поставляя» его участникам различающиеся идентификационные базы. Например, одним из следствий таких контактов является возможность выбора страны исхода для всех участников русскоязычных групп. Несмотря на то, что мигранты прибыли из разных независимых государств, общее культурное поле и язык делают возможным смену ориентаций относительно того, какую ныне независимую часть бывшего СССР рассматривать в качестве «страны исхода». Так, некоторые респонденты, прибывшие, например, из Казахстана или Молдовы, говорят о том, что они хотели бы вернуться в Россию, несмотря на то что они никогда не жили в России, не являлись ее гражданами и никогда из России не уезжали. Это интересный феномен, который, как кажется, непосредственно связан с процессами общественных трансформаций на постсоветском пространстве и влиянием обществ исхода на русскоязычных мигрантов.

Литература

1. Kurilo O. Die Lebenswelt der Russlanddeutschen in den Zeiten des Umbruchs (1917–1991). Ein Beitrag zur kulturellen Mobilität und zum Identitätswandel. Essen : Klartext Verlag, 2010.
2. Schoeps J., Glöckner O. Fifteen Years of Russian-Jewish Immigration to Germany: Successes and Setbacks // The new German Jewry and the European Context. The Return of the European Jewish Diaspora / ed. by Y. M. Bodemann. 2008. Springer, P. 144–157.
3. Schmid A. Zur Integration von Aussiedler // Aussiedler- und Minderheitenpolitik in Deutschland. Bilanz und Perspektiven / Ch. Bergner, M. Weber (Hg.). München : R. Oldenbourg Verlag, 2009. S. 67–78.
4. О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом : Федеральный закон РФ от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ.
5. Архангельский А., Булатова Л. и др. Мониторинг миграционных настроений соотечественников, проживающих за рубежом. М. : Полиформ, 2012.

6. Баскакова Ю. Соотечественники за рубежом // Мониторинг общественного мнения. 2009. № 6 (94). С. 82–96.
7. Савоскул М. Реэмиграция российских немцев из Германии в Россию: факторы и масштабы явления // Региональные исследования. Смоленск : СГУ, 2013. С. 57–68.
8. Скринник В., Полоскова Т. и др. Комплексный мониторинг. Динамика политического поведения русских диаспор в государствах Евросоюза (на примере Германии, Латвии, Румынии, Эстонии). М., 2006. 312 с.
9. Кадацкая Н. Миграция немцев из Казахстана в Германию: поиск идентичности // Материалы международной конференции / ред. Л.Л. Емельянова, Г.М. Федоров; РГУ им. И. Канта. Калининград, 2008. С. 333–344.
10. Смирнова Т. Массовая миграция в Германию из стран СНГ в конце XX – начале XXI века: причины, динамика, последствия // *Migratory Processes in Europe*. Odessa, 2012. P. 462–478.
11. Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz – BVFG 15.05.1953).
12. Gesetz zur Bereinigung von Kriegsfolgengesetzen (Kriegsfolgenbereinigungsgesetz – KfbG 21.12.1992).
13. Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge (Kontingentflüchtlingsgesetz – HumHAG 22.07.1980).
14. Berger P., Luckmann Th. Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt am Main, 1967.
15. Schütz A. Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1981.

Viacheslav D. Popkov, Technical University of Berlin (Berlin, Germany); Institute of Social Research and Analytics (Kaluga, Russian Federation).

E-mail: v-831p@yandex.ru

Ekaterina A. Popkova, Bauman Moscow State Technical University, Kaluga Branch (Kaluga, Russian Federation).

E-mail: ekaterina.popkova@lenta.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 51. pp. 149–157.

DOI: 10.17223/1998863X/51/15

RUSSIAN-SPEAKING MIGRANTS IN GERMANY: CONNECTIONS WITH THE EXODUS COUNTRIES AND RETURN TENDENCIES

Keywords: Russian migrants; Germany; Russia; post-Soviet space; integration; return tendencies.

The article presents an attempt to consider the re-emigration potential of Russian-speaking groups living in Germany. The main attention is given to the privileged groups (from an ethnic perspective) and, in particular, to “Russian Germans” and “Russian Jews”. Qualitative methodology is the basis of the conducted research work and the analysis. The analyzed basis is 43 interviews done in Munich in 2005–6 and in 2011 with representatives of the above mentioned groups. The article aims at revealing the nature of interaction between the Russian-speaking groups and the residents of the country of exodus in Germany and the formats in which these interactions are held. It takes into consideration not only the direct contacts of the respondents, but also the tendencies to get information about different aspects of the political, economic and social life in the countries of exodus and the attitude to a possible re-emigration to the country of exodus. The article shows different activity tendencies of these groups towards the exodus countries. The authors assume that Russian-speaking groups not only keep in touch with the people in the exodus countries but also tend to expand and strengthen these relationships. But in some cases the basis for such tendencies is not the wish of the migrants to return to these countries but their striving for participating in the trans-national migrant community life. This presupposes the formation of some certain “social niches” in the countries of exodus and residence to exist between the abandoned society and the host country. In this case, the re-migrant potential of the Russian-speaking groups is not high. The authors focus on the possibility of influencing migrants living in the countries of new settlement by communities of the exodus countries. Much attention is given to the fact that the Russian-speaking individuals who came to Germany from the CIS countries can choose among the exodus countries no matter which part of the former USSR they left. In this case, the Russian vector is the most determining. It reveals that migrants who did not come from Russia and do not have Russian citizenship may show the tendency of returning to Russia, which they

never left. The article shows that the national policies of the abandoned societies may directly influence migrants thus forming new social attitudes and sentiments.

References

1. Kurilo, O. (2010) *Die Lebenswelt der Russlanddeutschen in den Zeiten des Umbruchs (1917–1991). Ein Beitrag zur kulturellen Mobilität und zum Identitätswandel*. Essen: Klartext Verlag.
2. Schoeps, J. & Glöckner, O. (2008) Fifteen Years of Russian-Jewish Immigration to Germany: Successes and Setbacks. In: Bodemann, Y.M. (ed.) *The new German Jewry and the European Context. The Return of the European Jewish Diaspora*. pp. 144–157.
3. Schmid, A. (2009) Zur Integration von Aussiedler. In: Bergner, Ch. & Weber, M. (eds) *Aussiedler- und Minderheitenpolitik in Deutschland. Bilanz und Perspektiven*. Munich: R. Oldenbourg Verlag. pp. 67–78.
4. Russian Federation. (1999) *Federal Law N 99-FZ of the Russian Federation “On the state policy of the Russian Federation with respect to compatriots abroad” dated May 24, 1999*. (In Russian).
5. Arkhangelsky, A., Bulatova, L. et al. (2012) *Monitoring migratsionnykh nastroyeniy sootchestvennikov, prozhivayushchikh za rubezhom* [Monitoring the migration attitudes of compatriots living abroad]. Moscow: Poliform.
7. Savoskul, M. (2013) Re-emigration of Russian Germans from Germany to Russia: Factors and scale of the phenomenon. *Regional'nye issledovaniya*. 3(41). pp. 57–68. (In Russian).
8. Skrinnik, V., Poloskova, T. et al. (2006) *Kompleksnyy monitoring. Dinamika politicheskogo povedeniya russkikh diaspor v gosudarstvakh Evrosoyuza (na primere Germanii, Latvii, Rumynii, Estonii)* [Integrated monitoring. The dynamics of the political behaviour of Russian diasporas in the EU countries (a case study of Germany, Latvia, Romania, Estonia)]. Moscow: [s.n.].
9. Kadatskaya, N. (2008) Migratsiya nemtsev iz Kazakhstana v Germaniyu: poisk identichnosti [Migration of Germans from Kazakhstan to Germany: the search for identity]. In: Emelyanova, L.L. & Fedorov, G.M. (eds) *Migratsiya i sotsial'no-ekonomicheskoe razvitiye stran regiona Baltijskogo morya* [Migration and Socioeconomic Development of Baltic Countries]. Kaliningrad: I. Kant Russian State University. pp. 333–344.
10. Smirnova, T. (2012) Massovaya migratsiya v Germaniyu iz stran SNG v kontse XX – nachale XXI veka: prichiny, dinamika, posledstviya [Mass migration to Germany from the CIS countries at the end of the 20th – early 21st century: Causes, dynamics, consequences]. In: *Migratsionnye protsessy v sovremennoy Evrope: evolyutsiya migratsionnykh vzaimodeystviy ES i gosudarstv Tsentral'noy i Vostochnoy Evropy* [Migration processes in modern Europe: evolution of migration interactions between the EU and the states of Central and Eastern Europe]. Odessa: Simeks-print. pp. 462–478.
11. Germany. (1953) *Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz – BVFG 15.05.1953)*.
12. Germany. (1992) *Gesetz zur Bereinigung von Kriegsfolgengesetzen (Kriegsfolgenbereinigungsgesetz – KfbG 21.12.1992)*.
13. Germany. (1980) *Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge (Kontingentflüchtlingsgesetz – HumHAG 22.07.1980)*.
14. Berger, P. & Luckmann, Th. (1967) *Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie*. Frankfurt am Main: Fischer.
15. Schütz, A. (1981) *Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie*. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

УДК: 321

DOI: 10.17223/1998863X/51/16

Г.С. Солодова

УПРАВЛЕНИЕ ТУРКЕСТАНСКИМ КРАЕМ – НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ УСТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ВЛИЯНИЯ¹

Выделены и проанализированы основные принципы государственной политики, проводимой Российской Империей в Туркестанском крае в 1865–1917 гг. Основной вопрос – взаимоотношение центра и периферии, закрепление и инкорпорирование территорий, ранее представлявших самостоятельные государственные образования. Особенность ситуации – полиэтничность населения, укорененность иной религиозной догматики. Цель исследования – определение контуров этнорелигиозной политики, принципов сближения русского и местных народов.

Ключевые слова: этнический состав, верования, изучение Туркестана, административное управление, распространение общероссийской гражданственности.

Продвижение России в Среднюю Азию ставило вопросы административно-политического, правового, хозяйственно-экономического обустройства края. Сложность задачи усугублялась языковой, культурной разнородностью населения. Наличие кочевого и оседлого народов усиливало различия в степени хозяйственно-экономического развития региона. Первый генерал-губернатор края ген.-адъютант К.П. фон-Кауфман подчеркивал необходимость дифференцированности в подходах к разным территориям и народам края. Избегая ошибочного убеждения в том, что кочевник и киргиз, оседлый и сарт являются равнозначными понятиями, «управление каждой из сих народностей проектировалось особое» [1. С. 44].

Общая характеристика населения Туркестанского края

На момент Первой всеобщей переписи населения 1897 г. общая численность жителей составляла 7 746 718 человек. Как и по всей России, городское население края было в меньшинстве – 12,06%, в уездах – 87,94%².

Этнический состав присоединенных территорий, несмотря на определенное сходство, был «крайне разнообразным» и включал как тюркоязычные, так и ираноязычные народы. Доминирование тюркских народов не только в этом, но и в других районах Центральной Азии, дало и само название огромному региону – Туркестан.

Приводя описание «племенного состава народонаселения», К.П. фон-Кауфман отмечал, что «этнографическое исследование народов и племен, населяющих Среднюю Азию, при разнообразии местных народностей, при запутанности и неполноте исторических известий о прошлой их жизни... не могло быть произведено в короткий срок нашего господства в стране с тою положительностью, какая отвечала бы интересу этого важного дела». Тем не менее полученные этнографические результаты отвечают действительности, «по крайней мере в крупных и общих чертах». Соответственно, «народонасе-

¹ Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-03-50224.

² Посчитано по: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года / изд. Центр. стат. комитетом М-ва вн. дел; под ред. Н.А. Тройницкого. СПб., 1897–1905.

ление края состоит из русских, татар, таджиков, узбеков, каракалпаков, кипчаков, туркмен, сартов, киргиз, кураминцев, чалоказаков, таранчей, дунган, монголо-китайцев, калмыков и в малом числе рассеянных в крае индийцев, персиян, евреев, арабов, афганцев, цыган». Доля русских в крае (без учета регулярных войск) за время всего генерал-губернаторства К.П. фон-Кауфмана, с 1867 по 1882 г., оставалась неизменной и составила «всего лишь около 2% народонаселения края» [1. С. 20–21].

Народы Туркестана отличались не только в этническом плане. Несмотря на несомненное и устойчивое доминирование ислама, степень его выраженности была различной. Среди кочевников было распространено шаманство. При официальном отнесении киргизов (тюрки-кочевники) к магометанам их религиозные понятия были «весьма ограничены» и отличались определенным «религиозным индифферентизмом». Стремление русских строить мечети, поставлять мулл было «большою ошибкою... Душная мечеть не могла казаться привлекательною кочевому народу, привыкшему видеть над своею головою небесный свод» [2. С. 34–35].

Создание генерал-губернаторства – решение административно-хозяйственных вопросов с учетом военных задач

Устройство среднеазиатских дел, «туркестанских владений», требовало «напряженных и непрерывных забот» [3. С. 176]. Показательным в этом отношении является весьма оперативное (в июле 1867 г.) создание Туркестанского генерал-губернаторства с административным центром в Ташкенте. Генерал-губернаторское управление обычно не считалось целесообразным и вводилось только в сложных регионах. В том же году указ об учреждении Туркестанского генерал-губернаторства был дополнен указом «Об учреждении Туркестанского военного округа» [4]. Первый начальник присоединенного края – инженер-генерал К.П. фон-Кауфман, который получил от Александра II исключительные полномочия. В его руках была сосредоточена вся военная и гражданская власть. Генерал-губернатор «получил право вести в случае нужды войну и заключать мир с соседними владениями, а также решать «политические, пограничные и торговые дела, отправлять в сопредельные владения доверенных лиц для ведения переговоров и подписывать трактаты, условия и постановления, касающиеся пользы обоюдных подданных» [5. С. 24]. Занимаясь гражданским устройством в течение 14 лет, К.П. фон-Кауфман остался в истории как «первый устроитель» Туркестанского края.

Особенностью, отличием от других регионов стало то, что Туркестан был подчинен не Министерству внутренних дел, а Военному министерству. Желательным основанием для устройства края была «нераздельность власти военной и административной» [1. С. 43]. Соответственно, почти вся администрация края состояла из кадровых армейских офицеров.

Изучение Туркестана – укрепление центральной власти, способ сближения русского и местных народов

Логичным и миролюбивым способом сближения русского и местных народов и расширения российского влияния стало добросовестное научное изучение Туркестана и распространение этих знаний среди российской адми-

нистрации. Уже в 1867 г. были заложены основания Ташкентской публичной библиотеки. К 1882 г. она включала 10 445 отдельных томов по всем отраслям знаний, литературе и искусству. Значительный раздел был посвящен русской и иностранной литературе, «касающейся Средней Азии и в особенности стран, ставших областями русского Туркестана» [1. С. 123–124].

1. Изучение русской администрацией местных языков. Освоение местных языков было важной составляющей в исследовании и управлении краем. «Незнание местных наречий и зависимость от невежественных, а во многих случаях и недобросовестных переводчиков ставили областное начальство в заседаниях народных судов в положение крайней беспомощности» [6. С. 61]. Чинам местной администрации и офицерам Туркестанского военного округа вменялось изучение «местных наречий» и «ослабление роли переводчиков». Это позволяло получить более точные знания о ситуации в регионе, уменьшало зависимость от местных толмачей.

На «крайне слабое знание местных языков чинами администрации» обращали внимание все генерал-губернаторы края. Неоднократно планировалось издание закона «о необходимости изучения чинами администрации местных языков и быта туземцев», «об обязательном знании местных языков состоящими в крае на государственной службе лицами». Так, генералом Д. И. Суботичем было предложено представить на законодательное утверждение проект закона «об обязательности знания туземных языков для всех чинов гражданской администрации». Вскоре после его прибытия в край, в начале 1906 г., в главных городах края были открыты «курсы местных языков». Однако после отъезда генерала учрежденные им курсы были закрыты [Там же. С. 82–89].

Последовательное обращение внимания на языковой вопрос многих генерал-губернаторов только подчеркивало его значимость и сложность решения.

2. Распространение русского языка среди местных администраций и населения. В некотором роде альтернативным и, как показала практика, крайне непростым в реализации подходом к снижению языкового барьера стала политика постепенного введения русского языка в «официальные сношения» и местный документооборот.

Согласно циркуляру 1898 г. военным губернаторам Сыр-Дарьинской, Ферганской и Самаркандской областей рекомендовалось «принять... меры к тому, чтобы местные туземные власти или по крайней мере волостные управители имели русских писарей для своих официальных сношений с уездными начальниками и приставами». Долговременной задачей было «ввести в будущем государственный язык в письменные сношения лиц туземной администрации с русскими властями». Однако практическое исполнение этого циркуляра встретило «непреодолимые затруднения ввиду недостатка в лицах, желавших исполнять эти обязанности» [Там же. С. 62].

Способом распространения русского языка и общей грамотности, важнейшим основанием для сближения русских и местных народов стало постепенное введение в мектебах и медресе преподавания «русского языка и предметов, имеющих отношение к живой действительности, а не узко схоластических» [Там же. С. 94]. Инспектором народных училищ Туркестана и преподавателем учительской семинарии Ташкента В.П. Наливкиным были

составлены первые сартско-русские и русско-сартские словари и пособия по изучению узбекского языка русскими и русского языка узбеками.

В конечном итоге распространение русского языка было способом сплочения разноплеменных, разноязыковых, исповедующих разные верования народов Империи, служило формированию «общероссийской гражданственности».

3. Организация «специальных курсов по востоковедению, в обширном смысле этого слова». В Представлении генерал-губернатора (1908–1909 гг.) П.И. Мищенко, которое «заслуживает серьезного внимания» в качестве «главнейшего основания» для «сближения и широкого ознакомления русского элемента в крае с инертными туземными массами», отмечалась необходимость учреждения при канцелярии генерал-губернатора особого отделения, ведающего туземными делами. Начальник отделения, его помощник и другие чины должны быть ориенталистами. Было предложено «устройство правильно организованных курсов по востоковедению для чинов администрации и других ведомств, находящихся на службе в крае; чрез эти курсы с подробно разработанною программю должны по проекту пройти все приставы и уездные начальники всех пяти областей края; за успешное окончание курсов» и за знание одного из местных языков чинам администрации предлагалось ввести определенную прибавку к жалованью [6. С. 94]. Помимо этого, в отделении должна сосредоточиваться переписка по всем вопросам, посвященным «специально местному мусульманству, а равно составляются периодические сводки из главнейших на всех языках периодических изданий, посвященных исламу». Более того, для взаимного обмена «сведениями, касающимися внутреннего положения магометан Туркестана и настроения народов, населяющих Афганистан, Серверную Индию, Персию, Хиву и Бухару», это отделение должно было вести переписку «с дипломатическим чиновником и штабом округа» [Там же. С. 93–94].

Примером совмещения исследовательской и административной деятельности является один из первых российских востоковедов Н. П. Остроумов. К его фундаментальным работам относят «Исламоведение», изданное в 1910 г. в Ташкенте. Среди работ Н. П. Остроумова – «Сарты. Общий очерк», Ташкент, 1908; «Сказки сартов», 1906; «Пословицы и поговорки сартов», «Коран и прогресс», 1901; «Уложение Темура»; «Словарь русско-татарский», 1910; «Этимология сартовского языка», 1910.

4. Изучение религиозных традиций местного населения, исламоведение. Ввиду огромной роли ислама в жизни местного населения знание мусульманских законов становилось важной частью общего знания. Всем служащим Туркестанского края было рекомендовано «возможно тщательнее знакомиться с религиозным бытом мусульман», внутренней мусульманской жизнью.

Под влиянием Андижанского восстания 8 августа 1898 г. в изданном генералом-губернатором (1898–1900 гг.) С. М. Духовским циркуляре была разработана «программа сведений о главнейших явлениях мусульманской жизни». К сведениям, которые губернаторы должны были сообщать «по программе» отнесены:

«Мечети соборные и пятикратные. Их число, распределение по населенным пунктам, размер приходов. Состав духовенства и служащих при них.

Значение среди населения и степень благосостояния. Мактабы при мечетях, число учеников. Приписанные к мечетям и мактабам вакуфы, их доходность.

Мазары на могилах святых и кладбища. Их значение среди населения...

Мадрасе. Их распределение по населенным пунктам. Личный состав учащихся и служащих, число учеников, примерное распределение их по возрастам. Ханаки и другие учреждения при мадрассах... Значение среди населения.

Ишаны. Мусульманские ордена и степень их распространения. Местонахождение главы каждого ордена, число ишанов, местожительство и приблизительное число мюридов. Календеры, маддахи, дервиши, и проч.» [6. С. 60].

Однако после «ухода из края генерала Духовского» данный циркуляр, «столь настойчиво рекомендованный к руководству», остался «мертвюю буквою и ныне является лишь воспоминанием о благих начинаниях этого начальника края насадить в административно-полицейских чинах вверенного ему края сознание необходимости ближайшего знакомства с мусульманскою жизнью». Поступавшие от губернаторов «статистические сведения по вопросам программы» были только подшиты в папку «к делу для сведения» [Там же. С. 60–61].

В обязанность губернаторам вменялось следить за тем, чтобы всеми библиотеками и канцеляриями приобретались «главнейшие справочные и руководящие сочинения об исламе», изданные на русском языке. К ним были отнесены Коран «с указателем к нему, сочинения о священной войне мусульман, об отношениях мусульманства к христианству, о мусульманском праве, мусульманском браке, дервишах и проч.» [Там же. С. 59–60]. Печатным и доступным способом ознакомления с мусульманством были издаваемые в Ташкенте выпуски «Материалов по мусульманству» (вышло шесть выпусков).

Вместе с тем по результатам ревизии Туркестанского края, произведенной по Высочайшему повелению сенатором гофмейстером графом К.К. Паленом, «состояние же мусульманства и общая картина его развития в крае по-прежнему остаются мало исследованными» [Там же. С. 60].

Политика выстраивания добрососедских отношений с местным населением

Несмотря на военное присоединение территорий, по отношению к местным народам царское правительство старалось проводить взвешенную и миролюбивую внутреннюю политику, первоначальной целью которой было избегание конфликтов и выстраивание добрососедских отношений. Исходя из рассмотренных документов, «главнейшей обязанностью» русских военных было «стараться, чтобы киргизы видели в нас более справедливых судей, защитников своих и водворителей общего порядка, но не мстителей и опустошителей их аулов, предпринимающих поиски для корысти и добычи... Вообще вменяется Вам в главнейшую обязанность всеми зависящими от Вас средствами стараться снискивать доверие киргизов и, сколько можно, уклоняться от нарушения доброго с ними согласия, привлекая старшин, почетных киргизов и простолюдинов, явивших знаки приверженности или готовности к услугам, ласковым приемом; воздерживать подчиненных своих не только от нанесения обид окрестным племенам киргизов, но и вообще от покушения на обманы, дабы не уронить нас в мнении ордынцев» [7. С. 100].

Вместе с тем в целях безопасности практиковалось разное отношение к русским и местному, в том числе торговому, населению. «Русским промышленникам давать приют и убежище в стенах самого укрепления; но азиатцам в этом отказывать, дозволяя им располагаться лишь только на избранном Вами месте» [7. С. 100].

Отсутствие «прямого вмешательства во внутреннюю жизнь населения». Сохранение права самоуправления

Основная мысль действующего с 1886 г. положения заключалась в том, чтобы «оставить существенные стороны юридического и экономического быта населения без изменения, т.е. в том виде, в каком они вылились в момент присоединения края» [6. С. 96]. Правительство не вмешивалось в решение хозяйственно-бытовых, семейных спорных вопросов местного населения, отдавая их на усмотрение кази и беев и сохраняя сложившуюся судебную правовую систему, «право судиться своим судом». За местным населением оставалось право самоуправления, которое осуществлялось путем выбора целого ряда должностных лиц – народных, «выборных» судей, волостных управителей, аульных старшин, аксакалов, мирабов. В оседлых районах судили на основе шариата, в кочевых – на основе обычаев.

Однако право «внутреннего управления» было сохранено только «по всем делам, не имеющим политического характера», не являющимся «вредными» для интересов государства. Еще одним изъятием – «не подлежат ведению народного суда» – были крупные преступления, дела по нарушению общественного порядка, решение гражданских дел «между туземцами и инородцами» в случае, «если ответчик проживает в пределах русских поселений» [8. С. 701–702].

С точки зрения межэтнических отношений важным на территориях «смешанного населения» являлось совместное проведение выборов кази и беев.

Распространение общероссийских административно-управленческих принципов

Включение новых территорий ставило задачу, обозначенную в проекте Положения 1867 г. как «охранение политического спокойствия» и порядка, установление и закрепление на присоединенных землях российского влияния и принципов общеимперского строя. Постепенно и закономерно проходил переход позиции власти «от роли чисто наблюдательной, следовавшей вслед за завоеванием, к роли учредительной и организующей, имеющей ввести со временем новую окраину местную в обще-гражданскую жизнь Русского государства» [1. С. 43–44].

Механизмом, способствующим реализации данной задачи, служили следующие принципы:

1. По возможности совпадающее с существующими в других частях Империи «устройство высших управлений», единая структура организации административной власти в целом.

2. Введение в административно-территориальное деление и управление краем территориально-географического (не этнического) основания, используемого на остальной территории страны – краевого, областного (губернско-

го), уездного и участкового (приставства). Соответственно, генерал-губернаторство делилось по уездам, волостям, аулам и сельским сообществам (аксакальствам).

3. Установление равной ответственности должностных лиц вне зависимости от русского или местного происхождения – «должностные лица из туземцев в областях Сыр-Дарьинской, Самаркандской и Ферганской за учиненные ими преступления и проступки привлекаются к ответственности на общем основании» [8. С. 701–702].

4. Основание системы налогообложения на виде хозяйственной деятельности, роде промысловых занятий, а «не по народности».

5. Единообразие принципов хозяйственного и земского подчинения вне зависимости от народности. В первую очередь это относилось к традиционным для Туркестана вопросам доступа и распределения земли (землевладение и землепользование) и воды (водопользование) как главных источников выживания.

Вместо заключения

Специфика Туркестана, отличие его культуры и верований от преобладающих на основной территории Империи обусловили сложность введения общероссийских принципов административного и правового регулирования. Почти 20 лет после вхождения в состав России Туркестанский край управлялся временными, законодательно не утвержденными положениями и правилами. Только в 1886 г. принят законодательный акт в виде Положения об управлении Туркестанским краем. Однако эти меры по правовому регулированию «условий жизни и управления неизученного обширного края, конечно, не могли быть совершенными и являлись лишь более или менее удачными попытками внести законный порядок туда, где такого совсем не было». В дальнейшем, начиная с 1902 г., правительство предприняло ряд мер по приведению Положения 1886 г. «в наибольшее соответствие с местными и общегосударственными интересами» [6. С. 95–96].

Анализ дореволюционных источников – законодательных документов, различных отчетов, в том числе Сенаторской ревизии, сборников документальных материалов, официальных донесений, докладов, записок и других исторических материалов и публикаций – позволяет говорить, что основной задачей административно-управленческого аппарата Туркестанского генерал-губернаторства было обеспечение «прочного обладания краем» и его последующее включение в хозяйственно-экономическую и общегражданскую жизнь государства.

Литература

1. *Проект* Всеподданнейшего отчета Ген.-Адъютанта К. П. фон-Кауфмана I по гражданскому управлению и устройству в областях Туркестанского генерал-губернаторства. 7 ноября 1867 – 25 марта 1882 г. / изд. Военно-ученого комитета Главного штаба. СПб., 1885. URL: <https://www.prlib.ru/item/439610> (дата обращения: 23.09.2019).
2. *Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности: с картой Средней Азии* / сост. кап. Ген. штаба Л. Костенко; изд. А.Ф. Базунова. СПб. : Тип. В. Безобразова, 1871. URL: <https://www.prlib.ru/item/451354> (дата обращения: 23.09.2019).
3. *Министерство внутренних дел* : исторический очерк: 1802–1902. СПб., 1901.
4. *Куропаткин А.Н.* Отчет о служебной поездке военного министра в Туркестанский военный округ в 1901 году. СПб. : Воен. тип., 1902. 147 с.

5. Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане. М. : АПН РСФСР, 1960.

6. Отчет по ревизии Туркестанского края, произведенной по Высочайшему повелению Сенатором Гофмейстером Графом К.К. Паленом / Краевое управление. СПб. : Сенат. тип., 1910.

7. Туркестанский край : сб. материалов для истории его завоевания: 1847 год / собрал полковник А.Г. Серебренников; изд. штаба Туркестанского военного округа. Ташкент, 1914.

8. Судебные Уставы Императора Александра Второго в Сибири, в Туркестане и Степных областях. Томск : Изд. книжного магазина П.И. Макушина, 1898.

Galina S. Solodova, Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation); Siberian State University of Telecommunications and Information Sciences (Novosibirsk, Russian Federation).

E-mail: gsolodova@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 51. pp.158–166.

DOI: 10.17223/1998863X/51/16

GOVERNANCE OF THE TURKESTAN REGION: SOME PRINCIPLES

Keywords: ethnic composition; beliefs; study of Turkestan; administrative governance; spread of all-Russian citizenship.

Russia's advance into Central Asia posed issues of administrative-political, legal and economic development of the region. The issues were aggravated by the multi-ethnicity of the population and different religious dogmas. Differences in the socioeconomic development between Russia and Central Asia were reinforced by the presence of nomadic and settled peoples. Therefore, a need for differentiation in approaches to different territories and peoples of the region became explicit. Several territorial governance clauses were issued to deal with the new territories (1865, 1867, 1873, 1886, 1901, 1903, etc.). The inseparability of military and administrative power was maintained by the introduction of the Governor-General position in July 1867. Administrative issues were governed together with military tasks. Overall, the main duty of the Turkestan Governor-General was to ensure order and political calm and to consolidate the region firmly. The gradual spread of the Russian influence was followed by incorporation into the economic and civil life of the Russian state. The current article distinguishes the core principles of the Russian policy implemented in the Turkestan region in 1865–1917. Four main principles were distinguished. (1) The study of Turkestan as a way to strengthen the central authority and facilitate the rapprochement of Russian and local peoples. It included learning of the local languages, religious traditions of the population, organization of special courses in oriental studies, distribution of the Russian language among the local administrations and population. (2) Avoidance of conflicts and building good-neighborhood relations. (3) No direct intervention in the internal life of the population; preservation of local self-government. (4) Dissemination of all-Russian administrative and governing principles: equal responsibility of officials, regardless of their Russian or local origin; a tax system based on the form of economic activity, not on nationality, etc.

References

1. Kaufman, von K.P. (1885) *Proekt Vsepoddannneyshego otcheta Gen.-Ad"yutanta K. P. fon-Kaufmana I po grazhdanskomu upravleniyu i ustroystvu v oblastiakh Turkestanskogo general-gubernatorstva. 7 noyabrya 1867 – 25 marta 1882 g.* [Draft report of the Adjutant-General K.P. von-Kaufmann I t on civilian governance and organization in the areas of Turkestan Governorate General. November 7, 1867 – March 25, 1882]. [Online] Available from: <https://www.prlib.ru/item/439610> (Accessed: 23rd September 2019).

2. Kostenko, L. (1871) *Srednyaya Aziya i vodvorenie v ney russkoy grazhdanstvennosti: s kartoy Sredney Azii* [Central Asia and the Russian citizenship in it: with a map of Central Asia]. St. Petersburg: Tip. V. Bezobrazova. [Online] Available from: <https://www.prlib.ru/item/451354> (Accessed: 23rd September 2019).

3. Ministry of the Interior of Russia. (1901) *Ministerstvo vnutrennikh del: Istoricheskiy ocherk: 1802–1902* [Ministry of the Interior: Historical outline: 1802–1902]. St. Petersburg: Ministry of the Interior.

4. Kuropatkin, A. N. (1902) *Otchet o sluzhebnoy poezdke voennogo ministra v Turkestanskiy voennyi okrug v 1901 godu* [Report on the official visit of the Minister of War to the Turkestan Military District in 1901]. St. Petersburg: Voen. tip.

5. Bendrikov, K.E. (1960) *Ocherki po istorii narodnogo obrazovaniya v Turkestane* [Essays on the history of public education in Turkestan]. Moscow: Academy of Education, RSFSR.
6. Palen, K.K. (1910) *Otchet po revizii Turkestanskogo kraya, proizvedennoy po Vysochayshemu poveleniyu Senatorom Gofmeysterom Grafom K.K. Palenom. Kraevoe upravlenie* [Report on the audit of the Turkestan Territory carried out at the Highest Command by Senator Hoffmeister Earl K.K. Palen. Local administration]. St. Petersburg: Senatskaya tipografiya.
7. Serebrennikov, A.G. (1914) *Turkestanskiy kray: Sbornik materialov dlya istorii ego zavoevaniya: 1847 god* [Turkestan Territory: A collection of materials for the history of its conquest: 1847]. Tashkent: [s.n.].
8. Russia. (1898) *Sudebnye ustavy Imperatora Aleksandra Vtorogo v Sibiri, v Turkestane i Stepnykh oblastiakh* [Judicial charters of Emperor Alexander II in Siberia, Turkestan and the Steppe regions]. Tomsk: P.I. Makushin.

УДК 316.7

DOI: 10.17223/1998863X/51/17

Е.Р. Ярская-Смирнова, В.Н. Ярская-Смирнова, Д.В. Зайцев

СТУДЕНТЫ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ КАК АГЕНТЫ ПОЛЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА¹

Рассматриваются различные виды капиталов в отношении студентов с инвалидностью как агентов поля высшего образования и более подробно анализируется роль социального капитала в трансформации практик данного поля. Анализ проводится на материалах качественных интервью в пяти городах со студентами с ограничениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и преподавателями вузов, имеющими опыт работы в приемных комиссиях.

Ключевые слова: доступность, высшее образование, инвалидность, поле, социальный капитал.

Введение

Недавнее исследование политики равенства, принимаемой и проводимой университетами разных стран мира, позволило классифицировать страны в четыре группы на шкале от начинающих к развивающим, состоявшимся и продвинутым [1]. Если страны из группы начинающих сформулировали широкие принципы и цели, но мало сделали в смысле конкретных мер, программ и действий, то «продвинутые» не только приняли, но и внедрили комплексные стратегии продвижения равенства и справедливости, а некоторые даже открыли центры продвижения равенства. Россия входит во вторую группу стран, развивающих политику равенства [1]. Доступность высшего образования для людей с инвалидностью оказалась в фокусе политических решений в сфере образования в России начиная с 1990-х гг. [2. С. 49]. Решающую роль в курсе этих реформ сыграли два события 2012 г.: ратификация Конвенции ООН по правам людей с инвалидностью и принятие закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон). В Законе прописаны принципы, механизмы устранения физических, социальных, педагогических и иных барьеров. Государство расширяет обязательства вузов в вопросах открытости (в том числе информационной), на сайтах сейчас должна размещаться информация об условиях обучения инвалидов [3].

На основании этого доступ к актуальной информации позволяет потребителю услуг иметь достоверные данные о функционировании организации (например, нормативные документы, структура, контингент, штат, учебные планы, материально-техническое обеспечение, направления и результаты научно-исследовательской и практической деятельности, наличие социальной поддержки, финансовое обеспечение). Создание условий для инклюзивного обучения студентов с инвалидностью стало обязательным условием лицензирования вузов для осуществления образовательной деятельности [4. С. 259], что выступает важным условием развития инклюзивной социальной

¹ Исследование выполнено при поддержке РНФ в рамках научного проекта № 18-18-00321.

политики и инклюзивной культуры в России [5]. В целях оптимальной реализации положений Закона разрабатываются и принимаются различные документы и рекомендации, позволяющие реализовывать право граждан на образование в полной мере и в соответствии с международными нормами. Реализуется федеральная программа «Доступная среда» (2011–2020). Но, несмотря на существующие громкие заявления в широких дискурсах об инвалидности, в конкретных вузах делается пока недостаточно.

С 2014 по 2018 г. число официально зарегистрированных в статусе «инвалид» в возрасте до 18 лет в России увеличилось на 12%, но при этом количество обучающихся в вузах студентов-инвалидов снизилось на 13% [6]. Студентов с инвалидностью, поступающих в вузы, почти вдвое больше, чем выпускников программы бакалавриата. Инвалиды лишь на 10% используют предложенные им квоты, и в вуз поступает только каждый тридцатый в возрасте до 30 лет, тогда как среди сверстников, не имеющих ограничений по здоровью, – каждый пятый [7]. Лишь отдельные вузы системно подходят к организации инклюзивного высшего образования [4].

Как показал анализ статистики, студенты с инвалидностью обучаются дистанционно, в специализированных вузах, в отдельных группах в рамках обычных вузов (интеграция), в обычных вузах совместно с другими студентами (инклюзия) [Там же. С. 256]. Эта классификация условна, поскольку в конкретных вузах могут сочетаться различные модели и образовательные практики. Под моделью обучения людей с инвалидностью в вузе подразумеваются заявленные форматы обучения и ориентация на учет особых образовательных потребностей студентов с инвалидностью, выраженная в обеспечении определенной степени доступности физической среды вуза и готовности осуществлять методическое и техническое сопровождение обучения людей с инвалидностью [Там же].

Оценка доступности городской среды, которую проводят как независимые исследователи [8, 9], так и общественные структуры [10–12], вскрывает наличие значительных просчетов и мистификаций в практике исполнения законодательства. Высокие бордюры, неработающие кнопки лифтов, неправильный угол наклона пандусов, запертые на ключ туалеты – это первое, на что обычно обращают внимание в таких исследованиях. И в проблеме доступности высшего образования для людей с инвалидностью барьеры такого рода играют очень важную роль, но они не единственные.

Вообще, как представляется, все барьеры доступа к образованию можно условно расположить на трех уровнях: стратегические (недостаточная проработанность курса образовательной политики на уровне государства и институционализированных правил в учреждениях), практические (сбои в реализации принятых правил, недостатки организации среды и учебного процесса), ценностно-символические (установки, мотивы, коммуникация). Эта классификация перекликается с измерениями школьной инклюзии (политика, практика, культура) [13], а также с типологией барьеров в получении дополнительного образования взрослыми [14]: ситуационные (наличие времени для занятий, стоимость курсов), институциональные (несоответствие системы преподавания, организации расписания потребностям взрослых, отсутствие информации о возможностях получить образование), диспозиционные (восприятие обучения, ожидания, аттитюды).

В данной статье нас будет интересовать уровень практик и ценностно-символических барьеров, в соответствии с предложенной нами классификацией.

Высшее образование – это то поле, где агенты конкурируют между собой за свои позиции. Применяя концепт капитала, мы можем понять, какого рода ресурсы и барьеры задействованы в процессах поступления в вуз и получения высшего образования инвалидами, в том числе как проявляется акторная позиция у студентов-инвалидов и какие вызовы с их уникальной позиции они бросают нормативным регуляциям поля университета.

Вначале мы рассмотрим различные виды капиталов в отношении студентов с инвалидностью как агентов поля высшего образования, затем более подробно остановимся на социальном капитале и проанализируем его роль в трансформации практик данного поля. Анализ проводится на материалах качественных интервью (N = 21), проведенных осенью-весной 2018–2019 гг. в пяти городах (Казань, Новосибирск, Самара, Саратов, Томск) со студентами с ограничениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, а также преподавателями вузов, имеющими опыт работы в приемных комиссиях. Пять вузов, в которых проводилась полевая работа, судя по анализу информации на сайтах, условно представляют различные стадии внедрения инклюзии и модели обучения студентов с инвалидностью [4].

Студенты с инвалидностью в поле высшего образования: виды капиталов

Социальное пространство понимается у П. Бурдьё как поле сил различных агентов, как поле борьбы между ними [15]. Движущей силой поля выступает напряжение социальных отношений между агентами, занимающими различные позиции и нередко имеющими конфликтующие интересы. Поле задает правила практических действий, но эти же действия не только воспроизводят, но и трансформируют поле. У каждого агента поля есть в распоряжении габитус, задающий порядок действий на основе жизненного опыта, выученной социальной позиции, и те или иные капиталы, необходимые для того, чтобы занять позицию, пользоваться правами и возможностями. Но распределены эти капиталы в поле неравномерно, что и обуславливает социальную структуру поля, в нашем случае – высшего образования.

В зависимости от того, какими средствами располагают агенты поля высшего образования, в нашем случае – это абитуриенты или студенты с инвалидностью, они будут предпринимать те или иные действия. В качестве таких средств выступают различные виды капиталов, обеспечивающие агентов структурами господства. Чем больше объем и разнообразие капитала, тем легче агентам достигать целей.

Различные экономические ресурсы, находящиеся в распоряжении индивида, это *экономический капитал*. Он «непосредственно и напрямую конвертируется в деньги и институционализируется в форме прав собственности» [Там же. С. 60]. Этот вид капитала у студента с инвалидностью, с одной стороны, зависит от объема семейного бюджета, с другой стороны, обеспечивается государственными гарантиями, социальной политикой региона и конкретного учебного учреждения. В частности, в структуре некоторых вузов имеются специальные центры адаптации, вузы инвестировали в обустройство

архитектурной среды, оплачивают специальных консультантов, технические средства, например коляски, помощников из числа студентов, поощрительные путевки и многое другое (например, ННИГУ, Новосибирск). Наши собеседники из других вузов тоже делились с нами радостью своих достижений и поощрительных поездок с однокурсниками, пусть даже если и не были включены полностью в общий процесс:

«На первом курсе мы... победили в конкурсе „Лучшая группа“. Группа заняла первое место. Мы ездили по „Золотому кольцу“... [Путешествие длилось] дня два, наверное. Сложно было в том, что надо было постоянно передвигаться. И не всегда я выходила из автобуса, так скажем. Да, было очень интересно» (Казань ИЗ студ).

Поскольку речь идет о поддержке студентов высшего профессионального образования, объем экономического капитала отчасти зависит от учебных достижений студента (стипендии, гранты). Здесь возникает дилемма: с одной стороны, меритократические принципы оценивания справедливы при отборе лучших студентов, в том числе среди студентов с инвалидностью, и в высказываниях студентов эта тема звучала:

«[Нужно быть готовыми] к большому объему [информации] и к тому, что этот объем будут спрашивать так, что не получится сыграть на тему, что, извините, я тут немножко хромаю или как-то еще. Я просто знаю, знал, по крайней мере, некоторых знакомых из той же среды еще в школе, которые говорили: „Ой, да что мне это образование, я приду, скажу, что я бедный-несчастный, и у меня диплом автоматом“. Здесь такое не прокатит, от слова „совсем“» (Новосибирск И1 студ).

С другой стороны, стартовые возможности студентов-инвалидов, как правило, ниже. Такие учащиеся изначально оказываются в неравных условиях за счет неприспособленности среды к особым образовательным потребностям учащихся, – можно сказать, по причине «инвалидности образовательной среды».

Отношение преподавателей и других сотрудников к учащимся-инвалидам, информированность и готовность удовлетворять их потребности играют важную роль в академической успеваемости и благополучии студентов с особыми нуждами [16]. Лейтмотивы «мы такие же, как все», «относитесь к нам как к равным» звучали в наших интервью:

«Я поступила, насколько я поняла, не по льготам, а в общем конкурсе, и прошла на бюджет... Это было приятно» (Томск И2 студ).

Отсутствие «поблажек» к самому себе, одинаково строгое отношение преподавателя к разным студентам обсуждается информантом не только как несомненное достоинство образовательной среды, но и в первую очередь как ресурс самоуважения.

Однако требование равного отношения может быть следствием стресса студентов из-за опасений быть стигматизированными. Габитус студента с инвалидностью формируется опытом стигмы и изоляции. Как было выявлено ранее, студенты испытывают стресс, тревогу и страх, даже когда они признают, что разумное приспособление является их правом и часто необходимо, чтобы они могли учиться и конкурировать наравне с учащимися без инвалидности [16].

Ограничения возникают еще и ввиду разнообразия барьеров, появляющихся при столкновении с требованиями различных нозологий, к которым среда высшего образования должна быть адаптирована, в том числе посредством гибких и разнообразных видов поддержки. Вопросы доступности дифференцированы по особенностям мобильности, и то, что для одних студентов не вызывает сложностей, может стать препятствием для других. Редуцирование проблемы мобильности к нуждам студентов, использующим коляску для передвижения, – еще один сигнал, указывающий на низкую чувствительность системы к особым потребностям учащихся [17]. По словам студента с ДЦП, испытывающего проблемы с передвижением (юноша передвигается с помощью мамы):

«...если инвалид-колясочник в группе, то все пары во втором корпусе, так как он приспособлен пандусом, оборудован, и на лестнице все приспособлено, там везде ровно все, коляска проедет. Так как в моей группе инвалидов-колясочников нет, а я не в счет, то, как придется... вот и хожу не в приспособленных корпусах» (Томск И1 студ).

Этот пример показывает, как проявляется дилемма инвалидности в виде общей категории и ее многообразных частных случаев, число которых возрастает еще и ввиду употребления весьма размытого понятия «ограниченные возможности».

Культурный капитал может быть институционализирован в форме образовательных квалификаций, он включает образование, полученное до поступления в вуз, характер учебного заведения, особенности ценностной системы индивида и его ближайшего окружения. Наращивание культурного капитала требует определенной работы над собой, самосовершенствования, инвестирования времени и усилий [15. С. 60]. При определенных условиях он конвертируется в экономический капитал.

Одному из информантов большие трудности в адаптации создавала стигма, заложенная коррекционной школой, где его убеждали в мизерности жизненных перспектив, прочили ему карьеру массажиста, а главное – запугивали рисками неприятия со стороны окружающих в вузе. Это повлияло на его самооценку, несмотря на то, что семья всегда поддерживала и вдохновляла его:

«Дело в том, что под влиянием такой пропаганды я сам, как сказать, изначально дистанцировался, и мне самому пришлось приближать то расстояние, на которое я отдалился, посредством увлекательных рассказов» (Новосибирск И1 студ).

То, как наши информанты формулируют рекомендации для своих сверстников, будущих студентов, говорит о формировании и реинкорпорировании их культурного капитала, о преодолении собственного габитуса инвалидности:

«Относиться к самому себе проще, просто быть собой со всеми, и тогда не будет проблем» (Томск И3 студ).

«Во-первых, зная, какие школы у нас есть, не слушать преподавателей: я хочу туда-туда поступать, – вот ты мне знания дай, чтобы ЕГЭ банально сдать, а с советами, пожалуйста, не лезь. И второе, – это не комплексовать по поводу и без повода тоже» (Новосибирск И1 студ).

Особая тема – коды символической политики внутри и вовне университетских стен, в официальных и неформальных нарративах об инвалидности, которые могут производить образы жалости и неуспешности или же конструктивного взаимодействия и гордости [18, 19]. *Символический капитал* ассоциируется с именем, престижем, репутацией. Это, скорее, особенность капитала в любой его форме быть узнаваемой, репрезентируемой [15].

Один из наших информантов проходил стажировку в мэрии, там он выступил с сообщением о недостатках транспортной инфраструктуры, создающих дополнительные барьеры студентам с инвалидностью. Это выступление оказалось ресурсным в символическом смысле, при этом цели, поставленные молодым человеком, были не столько личными, сколько общественными, политическими. При этом наш информант видит в расширении доступности ресурс повышения престижа не только вуза, но и области в целом:

«...не мешало бы это сделать. Все-таки национальный исследовательский у нас статус, как бы всероссийского масштаба университет... университет региону имидж дает, как бы это бренд города, своего рода, поэтому тут и городские, и областные власти, и ректор должен этим заниматься» (Томск И1 студ).

Идея «габитуса инвалидности» [20], пожалуй, больше всего связана с концептом *социального капитала*, понимаемого, вслед за Бурдье (2005), как принадлежность индивида к конкретной социальной группе. Эта форма капитала образуется социальными связями и обязательствами. Социальный капитал, т.е. связи и социальное положение в обществе, социальная позиция обуславливают жизненные шансы и возможности индивида.

Социальный капитал: контакты и связи

Исследования в разных странах мира убеждают, что студенты с инвалидностью подвергаются более высокому риску провала и отсева, чем студенты без инвалидности, в том числе из-за плохого доступа к учебным материалам, информации и ограниченности социальных связей [17].

Повседневная коммуникация многих студентов с инвалидностью приводит к формированию дружеских отношений с другими студентами, развитию сети прямой и косвенной поддержки:

«...я вошла в аудиторию, оступилась и упала, а раньше таких инцидентов не было... я увидела испуг у одногруппников... меня пытались поднять, помочь... до конца пары я чувствовала отношение типа „как ты себя чувствуешь?“ До этого момента я мало общалась...» (Саратов И3 студ).

Роль социального капитала ярко проявляется в переходный период. Инициация в студенты нередко оказывается более травмирующей для молодежи с инвалидностью. Отсутствие во многих учебных заведениях специалистов по реабилитации и в целом реабилитационной компоненты образования существенно затрудняют поступление и обучение [15. С. 255]. Однако речь, безусловно, идет не только о формальных структурах социальных взаимодействий.

Прием новых студентов требует особых усилий от персонала, в том числе по управлению эмоциями, как ожидается в рамках практик гостеприимства. Однако в некоторых организациях к работникам такие требования не предъявляются:

«...они не переживали за студентов, они переживали за сохранение внешнего вида вещей, за само общежитие. В этом плане было очень тяжело, не чувствовалось поддержки... Ты одна в чужом городе, и такое отношение со стороны персонала и сотрудников общежития... было эмоционально тяжело» (Казань И1 студ).

В ином случае социальные взаимодействия чересчур формализованы. В одной из студенческих групп на первом курсе обучения, по словам нашей информантки, *«был очень номинальный куратор, он вообще не появлялся в нашей группе. Не то чтобы он мне уделил какое-то отношение, он вообще никому его не уделит» (Казань И1 студ).*

Недостаточно гибкие, бюрократизированные взаимодействия оказываются не эффективными, что нередко требует отладки вручную:

«Центр инклюзивного образования бился за мальчика, которого отчислили, я сейчас не помню – он слабослышащий / слабовидящий... чтобы его не отчислили, они пробовали все, что можно, и его перевели на другой факультет. Вот... в мае его оттуда отчислили... Вы же прекрасно знаете, зачем вам переводили этого ребенка, какие ресурсы были потрачены, почему вы не предупредили, что у него такая ситуация, можно же было что-то сделать, ну, в крайнем случае, отправить в академический отпуск... Сейчас он заново поступает» (Самара И4 сотр).

«Обозначить ярко, какая дверь открывается»: рекомендации по расширению доступности

Исторически сложившиеся смыслы сегрегированного обучения или депривации людей с инвалидностью от высшего образования объективированы в институтах – правилах устойчивых практик. В современных условиях габитус студента-инвалида, поступающего в вуз, реактивирует эти смыслы, но при этом подвергает «институции пересмотру и преобразованию» в качестве компенсации и условия их реактивации [21. С. 111].

Ряд рекомендаций был связан с формированием инклюзивной культуры:

«...важнее всего сделать не столько физическое пространство удобным для инвалидов, а формировать открытость и готовность помогать регулярно, не сторониться студентов, [у которых есть] проблемы со здоровьем» (Казань И1 студ).

«...продолжать в том же духе, толерантность, давать возможность [нам], как и прочим ребятам, выступать и проявлять себя, возможности для самореализации давать» (Томск И1 студ).

Пожелания адресованы не только руководству, но и всем участникам образовательного процесса, в том числе и будущим абитуриентам с инвалидностью. Советы касались тщательного обдумывания решения, выбора жилья поблизости к вузу, а также серьезного настроя на учебу:

«Пусть настраиваются, что они будут учиться постоянно [смеется], не рассчитывают, что здесь халява какая-нибудь. На серьезную работу пусть настраиваются, и тогда все будет нормально... В смысле универ будет помогать, но сам человек тоже должен что-то делать» (Новосибирск И2 студ).

Абитуриентам важно знать о возможности решить проблемы *«...прямой коммуникацией с преподавателями или сотрудниками ТГУ. Ничего нерешаемого совершенно в этом нет» (Томск И2 студ).*

Вообще информанты были весьма оптимистично и энергично настроены. Возможно, в ситуации интервью их нарративная идентичность строилась по контурам успешного университетского студента. Однако это не мешало нашим собеседникам занимать активную критическую позицию и высказывать серьезные замечания и рекомендации. Оценка, которую дают некоторые студенты своим вузам, базируется не только на их индивидуальном опыте, здесь звучит осознанное представление о личном как коллективном.

Выводы

В поле высшего образования студенты действуют как агенты, имеющие различные капиталы. Агенты, действующие в поле высшего образования, своими габитусами предрасположены действовать по его правилам. В распоряжении студента с инвалидностью, как и у других агентов, имеются габитус, задающий порядок действий на основе выученной социальной позиции, и капиталы, позволяющие занять определенное место. Перед абитуриентом с инвалидностью поле предстает уже существующим, заданным. Действия этих и других агентов поля, их индивидуальные практики одновременно будут воспроизводить и в какой-то степени трансформировать поле. Воспроизведенное таким образом уже новое поле предоставляет самим студентам с инвалидностью, их сокурсникам, преподавателям, администрации возможности действовать по-новому, придавая их действиям характер нормативной заданности. Отсутствие же студентов-инвалидов в поле высшего образования не позволит осуществиться трансформации. Как сделать особенности мобильности или коммуникации нормальной частью пространства вуза, деинвалидизировать людей и учебные заведения – пожалуй, в этом и состоит один из ключевых вопросов инклюзивной повестки.

Университеты могут проявлять консерватизм, тормозить изменения и препятствовать попыткам студентов включаться и участвовать в принятии решений в политике высшего образования. Барьеры на пути к образованию могут возникать у студентов из-за их неспособности или невозможности озвучить свою позицию.

Однако образование – лишь одно из звеньев в цепи социальной инклюзии или эксклюзии. Среди причин, снижающих конкурентоспособность инвалидов на рынке труда и их социальное благополучие в обществе в целом, – барьеры среды, трудности с транспортировкой к месту работы, учебы или отдыха, недоступность или неудобство различных объектов социальной инфраструктуры, отсутствие или плохое качество необходимых технических приспособлений, отсутствие достойных вакансий, негативные социальные установки.

Капиталы, которыми обладает студент с инвалидностью, формируются социальными сетями, закладываются школой и семьей, уровнем подготовки и экономическим статусом. Даже студенты из финансово состоятельных семей имеют трудности с обретением культурного капитала, поскольку должны преодолеть габитус инвалидности в себе и в восприятии окружающих, но в процессе накопления социального капитала они меняют структуру взаимодействий и характер социальных связей, а также самооценку, приобретая тем самым качественно новый культурный капитал. Дружба, взаимодействия студентов, повседневная коммуникация студентов с преподавателями и со-

трудниками ведут к хабиитуализации особенностей учащихся с инвалидностью. Высшее образование становится в этом случае не только социальным лифтом, но и ресурсом социального и культурного капитала не только для студентов с инвалидностью, но и всех агентов поля.

Выражение признательности

Авторы выражают признательность коллегам, принимавшим участие в сборе данных, информантам, поделившимся своим опытом и размышлениями, а также Софье Коржук за идеи по классификации вузов.

Литература

1. *Salmi J.* All around the world – Higher education equity policies across the globe // Lumina Foundation. 2018. URL: <https://worldaccesshe.com/wp-content/uploads/2018/11/All-around-the-world-Higher-education-equity-policies-across-the-globe-.pdf> (accessed: 07.09.2019).
2. *Ярская-Смирнова Е., Романов П.* Проблема доступности высшего образования для инвалидов // Социологические исследования. 2005. № 10. С. 48–56.
3. *О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации* : Постановление Правительства РФ от 17.05.2017 № 575. URL: <http://www.consultant.ru/document/> (дата обращения: 02.09.2019).
4. *Богомолова Т., Коржук С.* Высшее образование для людей с инвалидностью в России: на пути к инклюзивному формату // Мир экономики и управления. 2018. № 18 (4). С. 254–268.
5. *Зайцев Д., Ярская В.* Социальная политика современной России: социологический анализ тенденций инклюзии / под ред. В.Н. Ярской. Саратов : СГТУ, 2010.
6. *Высшее образование*: статистика // Минобрнауки. 2019. URL: <https://minobrnauki.gov.ru/ru/activity/statan/stat/highed> (дата обращения: 10.09.2019).
7. *Курбангалиева Е., Веретенников Д.* Доступность высшего профессионального образования инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) // Психологическая наука и образование. 2017. № 22. С. 169–180.
8. *Hartblay C.* Good Ramps, Bad Ramps: Centralized Design Standards and Disability Access in Urban Russian Infrastructure // *American Ethnologist*. 2017. № 44. Р. 9–22.
9. *Кузнецова И., Ясавеев И.* «Казань недоступная»: отсутствие безбарьерной среды, вызовы общественности и реакция властей // Социальные работники как проводники перемен / под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой, Н.В. Сорокиной. М. : Вариант, ЦСПГИ, 2012. Р. 151–165.
10. *HRW*: Вездесущие преграды. Отсутствие доступности для людей с инвалидностью в России. 2013. URL: <https://www.hrw.org/ru/report/2013/09/11/256465> (дата обращения: 03.09.2019).
11. *Общественный народный фронт.* Доступная среда, 2019. URL: https://onf.ru/category/social_sprav/dostupnaya-sreda/ (дата обращения: 28.08.2019).
12. *Комплексный всероссийский мониторинг доступности высшего профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ* // АНО «НИЦ „Особое мнение“». Исследования. Аналитика. Экспертиза. 2017. URL: <http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/95/Kurbangaleeva.pdf> (дата обращения: 19.05.2019).
13. *Бут Т., Эйнскоу М.* Показатели инклюзии : практ. пособие / под ред. М. Воган; пер. с англ. И. Аникеев; науч. ред. Н. Борисова; под общ. ред. М. Перфильевой. М. : Перспектива, 2007. 124 с.
14. *Lang L.* Responsibility and participation in transition to university – voices of young people with disabilities // *Scandinavian Journal of Disability Research*. 2017. № 17 (2). Р. 130–143.
15. *Бурдые П.* Формы капитала // *Экономическая социология*. 2002. № 5. С. 60–75.
16. *Lane L.* Am I being heard? The ‘voice of’ students with disability in higher education: a literature review / *Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (pil)* // Göteborgs Universitet Högskolepedagogisk skriftserie. 2017. № 1. URL: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/52566/2/gupea_2077_52566_2.pdf (accessed: 09.09.2019).
17. *Збировская Е., Тарасенко Е.* Опыт российских университетов: создание инклюзивной образовательной среды для студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья // *Вестник РГГУ. Серия Психология. Педагогика. Образование*. 2016. № 4. С. 33–41.

18. *Disability as Diversity in Higher Education: Policies and Practices to Enhance Student Success* / E. Kim, K. Aquino, eds. New York : Routledge, 2017. URL: <http://dsq-sds.org/article/view/6129/4881>

19. Riddell S., Weedon E. Disabled students in higher education: Discourses of disability and the negotiation of identity // *International Journal of Educational Research*. 2014. № 63. P. 38–46.

20. Byrne B. Dis-Equality: Exploring the Juxtaposition of Disability and Equality // *Social Inclusion*. 2018. № 6. P. 9–17.

21. Бурдые П. Практический смысл. СПб. : Алтейя, 2001.

Elena R. Iarskaia-Smirnova, Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation).

E-mail: elena.iarskaia@gmail.com, eiarskaia@hse.ru

Valentina N. Yarskaya-Smirnova, Yuri Gagarin State Technical University of Saratov (Saratov, Russian Federation).

E-mail: jarskaja@mail.ru

Dmitry V. Zaitsev, Yuri Gagarin State Technical University of Saratov (Saratov, Russian Federation).

E-mail: dvzsaratov@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 51. pp. 167–177.

DOI: 10.17223/1998863X/51/17

STUDENTS WITH DISABILITIES AS AGENTS IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION: THE ROLE OF SOCIAL CAPITAL

Keywords: access; higher education; disability; field; social capital.

The article discusses the different types of capital of students with disabilities as agents in the field of higher education and analyzes the role of social capital in the transformation of practices in this field. The analysis is carried out on the basis of qualitative interviews conducted in five universities in Kazan, Novosibirsk, Samara, Saratov, Tomsk with students with motor, hearing, visual disabilities and with university professors with experience in admissions committees. A student with a disability enters a university as a pre-existing, given field. Universities can be conservative, inhibit change and impede students' attempts to engage and participate in decision-making in higher education policies. Barriers to education can arise among students because of the impossibility or their inability to voice their position. The types of capital students with disabilities have are formed by social networks, laid by the school and the family, determined by the level of training and the economic status. Even students from wealthy families have difficulties acquiring cultural capital, since they must overcome their habitus of disability in themselves and in the perception of others. In the process of accumulating social capital, they change the structure of interactions and the nature of social ties, as well as self-esteem, thereby acquiring a qualitatively new cultural capital. Higher education becomes a resource of social and cultural capital not only for students with disabilities, but also for all field agents. Friendship, student interactions, everyday communication of students with professors and staff lead to the habitualization of the characteristics of students with disabilities. The actions of these and other field agents, their individual practices will simultaneously reproduce and to some extent transform the field.

References

1. Salmi, J. (2018) *All around the world – Higher education equity policies across the globe*. Lumina Foundation. [Online] Available from: <https://worldaccesshe.com/wp-content/uploads/2018/11/All-around-the-world-Higher-education-equity-policies-across-the-globe-.pdf> (Accessed: 7th September 2019).

2. Yarskaya-Smirnova, E. & Romanov, P. (2005) Problema dostupnosti vysshego obrazovaniya dlya invalidov [The accessibility of higher education for disabled people]. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 10. pp. 48–56.

3. Russian Federation. (2017) *Decree No. 575 of the Government of the Russian Federation of May 17, 2017, On Amendments to Clause 3 of the Rules for posting on the official website of an educational organization in the information and telecommunication network "Internet" and updating information on an educational organization*. [Online] Available from: <http://www.consultant.ru/document/> (Accessed: 2nd September 2019). (In Russian).

4. Bogomolova, T. & Korzhuk, S. (2018) Vysshee obrazovanie dlya lyudey s invalidnost'yu v Rossii: na puti k inkluzivnomu formatu [Higher education for people with disabilities in Russia: on

the way to an inclusive format]. *Mir ekonomiki i upravleniya – World of economics and management*. 18(4). pp. 254–268.

5. Zaytsev, D. & Yarskaya, V. (2010) *Sotsial'naya politika sovremennoy Rossii: sotsiologicheskii analiz tendentsiy inkluzii* [Social policy of modern Russia: a sociological analysis of inclusion trends]. Saratov: Saratov State Technical University.

6. Ministry of Education and Science of the Russian Federation. (2019) *Vysshee obrazovanie: statistika* [Higher education: statistics]. [Online] Available from: <https://minobrnauki.gov.ru/ru/activity/statan/stat/highed> (Accessed: 10th September 2019).

7. Kurbangaleeva, E. & Veretennikov, D. (2017) Accessibility of Higher Education for Students with Disabilities. *Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie – Psychological Science and Education*. 22(1). pp. 169–180. (In Russian). DOI: 10.17759/pse.2017220119

8. Hartblay, C. (2017) Good Ramps, Bad Ramps: Centralized Design Standards and Disability Access in Urban Russian Infrastructure. *American Ethnologist*. 44. pp. 9–22. DOI: 10.1111/amet.12422

9. Kuznetsova, I. & Yasaveev, I. (2012) “Kazan' nedostupnaya”: otsutstvie bezbar'ernoy sredy, vyzovy obshchestvennosti i reaktsiya vlastey [“Inaccessible Kazan”: Absence of a barrier-free environment, public challenges, and the reaction of the authorities]. In: Yarskaya-Smirnova, E.R. & Sorokina, N.V. (eds) *Sotsial'nye rabotniki kak provodniki peremen* [Social Workers as Agents of Change]. Moscow: Variant, TsSPGI. pp. 151–165.

10. HRW.org. (2013) *HRW: Vezdesushchie pregrady. Otsutstvie dostupnosti dlya lyudey s invalidnost'yu v Rossii* [HRW: Ubiquitous obstacles. Lack of accessibility for people with disabilities in Russia]. [Online] Available from: <https://www.hrw.org/ru/report/2013/09/11/256465> (Accessed: 3rd September 2019).

11. Public Popular Front. (2019) *Dostupnaya sreda, 2019* [Accessible Environment]. [Online] Available from: https://onf.ru/category/social_sprav/dostupnaya-sreda/ (Accessed: 28th August 2019).

12. FGOSVO.ru. (2017) *Kompleksnyi vserossiyskiy monitoring dostupnosti vysshego professional'nogo obrazovaniya dlya invalidov i lits s OVZ* [Comprehensive all-Russian monitoring of the accessibility of higher education for people with disabilities]. [Online] Available from: <http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/95/Kurbangaleeva.pdf> (Accessed: 19th May 2019).

13. Booth, T. & Ainsko, M. (2007) *Pokazateli inkluzii* [Indicators of Inclusion]. Translated from English by I. Anikeev. Moscow: Perspektiva.

14. Lang, L. (2017) Responsibility and participation in transition to university – voices of young people with disabilities. *Scandinavian Journal of Disability Research*. 17(2). pp. 130–143. DOI: 10.1080/15017419.2013.817355

15. Bourdieu, P. (2002) Forms of Capital. *Ekonomicheskaya sotsiologiya – Economic Sociology*. 5. pp. 60–75.

16. Lane, L. (2017) Am I being heard? The ‘voice of’ students with disability in higher education: a literature review. *Göteborgs Universitet Högskolepedagogisk skriftserie*. 1. [Online] Available from: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/52566/2/gupea_2077_52566_2.pdf (Accessed: 9th September 2019).

17. Zbirovskaya, E. & Tarasenko, E. (2016) The Russian University Expertise. The Development of the Inclusive Educational Environment for the Disabled and Physically Handicapped Students. *Vestnik RGGU. Seriya Psikhologiya. Pedagogika. Obrazovanie – RSUH Bulletin. Psychology. Pedagogics. Education*. 4. pp. 33–41. (In Russian).

18. Kim, E. & Aquino, K. (eds) *Disability as Diversity in Higher Education: Policies and Practices to Enhance Student Success*. New York: Routledge.

19. Riddell, S. & Weedon, E. (2014) Disabled students in higher education: Discourses of disability and the negotiation of identity. *International Journal of Educational Research*. 63. pp. 38–46. DOI: 10.1016/j.ijer.2013.02.008

20. Byrne, B. (2018) Dis-Equality: Exploring the Juxtaposition of Disability and Equality. *Social Inclusion*. 6. pp. 9–17. DOI: 10.17645/si.v6i1.1161

21. Bourdieu, P. (2001) *Prakticheskiy smysl* [Practical Reason]. Translated from French. St. Petersburg: Aleteyya.

ПОЛИТОЛОГИЯ

УДК 32.019.51

DOI: 10.17223/1998863X/51/18

Е.А. Данилова

СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БРЕНДА РОССИИ В АСПЕКТЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ

Представлены концептуальные и технологические основы формирования стратегии национального брендинга на базе инновационных компетенций оборонно-промышленного комплекса РФ. Рассмотрена проблема отраслевого брендинга инноваций. Установлена диалектическая связь между формированием инновационной политики в российской оборонной отрасли и возможностью ее смыслового включения в конструирование стратегии национального брендинга.

Ключевые слова: глобальная конкурентоспособность, национальный брендинг, брендинг отраслевых инноваций, инновационная политика, оборонно-промышленный комплекс РФ.

Текущие и перспективные вызовы и угрозы современного миропорядка и усиливающиеся глобальная конкуренция и геополитическая нестабильность определяют необходимость формирования странами, претендующими на роль значимых международных акторов, конкурентоспособного национального бренда¹. Стратегия национального брендинга во внутренней политике коррелирует с задачами повышения уровня доверия населения к институтам власти и снижения транзакционных издержек в процессе политического управления. Эффективный национальный брендинг включает в себя значимые конкурентоспособные компетенции государства, а также соответствует перспективе стратегического развития страны за счет развития ключевых отраслей национальной промышленности, культуры, искусства, образования. На фоне наблюдаемого дефицита ценностных оснований для формирования основы единства российского общества в проекции ценностной консолидации национальный брендинг способствует росту патриотических настроений внутри страны и лояльности к существующим государственным институтам.

Во внешнеполитическом аспекте конструирование стратегии национального брендинга в условиях стремительно меняющегося глобального миропорядка связано с необходимостью ответа на глобальные вызовы, стоящие перед Россией в современном мире, в числе которых расширение НАТО на восток, геополитические амбиции США и их союзников, военно-политический кризис на Украине, нестабильная ситуация на Ближнем Восто-

¹ Под национальным брендом мы понимаем символический конструкт, создаваемый на основании ключевой ценностной идеи в виде комплекса уникальных характеристик государства; национальный брендинг является технологией его создания и развития.

ке и растущая угроза международного терроризма. Негативные политические тренды последних десятилетий остро ставят вопрос о геополитическом статусе России и обеспечении ее национальных интересов, национальной безопасности и обороноспособности, а непоследовательная коммуникационная политика в современных условиях оказывает влияние на результаты деятельности государства в параметрах внешней и внутренней политики.

Элементами структуры национального бренда могут выступать история страны, сильная армия, военная мощь государства, культура, искусство, российская наука, российский спорт. Символическая ценность этих аспектов позволяет использовать их в формировании стратегии национального брендинга России. По сравнению с либеральными настроениями в российском обществе в 1990-е гг. (в частности, поддержка населением мер по разоружению) в целом наблюдается тенденция к сохранению значимости оборонного потенциала страны, который может быть включен в стратегию формирования национального бренда.

Державные координаты российского массового сознания (72% россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), положительно оценивают позиции РФ на мировой арене, среди приоритетов глобальных целей наиболее часто называется вхождение в группу преуспевающих государств (45%) и возвращение статуса сверхдержавы (34%) [1]) следует рассматривать как возможное основание для конструирования национального бренда в аспекте субъектности России в общемировом пространстве. Текущий ситуативный тренд к снижению доли оценок нашей страны в качестве великой державы с сильной армией за последние два года, по данным соцопросов [2, 3], можно объяснить в том числе окончанием активной фазы военной операции России в Сирии, что лишь дополнительно подчеркивает необходимость системной коммуникационной политики в области национального брендинга, которая в текущих условиях может быть реализована, в частности, в области гражданского применения технологий двойного назначения.

Для завоевания конкурентоспособных позиций и необходимого сохранения национального научно-технологического суверенитета Россия не может оставаться в стороне от глобального тренда инновационной экономики. Национальный инновационный дискурс требует научного анализа на предмет возможностей и ограничений его включения в фундаментальную концепцию национального брендинга. Инновационность в составе российской экономики и политики способствует наполняемости национального бренда. Реализация инновационной политики инновационными предприятиями и вузами как ключевыми субъектами национального брендинга и диффузия инноваций в социальную и политическую сферы способствуют формированию национального бренда. Вместе с тем актуальна задача ментального преодоления существующего стереотипного негативного смысла инноватики за счет отраслевой конкретизации и коммуникационной репрезентации инноваций. В связи с этим важное значение приобретает исследование практической модели инновационного взаимодействия предприятий и вузов для иллюстрации прикладной значимости их участия в формировании национального бренда [4–6].

Выделение инновационных отраслей, имеющих символическую значимость для целевых аудиторий, и определение ключевых отраслевых иннова-

ционных акторов, входящих в «инновационные пояса», позволило бы включить их в концептуальную модель и практическую стратегию национального брендинга. Значимую роль в создании национального бренда может сыграть национальный оборонно-промышленный комплекс (ОПК), представляющий собой стратегическую и одну из наиболее инновационных отраслей национальной промышленности. Его эффективное развитие исторически обеспечивает основания для национальной гордости и мирового престижа, особенно на фоне глобальной тенденции к милитаризации экономики, которая наблюдается во многих странах мира, включая Россию. Кроме того, сравнительный анализ международного брендинга вооружений и военных организаций (например, НАТО, вооруженных сил ЕС), составляющих политическую конкуренцию для России, указывает на настоятельную необходимость формирования собственной национальной концепции брендинга оборонной отрасли [7].

Актуализация тематики оборонной отрасли в дискурсе высшего руководства страны формирует ее особое политическое значение, поскольку «на протяжении десятилетий успехи оборонно-промышленного комплекса являются национальной гордостью нашей страны» [8]. Знаковым поворотным внутри- и внешнеполитическим событием можно считать Послание Президента РФ Федеральному собранию 1 марта 2018 г. [9], в котором Президент РФ В. Путин объявил о высочайшем уровне оснащенности российской системы новейших вооружений, включая ядерное оружие, что гарантирует обеспечение национальной обороноспособности и сообщает международному сообществу о мощном геополитическом потенциале России, способствуя ее убедительному позиционированию. Роль и компетенции субъектов ОПК в развитии оборонной отрасли, изучение основных принципов формирования инновационной политики в оборонно-промышленном комплексе в логике модели «тройной спирали», обеспечивающей триединство государства, предприятий и вузов при условии их ключевой роли в формировании инновационной среды [10], обоснование значения оборонной отрасли для развития российской экономики, внутривнутриполитической стабилизации и поддержания высокого международного статуса позволяют установить диалектическую связь между инновационным развитием российского ОПК и стратегией национального брендинга в интересах укрепления субъектности России в геополитике. Инновационные научно-технологические прорывы в ОПК могут выступать информационными поводами в стратегии национального брендинга, однако требуется наращивание принципа системности¹.

Проблематика отраслевого брендинга инноваций и его методологическое включение в концепцию национального брендинга является актуальным и перспективным направлением исследования. Инновации в отечественном ОПК как предмет формируемой концепции национального брендинга с ожидаемым результатом в виде усиления внутривнутриполитической стабильности и глобального влияния имеют важное теоретическое и практическое значение [11].

¹ Несмотря на существующие политические дискуссии, среди отдельных успешных примеров можно выделить проведение Парадов Победы с демонстрацией инновационных российских вооружений, трансляции успешных пусков межбаллистических ракет «БУЛАВА», проведение показательных полетов во время авиасалона «МАКС» в г. Жуковском, Послание Президента РФ Федеральному собранию 1 марта 2018 г. с видеорядом современных разработок ОПК и т.д.

При этом научного осмысления и выработки соответствующих рекомендаций требует проблема сохранения баланса между усилением геополитической мощи и предотвращением глобальных конфликтов, развитием политического, экономического, научного и социально-культурного сотрудничества в многополярном мире.

Литература

1. *Россия – священная наша держава* // ВЦИОМ. 2019. Вып. № 3965. URL: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9709 №3981> (дата обращения: 22.07.2019).
2. *Россия – великая держава* // ВЦИОМ. 2018. Вып. № 3664. URL: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9106> (дата обращения: 22.07.2019).
3. *Армия и общество : мониторинг* // ВЦИОМ. 2017. Вып. № 3547. URL: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116619> (дата обращения: 22.07.2019).
4. Данилова Е.А., Теплова И.Г. Управление инновационной деятельностью предприятий ОПК как механизм государственного позиционирования Российской Федерации (на примере ОАО ФНПЦ «Алтай») // Власть. 2015. № 3. С. 42–47.
5. Данилова Е.А., Бабкина О.В. Модель имиджевого позиционирования российского инновационного вуза (на примере Национального исследовательского Томского государственного университета) // Власть. 2015. № 7. С. 14–23.
6. Данилова Е.А., Теплова И.Г. Кластерный подход в развитии российского ОПК как инструмент национального брендинга (на примере оборонного кластера г. Бийска) // Власть. 2016. № 4. С. 35–45.
7. Данилова Е.А. Сравнительный анализ международного брендинга вооруженных сил и российский национальный брендинг инноваций в оборонно-промышленном комплексе как ответ на глобальные вызовы современности // Власть. 2017. № 7. С. 92–107.
8. Вручение медалей «Герой Труда Российской Федерации». 30 апреля 2016 года // Президент РФ. URL: <http://special.kremlin.ru/events/president/news/51830> (дата обращения: 20.02.2018).
9. Послание Президента РФ Федеральному собранию 1 марта 2018 г. // Президент РФ. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957> (дата обращения: 02.03.2018).
10. Ицковиц Г. Тройная спираль. Университеты – предприятия – государство. Инновации в действии. Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем управления и радиоэлектроники, 2010. 238 с.
11. Данилова Е.А. Концептуальная модель формирования стратегии национального брендинга Российской Федерации // Вопросы политологии. 2016. № 3 (23). С. 203–212.

Elena A. Danilova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: Elena.a.danilova@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 51. pp. 178–182.

DOI: 10.17223/1998863X/51/18

THE STRATEGY OF THE RUSSIAN NATIONAL BRAND FORMATION IN THE ASPECT OF THE INNOVATION POTENTIAL OF THE DEFENSE INDUSTRY COMPLEX OF THE RUSSIAN FEDERATION

Keywords: global competitiveness; national branding; industry innovation branding; innovation policy; defense industry of the Russian Federation.

The article is devoted to the study of the conceptual and technological foundations of the development of a national branding strategy based on the innovative competencies of the defense industry complex. It has been determined that the strategy of national branding in the domestic policy is correlated with the task of increasing public confidence in the institutions of government and reducing transaction costs in the process of political management. It is noted that in the foreign policy aspect, the design of the national branding strategy in the context of the rapidly changing global world order is connected with the need to respond to the global challenges Russia is facing in the modern world. It is revealed that effective national branding includes significant competitive competences of the state through the development of key sectors of national industry, culture, art, education. Innovations in the composition of the Russian economy and politics contributes to the fullness of the national brand. The implementation of the innovation policy by innovative enterprises and universities as key subjects of national branding and the diffusion of innovations in the social and political spheres contribute to the

formation of the national brand. The article shows that the innovation activity of the military-industrial complex can be a subject field in the design of the national branding strategy. Innovative enterprises, universities and research institutions of the military-industrial complex, assuming their effective activity and its communicative representation, form territorial brands. The “innovation belts”, which are formed with the participation of innovative subjects of the defense industry ensuring the security of the state, promote territorial and national branding. The communication strategy is aimed at supporting the innovation policy in the military-industrial complex and its representation in relation to target groups. It is concluded that, ultimately, effective national branding is aimed at strengthening the global competitiveness of the state, its international political influence and domestic political stability.

References

1. Russian Public Opinion Research Centre. (2019) *Rossiya – svyashchennaya nasha derzhava* [Russia is our sacred power]. [Online] Available from: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9709№3981> (Accessed: 22nd July 2019).
2. Russian Public Opinion Research Centre. (2018) *Rossiya – velikaya derzhava* [Russia is a great power]. [Online] Available from: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9106> (Accessed: 22nd July 2019).
3. Russian Public Opinion Research Centre. (2017) *Armiya i obshchestvo: monitoring* [Army and society: monitoring]. [Online] Available from: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116619> (Accessed: 22nd July 2019).
4. Danilova, E.A. & Teplova, I.G. (2015) Management of the Innovation Activities of the Defense Industry Enterprises as a Mechanism for the State Positioning of the Russian Federation. *Vlast'*. 3. pp. 42–47. (In Russian).
5. Danilova, E.A. & Babkina, O.V. (2015) The Image Positioning Model of an Innovation University in Russia. *Vlast'*. 7. pp. 14–23. (In Russian).
6. Danilova, E.A. & Teplova, I.G. (2016) Cluster Approach in the Russian Defense Industry Development as a Tool of National Branding. *Vlast'*. 4. pp. 35–45. (In Russian).
7. Danilova, E.A. (2017) Comparative Analysis of the International Armed Forces Branding and Russian National Branding of Innovations in the Defense Industry as a Response to the Global Challenges of Our Time. *Vlast'*. 7. pp. 92–107. (In Russian).
8. President of the Russian Federation. (2016) *Vruchenie medaley “Geroy Truda Rossiyskoy Federatsii”*. 30 aprelya 2016 goda [Awarding the medals “Hero of Labour of the Russian Federation”. April 30, 2016]. [Online] Available from: <http://special.kremlin.ru/events/president/news/51830> (Accessed: 20th February 2018).
9. President of the Russian Federation. (2018) *Poslanie Prezidenta RF Federal'nomu sobraniyu 1 marta 2018 g.* [Address of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly on March 1, 2018]. [Online] Available from: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957> (Accessed: 2nd March 2018).
10. Itskowitz, G. (2010) *Troynaya spiral'. Universitety – predpriyatiya – gosudarstvo. Innovatsii v deystvii* [Triple Helix. Universities – enterprises – state. Innovation in action]. Tomsk: Tomsk State University of Control Systems and Radio Electronics.
11. Danilova, E.A. (2016) Conceptual Model of Russian Federation National Branding Strategy Forming. *Voprosy politologii – Political Science Issues*. 3(23). pp. 203–212. (In Russian).

УДК 32(329.3)

DOI: 10.17223/1998863X/51/19

О.С. Пустошинская

ДЖИХАДИСТСКИЙ ТЕРРОРИЗМ КАК КОНТРВЛАСТЬ: ЭКСПЛИКАЦИЯ В ЛОГИКЕ КОММУНИКАТИВНО-СЕТЕВОЙ КОНЦЕПЦИИ М. КАСТЕЛЬСА

Представлен авторский взгляд на проблему осмысления терроризма. Внимание акцентируется на джихадистском типе. Обосновывается актуальность прогрессивной эвристики, работающей на подкрепление знания об объекте исследования. Предлагается рассматривать его, основываясь на коммуникативно-сетевой концепции М. Кастельса. Правомерность подхода аргументируется путем обращения к соответствующей практике, отраженной в отчетах международных организаций, аналитических центров, материалах СМИ.

Ключевые слова: *контрвласть, террористические сети, насилие, дискурс.*

Проблема терроризма относится к разряду ключевых, вызывающих беспрецедентное внимание государственных и общественных структур, а также активацию исследовательской рефлексии. Логика выбора фокуса в данном случае очевидна: запускаются механизмы самозащиты при гиперугрозе институциональному порядку и безопасному существованию людей.

Причинность иного свойства лежит в плоскости интеллектуального производства. Эвристическая ценность любого концептуального решения имеет краткосрочную перспективу в ситуации непредсказуемости террористических проявлений, их подчиненности алгоритму самосовершенствования. Отсюда приближенный к действительности характер когнитивных построений, потребность в обновлении оптики анализа и прогноза.

В попытке найти ответы, способствующие снижению и нейтрализации остроты обозначенной проблематики, есть смысл апеллировать к идеям М. Кастельса, чья коммуникативная теория обладает прогрессивным компонентом. Воззрения автора, резонируя с динамикой современности, переопределяют ориентир интеллектуального поиска, замыкая взгляд на цифровой и сетевой специфике эволюции терроризма. Кроме того, новый формат позволяет углубить представления о феномене и рассмотреть его как самоорганизующуюся систему контрвласти.

Следуя данной логике, маркированию подлежит ряд положений теории [1. С. 66, 68; 2. С. 776]:

- в условиях сжатия времени и пространства появляются новые формы господства при утрате государствами монополии на доминирование;
- власть концентрируется вокруг сетей, которые обуславливают ее производство, капитализацию авторитета либо ослабление до минимума легитимности;
- действия системных агентов и сетевых акторов, представляющих власть и контрвласть, подчинены общей логике – источниками господства

остаются «...насилие и дискурс, принуждение и убеждение, политическое доминирование и культурное фреймирование...» [1. С. 68];

– контроль над коммуникативным и ценностно-смысловым полями достигается посредством перепрограммирования сетей, а также блокировки и перенастройки межсетевых переключателей.

Упорядочивая интерпретационный процесс согласно выбранной концептуальной схеме, следует остановиться на двух наблюдаемых ипостасях современного терроризма, которые позволяют развернуть понимание феномена, возвысив его до положения контрвласти.

Первая обнаруживает себя на поверхности восприятия при демонстрации факта обладания метакапиталом. Это означает накопление в террористической среде мощи, позволяющей ее субъектам воплощать претензию на автономию воли и замещение легализованного порядка контрастирующей моделью социально-политической организации.

Явное свидетельство того, что терроризм завоевывает новые позиции в пространстве властных отношений, улавливается в официальном реагировании. В июне 2017 г. учреждено Контртеррористическое управление ООН, призванное усилить роль организации в деле борьбы с терроризмом, и принята новая «Глобальная контртеррористическая стратегия», направленная на оптимизацию международного сотрудничества, достижение согласованности в действиях правительств, а также оказание помощи странам, нуждающимся в поддержке мирового сообщества [3].

Тезис справедлив и в отношении последствий деструктивной деятельности, связанных с диктатом ритма общественной жизни и индуцированием социетальных, политико-правовых, финансово-экономических и иных трансформаций.

К примеру, внесение элементов хаоса и страха в благополучный западный мир привело к пересмотру миграционного и антитеррористического законодательства в сторону ужесточения, расширению полномочий надзорных, правоохранительных и репрессивных органов [4. С. 2–3]. Реакция предупредительной враждебности актуализировала проблему конфликта культур, спровоцировала усиление напряженности между диаспорами и абсорбирующими социумами. Рост ксенофобных настроений вылился в укрепление позиций партий правого толка [5].

С другой стороны, в ситуации структурных ограничений, некомфортного климата среды сформировался тренд на расширение лояльной террористам социальной ниши. В 2015–2017 гг. более 28 тыс. человек из 50 стран мира присоединились к ДАИШ. Среди причин их мотивации экспертами установлены: низкий уровень доверия к государственным учреждениям, проблемы профессиональной мобильности и благосостояния, нереализованное чувство групповой идентичности и разделения ценностей, ощущение дискриминации по признаку принадлежности к иному культурному пласту [6].

Присутствие в политической повестке дня проблемы оптимизации антитеррористической борьбы стимулировало появление высокотехнологичного рынка, где безопасность превратилась в продукт интенсивных продаж. Доходные производства связаны с выпуском механизмов определения взрывоопасных веществ, мониторинга людских потоков, транспорта, перевозки гру-

зов. Государства инвестируют миллиарды долларов в год в кибербезопасность [7, 8].

Обратный эффект развития кибериндустрии – угроза приближения террористов к компьютеризированным системам национальной безопасности и цифрового управления критическими объектами инфраструктуры, финансового сектора. Вызовом для мирового сообщества стало появление Dark Web и разработка специальных программ I2P, Tor или Tor2web, что расширило пространство для подпольной деятельности [7, 8].

Подтверждения узурпации террористическими организациями политических прерогатив видятся также в приватизации ими управленческих функций, среди которых:

- контроль над совокупностью ресурсов на захваченных территориях;
- утверждение субординации, предписывающей политические и социальные роли;
- установление правил поведения дисциплинирующего и направляющего характера;
- мобилизация лиц для осуществления военных операций и деструктивных акций.

Так, практика ХАМАС, «Хизбаллы», «Талибана» дает примеры конкуренции формирований с правительствами по отправлению административных функций, проведению фискальной политики, организации социально-экономической жизни населения [6, 10].

Осмыслить риск материализации террористической версии этатического строительства представляется возможным при обращении к деятельности ДАИШ. Среди достижений данной организации – попытка реализации архаичного проекта исламской государственности в границах экспансированных регионов Сирии и Ирака со столицей в городе Ракка. Военно-теократический режим показал себя способным не только присваивать общественное пространство, но и преодолевать эрозию порядка, в короткий срок выстроив жесткую субординированную структуру во главе с халифом и аппаратом управления и реанимировав функциональность сфер, определяющих удовлетворительное существование социального организма [10].

Второе сущностное проявление терроризма заключается в его состоятельности как системы отношений, которая, несмотря на сложность и дисперсность, создает кооперационную власть диверсифицированного негосударственного насилия. Структурно имеет место полнографная сеть, конструируемая множеством транзакций неэквивалентного интерперсонального и межгруппового уровня, неравнозначной плотности, гетерогенной специализации, вертикального и горизонтального построения.

Иерархический сегмент, характерный для организующего центра и аффилированной с ним совокупности региональных формирований, дополняется экстерриториальной индивидуальной и микроколлективной автономностью сетевого рынка, вариантами наложения и пересечения устоявшихся личных off- и online-контактов, опосредованного через третьих лиц дискретного общения. Диалектика отношений отличается конвергенцией параллельно развивающихся процессов: интернационализации и локализации коммуницирования.

Распределение влияния внутри организационного сегмента системы задается комбинацией коррелятов. Значение имеют статус субъектов, размер располагаемых ими капиталов, согласованность целей, мера эквивалентности обменов и др. Участники развернуты одновременно к эндо- и экзо-взаимодействиям, которые распадаются на типы: сотрудничество и конфронтацию, слияние и дистанцирование, единение и соперничество, консенсус или диссенсус. Под влиянием изменяющихся условий осуществляется перетекание одного типа в другой.

Так, версию возобновляемого конфликта демонстрируют подразделения «Талибана», находящиеся в состоянии конкуренции за контроль над маковыми плантациями и лабораториями по производству героина. В 2014–2015 гг. часть движения была кооптирована ДАИШ, другая при лояльности ключевому игроку сохранила самостоятельность. Не вописалась в процесс солидаризации ситуация на востоке Афганистана, где в 2015 г. активизировались столкновения между игиловцами и талибами, стремящимися противостоять ущемлению их господства. В то же время на севере страны обозначилась тенденция к усилению взаимодействия группировок, представляющих ДАИШ, «Аль-Каиду» и «Талибан» [9].

Пример фракционного раскола с последующей идентификацией с внешними акторами дает опыт нигерийского формирования «Боко Харам». В 2016 г. структура распалась на три части: автономную, аффилированную с ДАИШ и примкнувшую к «Аль-Каиде» [6].

Очевидно, что конфигурация отношений зависимости не является стабильной. Обновление осуществляется с появлением сильнейшего участника, способного стать держателем авторитета, оказывать поддержку мелким группировкам, формировать сети, генерировать метапрограмму.

При внутренних противоречиях, а также агрессивном внешнем воздействии система демонстрирует способность к сохранению жизнестойкости за счет фрагментации и текучести элементов, пластичности соединений. В ситуации повышенной уязвимости ядро и узлы сети мимикрируют, растекаясь в объеме импловивной ячеистой периферии. При благоприятных обстоятельствах осуществляются реверс к группировке разрозненных единиц, их передислокация и заявление о себе в новом качестве. Это можно проследить, возвращаясь к практике «Аль-Каиды».

Отражением пространственной организации ее клонированного представительства служат возобновляемые в официальных отчетах и литературе упоминания об активности узловых единиц и модуса субъектности микроуровня, рассеянной в космополитической среде стран мира. Потеря формированием в начале 2000-х гг. монолитности, вызванная военным давлением США и его союзников, в настоящее время отвечает задачам превентивной защиты террористов.

В частности, воздействие на разбалансировку политической ситуации на Аравийском полуострове оказывает отделение «Аль-Каиды», базирующееся в Йемене. «Аль-Каида в исламском Магрибе» несет ответственность за нападения в зоне Сахеля и Северной Африки. «Аль-Каида на Индийском субконтиненте» действует в Афганистане, Бангладеш, Индии и Пакистане. Ареал деструктивности «аль-Шабаб» охватывает Кению и Сомали. В Сирии заре-

комендовал себя «Джебхат ан-Нусра», дистанцировавшийся от управленческой структуры [6].

Прецедент организационного воспроизводства – метаморфоза «Аль-Каиды в Месопотамии», послужившей основой для формирования ДАИШ. Экспертами прогнозируется, что ослабление организации не воспрепятствует горизонтальному рассредоточению ее боевиков [8, 9]. Называется свыше 30 государств, в которых членами ДАИШ созданы ячейки резидентуры в соответствии с логикой диверсификации рисков [6].

Справиться с проблемой выпадения звеньев в сети позволяет также механизм общинно-идентификационного восполнения. Вызов политическим режимам бросают автохтонные образования. Вырабатывая локальный мобилизационный потенциал и сосредоточиваясь на местном контексте, они множественной активностью способствуют центростремительности усилий по укоренению идеи, отсылающей к универсализации исламского цивилизационного кода в качестве привилегированного.

Так, в России известность получил «Имарат Кавказ» [11], в Великобритании – «аль-Мухаджирун», в Пакистане – «Лашкар-и-Джангви», в Индии – «Лашкар-э-Тайба» и «Хизбул-моджахеды». В Йемене действует «Ансар Аллаха», на Филиппинах – «Ансар аль-Хилафа» [6, 12]. В Кыргызстане активно проявило себя «Исламское движение восточного Туркестана», в Узбекистане – «Джамаат Имам Бухари» [9].

Наконец, на подкрепление функциональности системы срабатывает пассивность террористов-одиночек. Руководствуясь нарративом «джихада», они действуют как суверенные акторы, самостоятельно устанавливая мишени атак и способы их реализации.

К данному кластеру относится преступление, совершенное в 2013 г. братьями Царнаевыми, которые активировали взрывные устройства во время Бостонского марафона. ФБР указало, что нападавшие, мотивированные экстремистскими взглядами, не были связаны с террористической сетью [13]. Аналогичную квалификацию получили действия О. Матина, устроившего стрельбу в клубе «Pulse» в 2016 г. в г. Орlando штата Флорида [14].

Способность анализируемой системы отношений к самокопированию и масштабированию позволяют джихадистскому терроризму распространяться в параметрах общепланетарного охвата. На сегодняшний день его география включает кластер субрегионов: Восточное Средиземноморье; Аравию; Средний Восток; Южную, Юго-Восточную, Центральную Азию; Северную, Центральную, Восточную Африку; Западный Судан. Процесс расширения карты мест, где разворачивается деятельность по усилению присутствия, продолжается в направлении Кавказа, Европы, Северной Америки, Австралии.

Факт террористических приобретений в плане органической солидарности вступает в противоречие с гуманным человеческим началом. Объяснение видится в результативности дискурсивных практик, призванных перепрограммировать целевые аудитории в соответствии со сконструированной богословами радикальных течений ислама парадигмой.

Благодаря усердию коммутаторов в лице проповедников и представителей инстанций, специализирующихся на выработке смыслов, культивировании принципов миропонимания и поведенческой регуляции, а также сетевых акторов, вмешивающихся в процесс настройки ментальных структур в ходе

коммуницирования, достигается приемлемость контрлегитимности в средах, разделяющих ее содержание.

Переключателями, с помощью которых осуществляется перезагрузка когнитивных и духовно-нравственных программ личности, выступают два вида производств: нормативно-религиозное, исходящее от функций регламентирующего, социализирующего и надзорного свойства, и культурное, содержание знаково-символических комплексов которого наделяется сакральными значениями и натурализуется возвращением к архетипу традиций шариата и адата.

При этом задействуется палитра дискурсов и развиваются вербальные и невербальные типы. Режим бескодового дискриптивного, а также коннотативного и манифестного означивания выстраивается в бинарном ключе оппозиций.

Разоблачения немусульманской цивилизационной динамики проводятся посредством корреляции с социальными антагонизмами. Выбираются ассоциаты, связанные с проявлениями неэгалитарности, маргинализации, культурного отчуждения, падения нравов. Стереотипизируется образ врага, представленный зависимыми правительствами исламских стран, интервенционистски ориентированными державами, неугодными политиками и духовными лидерами, служащими силовых структур [15].

В тезаурус самопозиционирования вводятся элементы демонстрации собственной автономии воли и социальной ответственности, реабилитируется джихад, репрезентируемый в категориях священного долга, героизируются моджахеды и шахиды как воинство, выступающее на стороне угнетаемых групп. В этику дискурса включаются понятия религиозной чистоты, традиционных устоев, социальной справедливости, семейных ценностей [12].

Применяется дифференцированный подход к процессу воздействия на разные объекты, разводятся методы персуазивного влияния.

В случае с истинно верующими превалируют простые схемы: неприкрытое анонсирование заявки на избранность, резкость обвинений в адрес антимира, запугивание в части, касающейся не присоединяющейся внутренней аудитории, цинизм в призывах реализации миссии без оглядки на средства. Например, для артикуляции месседжа с экстремистскими смыслами используются нашид – песнопение в хоровом и сольном исполнении, и дуа – молитва, квинтэссенцией которой является личная просьба. В канонические тексты вводятся повествования об успехах террористов, обращения с требованием уничтожить кафилов и их приспешников [9].

При реагировании на потенциал вербовки примат отдается тонким решениям. Риторика смягчается, нигилизм и презрение к инаковости уступают место мистификации, провокации, эксплуатации утилитарными мотивами. В Интернете выставляются стенограммы проповедей, проводятся беседы в чатах, видеоконференции и форумы. Вклад в изменение концептосферы вносят видеоигры, моделирующие теракты в расчете на эффект радикализации сознания реципиентов [9, 12, 15].

В отношении чужеродной социальной массы, отторгающей терроризм, и противостоящего истеблишмента логика дискурса выхолащивается до пределов насаждения страха и диктата ультиматумов. Восходящим трендом становятся трансляции массовых убийств и казней, оформляемых в стилистике

театрализованного спектакля [12]. Согласуется с полиморфизмом интерфейса деятельность «Объединенной киберармии». Альянс выставляет плакаты и видеоролики в Twitter и Telegram с угрозами Западу, публикует списки объектов для физического уничтожения. Так, в перечень 2017 г. было включено 8 786 имен военнослужащих и гражданских лиц из США и Великобритании [7].

Таким образом, оперирование положениями теории М. Кастельса способствует обогащению научной традиции, в рамках которой исследуется и эксплицируется терроризм, в том числе радикально-исламского типа. Обновленный подход открывает перспективы для рассмотрения проблематики под иным углом зрения и дает начало видению феномена как контрвласти.

В целом это корреспондирует актуальным трендам современности. В условиях цифровизации и сетевизации общества террористические сообщества получают возможность добиваться успехов в претензии на оспаривание институционально оформленного доминирования, используя ключевые источники диктата воли: насилие и авторитет. В последнем случае речь идет о господстве над сознанием и поведением людей, достигаемом путем задействования доступных каналов и инструментов психологического и мировоззренческого воздействия.

С опорой на комбинацию коерсивного и дискурсивно-суггестивного принуждения обеспечивается влияние на различные сегменты систем, провоцируя в них изменения и сдвиги в траектории динамики, а также контроль над частью территорий и социального пространства. В логике расширения и укрепления террористической солидарности реализуется политика культурной перекодировки, включая компоненты морали, ценностного ориентирования, образа жизни и самоидентификации.

Литература

1. Кастельс М. Власть коммуникации. М. : ИД Высшей школы экономики, 2016. 564 с.
2. Castells M. A Network Theory of Power // International Journal of Communication. 2011. Vol. 5, № 1. P. 773–787.
3. Отчет Генеральной Ассамблеи ООН A/71/PV.93 от 28 июля 2017 г. // Организация Объединенных Наций. URL: <http://webtv.un.org/en/ga/watch/Генеральная-ассамблея-93-е-пленарное-заседание-71-я-сессия.5524642286001> (дата обращения: 17.06.2018).
4. Потемкина О. Усиление угрозы терроризма в Европе и ответ ЕС // Аналитическая записка. 2016. № 9. С. 1–6.
5. Арбатова Н.К., Андреева Т.Н., Васильев В.И. и др. Феномен правого и левого популизма в странах ЕС : аналитический доклад ОЕПИ // ИМЭМО РАН. URL: <http://www.institute-ofeurope.ru/images/uploads/doklad/335.pdf> (дата обращения: 15.06.2018).
6. Global Terrorism Index, 2017 // Institute for Economics and Peace. URL: <http://globalterrorismindex.org> (accessed: 14.06.2018).
7. 2017 Cyber Risk Landscape // Cambridge Judge Business School. URL: https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/risk/downloads/crs-rms-cyber-risk-landscape-2017.pdf (accessed: 17.06.2018).
8. Dark Web: Congressional Research Service Report by K. Finklea, March 2017 // Federation of American Scientists. URL: <https://fas.org/sgp/crs/misc/R44101.pdf> (accessed: 18.06.2018).
9. Угроза международного терроризма и религиозного экстремизма государствам-членам ОДКБ на центрально-азиатском и афганском направлениях : аналитический доклад Аналитической ассоциации ОДКБ и Института международных исследований МГИМО МИД России, 2017 г. // Институт международных исследований МГИМО МИД России. URL: http://imi-mgimo.ru/images/pdf/analiticheskie_doklady/igil.pdf (дата обращения: 14.06.2018).
10. Исламское государство: феномен, эволюция, перспективы : аналитический доклад Института международных исследований МГИМО МИД России, январь 2016 // МГИМО МИД

России. URL: [https://mgimo.ru/upload/2016/01/an-doc-1\(45\)_2016.pdf](https://mgimo.ru/upload/2016/01/an-doc-1(45)_2016.pdf) (дата обращения: 14.06.2018).

11. *Исламское государство: сущность и противостояние* : аналитический доклад // Кавказский геополитический клуб. URL: <http://kavkazgeoclub.ru/sites/default/files/pdfpreview/dokladig-final.pdf> (дата обращения: 15.06.2018).

12. Доклад Генерального секретаря об угрозе для международного мира и безопасности, которую создает ИГИЛ (ДАИШ), и о масштабах усилий ООН по оказанию поддержки государствам-членам в борьбе с этой угрозой S/2016/92 от 29 января 2016 // Организация Объединенных Наций. URL: <http://undocs.org/ru/S/2016/92> (дата обращения: 17.06.2018).

13. Теракт на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 г. // РИА новости: сетевое издание. URL: <https://ria.ru/spravka/20150415/1058333699.html> (дата обращения: 17.06.2018).

14. Расследование бойни в ночном клубе в Орландо. Хроника событий // ТАСС : сетевое издание. URL: <http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3359349> (дата обращения: 17.06.2018).

15. *Cyber-Terrorism Activities: Report 16, January-March 2016* // International Institute for Counter-Terrorism. URL: <https://www.ict.org.il/UserFiles/ICT-Cyber-Review-16.pdf> (accessed: 15.06.2018).

Olga S. Pustoshinskaya, Tyumen State University (Tyumen, Russian Federation).

E-mail: pustoshinskayaolga@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 51. pp. 183–191.

DOI: 10.17223/1998863X/51/19

JIHADIST TERRORISM AS A COUNTER-POWER: EXPLICATION IN THE LOGIC OF MANUEL CASTELLS' COMMUNICATION NETWORK CONCEPT

Keywords: counter-power; terrorist networks; violence, discourse.

Taking into account the risk potential and the destructiveness of terrorism, as well as the factor of its progressive development, the task of an intellectual reflection on enhancing knowledge about the phenomenon acquires scientific significance. The issue is especially relevant for terrorism of a jihadist type, demonstrating a transition from a regime of dispersed local and sporadically manifested cases of dictate of will to a level of permanent geopolitical influence. The aim of the article is to verify the hypothesis of the possibility of explication of jihadist terrorism as a counter-power. The methodological guideline for the study was the provisions of Manuel Castells's communication network concept resonating with the network and digital dynamics of the present. To substantiate the assumptions and conclusions, the author of the article appeals to sources of information concerning the most important aspects of terrorism: reports and accounts of the UN, the Collective Security Treaty Organization, analytical data of foreign and Russian expert communities, research centers and institutions, and media materials. Valuable material was also received from research articles on the topics under study. The article includes several logically interconnected parts. At the beginning of the text, the need for the evolution of a heuristic that works to reinforce the existing theoretical ideas about the object of study is problematized. Attention is focused on Castells's views relevant in terms of their applicability to the present analysis. Further, the essential manifestations of jihadist terrorism are indicated that show that this type of terrorism acquired the status of a counter-power. Based on the factual material, the idea is proved that the terrorist community is building a meta-capital and becoming a political counteragent that influences the global and regional processes, forms networks and acts as a trans-communicative center for radical consolidation and integration. By organically complementing the tactics of direct violence with discourse practices, terrorists reprogram the consciousness of recipients, which determines the multiplication of the nongovernmental component in different societies. Finally, a conclusion is drawn on the transformation of jihadist terrorism toward asserting itself as a force challenging the dominance of the institutionally organized order.

References

1. Castells, M. (2016) *Vlast' kommunikatsii* [Communication. Power]. Translated from English by N. Tylevich. Moscow: HSE.
2. Castells, M. (2011) Network Theory of Power. *International Journal of Communication*. 5. pp. 773–787.
3. UNO. (2017) *Otchet General'noy Assamblei OON A/71/PV.93 ot 28 iyulya 2017 g.* [General Assembly Report A/71/PV.93. July 28, 2017]. [Online] Available from: <http://webtv.un.org/en/ga/>

watch/Генеральная-ассамблея-93-е-пленарное-заседание-71-я-сессия.5524642286001 (Accessed: 17th June 2018).

4. Potemkina, O. (2016) Usilenie ugrozy terrorizma v Evrope i otvet ES [Strengthening the threat of terrorism in Europe and the EU response]. *Analiticheskaya zapiska*. 9. pp. 1–6.

5. Arbatova, N.K., Andreeva, T.N., Vasiliev, V.I. et al. (2016) *Fenomen pravogo i levogo populizma v stranakh ES: Analiticheskiy doklad OEPI* [The phenomenon of right and left populism in the EU countries. Analytical report of the OEPI]. [Online] Available from: https://www.imemo.ru/files/File/ru/materials/Fenomen_doklad.pdf (Accessed: 15th June 2018).

6. Institute for Economics and Peace. (2017) *Global Terrorism Index*. [Online] Available from: <http://globalterrorismindex.org> (Accessed: 14th June 2018).

7. Cambridge Judge Business School. (2017) *2017 Cyber Risk Landscape*. [Online] Available from: https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/risk/downloads/crs-rms-cyber-risk-landscape-2017.pdf. (Accessed: 17th June 2018).

8. Federation of American Scientists. (2017) *Dark Web: Congressional Research Service Report by K. Finklea*. [Online] Available from: <https://fas.org/sgp/crs/misc/R44101.pdf>. (Accessed: 17th June 2018).

9. ODKB & MGIMO University. (2017) *Ugroza mezhdunarodnogo terrorizma i religioznogo ekstremizma gosudarstvam-chlenam ODKB na tsentral'no-aziatskom i afganskom napravleniyakh* [The Threat of International Terrorism and Religious Extremism to the ODKB Member States in the Central Asian and Afghan Directions]. [Online] Available from: http://imi-mgimo.ru/images/pdf/analiticheskie_doklady/igil.pdf. (Accessed: 14th June 2018).

10. MGIMO University. (2016) *Islamskoe gosudarstvo: fenomen, evolyutsiya, perspektivy* [Islamic State: Phenomenon, Evolution, Prospects. Report]. [Online] Available from: [https://mgimo.ru/upload/2016/01/an-doc-1\(45\)_2016.pdf](https://mgimo.ru/upload/2016/01/an-doc-1(45)_2016.pdf). (Accessed: 14th June 2018).

11. Kavkazgeoclub. (2015) *Islamskoe gosudarstvo: sushchnost' i protivostoyaniye* [Islamic state: essence and opposition]. [Online] Available from: [http://kavkazgeoclub.ru/sites/default/files/pdfpreview/dokladig-final.pdf_\(Accessed: 15th June 2018\).](http://kavkazgeoclub.ru/sites/default/files/pdfpreview/dokladig-final.pdf_(Accessed: 15th June 2018).)

12. UNO. (2016) *Report of the Secretary-General on the threat to international peace and security posed by ISIS (Daesh) and on the extent of UN efforts to support Member States in combating this threat S / 2016/92 of January 29, 2016*. [Online] Available from: <http://undocs.org/ru/S/2016/92>. (Accessed: 15th June 2018).

13. RIA. (2015) *Terakt na Bostonskom marafone 15 aprelya 2013 g.* [Terrorist attack at the Boston Marathon. April 15, 2013]. [Online] Available from: <https://ria.ru/spravka/20150415/1058333699.html> (Accessed: 17th June 2018).

14. TASS. (2016) *Rassledovanie boyni v nochnom klube v Orlando. Khronika sobytij*. [Investigation of the massacre at the nightclub in Orlando. The chronicle of events]. [Online] Available from: <http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3359349>. (Accessed: 17th June 2018).

15. International Institute for Counter-Terrorism. (2016) *Cyber-Terrorism Activities: Report*. [Online] Available from: <https://www.ict.org.il/UserFiles/ICT-Cyber-Review-16.pdf>. (Accessed: 15th June 2018).

УДК 329.78

DOI: 10.17223/1998863X/51/20

Я.Ю. Шашкова, С.Ю. Асеев, Т.А. Асеева, Д.А. Казанцев

ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФОРМ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)¹

На материалах Алтайского края и Новосибирской области оценивается современное состояние молодежных политических организаций и молодежных парламентов, их потенциал по вовлечению молодежи в политику в конвенциональных формах. Особое внимание уделено организационным характеристикам и основным направлениям деятельности молодежных политических структур, их позициям в когнитивном пространстве молодежи регионов.

Ключевые слова: молодежь, Россия, молодежные политические организации, молодежные парламенты, политическая активность молодежи.

В последние годы значительная часть российской молодежи выступает активным участником уличных протестов или выражает им поддержку в онлайн-пространстве. В связи с этим в научном сообществе ведется дискуссия о причинах и факторах данного тренда, ставится вопрос о способности или неспособности существующих институциональных форм политической активности выразить интересы молодежи и канализировать участие молодых людей в конвенциональные границы.

Анализ имеющейся научной литературы по данной проблеме показывает приоритет в ней проблематики молодежного парламентаризма. Большинство имеющихся публикаций выполнены на региональных кейсах (см., напр.: [1, 2]), но с постановкой общих вопросов о повышении роли молодежных парламентов (МП) в региональном политическом процессе [3], приоритетах их деятельности в современных условиях, региональных проблемах функционирования [4–7], в том числе и в аспекте политической социализации и повышения политической активности молодежи [8–9].

На этом фоне гораздо меньше внимания уделяется молодежным политическим организациям (МПО) как другой институционализированной форме политического участия молодежи. Исторические аспекты формирования МПО в России и их типология рассматривались А.С. Сафоновой, С.И. Пелевиным, С.А. Мосоликовым, В.А. Емельяновым, А.А. Митиным и др. [10–14]. Особенности их функционирования и воздействия на политическую активность молодежи в современных условиях затрагивались в статьях С.Н. Чируна, Е.С. Лисицы, А.С. Константиновой и др. [15, 16]. Комплекс проблем вовлечения молодежи в политический процесс посредством ее участия в деятельности молодежных парламентов и МПО также рассмотрен в работе

¹ Статья выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-011-01184 «Потенциал молодежного политического лидерства в ходе политической социализации и циркуляции элит в российских регионах в 2010-е годы (на примере Юго-Западной Сибири и Северо-Запада РФ)».

О.Ю. Отрокова. Как справедливо отмечает автор, «достаточно высокая вовлеченность молодежи в деятельность организованных структур позволяет избегать серьезных волнений и недовольства среди молодежи на территории региона» [17. С. 188].

В данной статье ставится задача на кейсе Алтайского края и Новосибирской области определить место молодежных политических организаций и молодежных парламентов в политическом и когнитивном поле регионов, оценить их потенциал в обеспечении конвенциональной политической активности молодых людей.

МПО в политическом пространстве Алтайского края и Новосибирской области

Для сравнения конкретных молодежных объединений в статье использованы такие критерии оценки эффективности политического влияния молодежных общественных объединений на российскую молодежь, как узнаваемость объединений, численность (число официальных членов и публично проявляемых сторонников) и политическая активность их участников (количество способных к фиксированию политических акций и действий). Оценка численности объединения дает возможность определить актуальность его целей и идей и в конечном итоге его востребованность. Конечно, мотивы вступления молодежи в общественные объединения могут быть различными, но расширение рядов объединения должно свидетельствовать о том, что определенная часть молодежи так или иначе разделяет его идеологию. Политическая активность участников объединения является, на наш взгляд, основным критерием эффективности влияния. Активное политическое поведение участников того или иного движения свидетельствует о наличии у него реального ресурсного потенциала, в том числе кадрового, и убежденности его членов в возможности своими действиями повлиять на ход и результаты региональных политических процессов. Наконец, с помощью такого критерия, как узнаваемость, возможно оценить эффективность деятельности объединений и их потенциал по расширению своей социальной базы и масштабов политической активности, что, в свою очередь, укрепит их позиции в молодежной среде.

По данным Информационного портала Министерства юстиции РФ на 1 ноября 2018 г. на территории Алтайского края было зарегистрировано всего 915 общественных организаций, в Новосибирской области – 1 406, из них к молодежным можно отнести около 40 организаций и 2 движения в Алтайском крае, 19 организаций и 1 движение в Новосибирской области [18].

В то же время значительная часть данных организаций не декларирует в своих уставах приоритет политических целей, в связи с чем не может быть отнесена к МПО. С другой стороны, большинство реально функционирующих МПО официальной регистрации не имеют и не занесены ни в один из известных реестров, но действуют, например, в рамках внутрипартийных фракций или на общественных началах.

Самой крупной и одной из наиболее известных для российской молодежи МПО в исследуемых регионах является «Молодая Гвардия Единой России» (далее МГЕР). Будучи партийным проектом, она официально зарегистрирована как самостоятельная общественная организация. В настоящее

время структура МГЕР в субъектах РФ включает в себя региональный штаб, аппарат регионального штаба, местные отделения и местные штабы. Численность МГЕР в Алтайском крае составляет 1 500 человек, в Новосибирской области – 250 членов. В основном это школьники (старше 14 лет), студенты ссузов и вузов и работающая молодежь. Наиболее известные проекты МГЕР: «Школа Парламентаризма», «СтудМолодежь», «МедиаГвардия», «Центр социологии студенчества», «Банк студенческих стажировок», «Молодежный избирательный штаб».

Второй по размерам и активности в рассматриваемых регионах является комсомольская организация при КПРФ, с 2011 г. носящая название Ленинский коммунистический союз молодежи РФ (ЛКСМ РФ). Структура ЛКСМ РФ схожа с партийной – основой является региональное отделение, которому подчинены первичные и местные отделения. В Алтайском крае численность организации составляет около 100 человек (функционирует как первичное отделение), в Новосибирской области – порядка 150 человек (зарегистрирована как региональная организация). На современном этапе деятельность ЛКСМ РФ сочетает воспитательно-патриотическую работу и уличную протестную деятельность с преобладанием последней.

Региональные отделения молодежной организации ЛДПР не имеют самостоятельного статуса даже в рамках партии, что влияет на их структуру. В их состав автоматически включаются все члены партии в возрасте от 18 до 35 лет, в связи с чем численность участников молодежной организации ЛДПР составляет около 3 300 человек в Алтайском крае и 1 111 человек в Новосибирской области. Основными формами работы молодежной организации являются спортивные и культурные мероприятия, волонтерская и благотворительная деятельность, протестные уличные акции, организация праздников и проведение разнообразных публичных акций в рамках реализации партийных проектов.

Молодежная партийная организация «Справедливой России» «Молодые социалисты России» создавалась на основе движения «Победа», составлявшего молодежное крыло партии, однако она прекратила свою деятельность в 2012 г. На ее место в 2013 г. пришла организация «Справедливая Сила», затем трансформировавшаяся в партийный проект «Молодежный кадровый резерв». В Алтайском крае насчитывается около 40 участников проекта, при этом активных представителей – всего 7 человек. В Новосибирской области действующей организации «Молодежного кадрового резерва» нет. Проанализировав содержание проекта, можно сделать вывод, что он выполнял роль аккумулятора молодежи перед электоральным циклом 2016–2017 гг. и после его окончания перешел в «спящий режим».

«Молодежное Яблоко» в Алтайском крае возникло в ноябре 2018 г. и имеет в своем составе всего 12 человек. Тем не менее стоит отметить тот факт, что молодежное отделение партии «Яблоко» в крае функционировало и ранее, причем оно создавалось несколько раз, однако каждый раз прекращало свое существование в связи с возрастной и социальной мобильностью членов организации. «Молодежное Яблоко» является внутрипартийной фракцией, а не самостоятельным юридическим лицом, в ней могут состоять граждане РФ от 16 до 35 лет. В Новосибирском отделении партии 18 членов соответствуют всем критериям членства в молодежной фракции. Если в Алтайском крае мо-

лодые активисты проявили себя только локальными пикетами, то в Новосибирской области они с 2015 г. активно участвовали в избирательных кампаниях всех уровней.

Сложная социально-экономическая ситуация и политические традиции исследуемых регионов обусловили явное преобладание в структуре их молодежных движений МПО «левой» ориентации. Так, в начале 2018 г. в Алтайском крае (г. Бийск) создано молодежное отделение политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт». В его состав вошли бывшие члены ЛКСМ и РКСМ. Свое решение они обосновали идеологическим и кадровым расколом в РКСМ, который разворачивался в течение 2017 г. В первые месяцы численность организации составляла порядка 60 человек, но к концу года сократилась до 20–30 человек. Официальная регистрация организации отсутствует, что сторонниками партии объясняется отсутствием временных и финансовых ресурсов.

Основу движения «Левый Фронт» составляют молодые люди, поэтому его также можно считать молодежной организацией. В Алтайском краевом отделении состоят 87 человек. Члены «Левого фронта» выстраивают трудовые отношения со всеми левыми движениями в крае, в частности с КПРФ. В 2018 г. они непосредственно участвовали в работе предвыборного штаба П.Н. Грудина. Кроме того, движение проводило пикеты, митинги и флешмобы против повышения цен на топливо, повышения НДС и пенсионного возраста.

Еще одним примером «левых» МПО выступает созданная в декабре 2017 г. в Новосибирске общественно-политическая организация «Новые Красные». Она возникла после распада регионального отделения РКСМ из-за внутренних противоречий и образована большей частью бывших членов РКСМ, разделявших принципы марксизма. Государственная регистрация у организации отсутствует.

В целом для «левых» организаций исследуемых регионов можно признать справедливым вывод А.С. Сафоновой о том, что «отличительным признаком современных МПО в России является не их качество, а количество. В частности, вместо объединения в единую структуру оппозиционные МПО предпочитают действовать как малочисленные „кружки по интересам“. Формируясь обособленно, такие движения менее узнаваемы, численность участников многих из них не превышает нескольких десятков человек, а политическая активность, как правило, проявляется только во время выборов» [10. С. 267].

Патриотическая направленность МПО представлена молодежным объединением «Верные Отечеству», которое возникло в Алтайском крае летом 2012 г. и было зарегистрировано как общественное движение. Согласно уставу, движение «является состоящим из участников и не имеющим членства массовым общественным объединением, преследующим социальные, политические и иные общественно полезные цели: патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи; развитие физической культуры и спорта; пропаганда здорового образа жизни; укрепление престижа и роли семьи в обществе; защита материнства, детства и отцовства; развитие молодежного предпринимательства» [19]. Наиболее известным мероприятием движения стал ежегодный патриотический конкурс «Краса Отечества».

Роль молодежных парламентов в институционализации политической активности молодежи

Еще одной устоявшейся и активно реализуемой формой политического участия молодежи и «институционализацией механизма рекрутирования властной (политической) элиты через привлечение представителей молодежи к управлению и влиянию на принятие значимых для региона решений» [8. С. 213] выступают молодежные парламенты (МП). Поскольку субъекты РФ получили возможность по своему усмотрению определять их полномочия, цели и задачи деятельности, а также механизмы формирования, наблюдается большое различие в этих вопросах даже в соседних регионах.

Так, МП Новосибирской области формируется на два года, а в Алтайском крае создается на срок полномочий Алтайского краевого Законодательного Собрания текущего созыва (5 лет). Модель формирования МП Новосибирской области основывается на процедуре прямых выборов, которые организует и проводит Молодежная избирательная комиссия Новосибирской области, что делает ее в региональных опросах молодежи достаточно известным институтом. Из 44 представителей МП области 34 избираются по одному от каждого муниципального района и городского округа, еще 10 от города Новосибирска (по одному от каждого района). Избирать и быть избранным членом Молодежного парламента имеет право гражданин РФ, проживающий на территории Новосибирской области, в возрасте от 16 лет до 31 года.

В Алтайском крае возрастной ценз молодых парламентариев составляет уже от 14 до 35 лет, а парламент формируется из представителей молодежных представительных органов, созданных на общественных началах в муниципальных районах и городских округах (всего 63). По одному кандидату от каждого из них могут предлагать политические партии и молодежные общественные организации, зарегистрированные в установленном порядке, их местные отделения, органы местного самоуправления, депутаты молодежных представительных органов муниципальных районов и городских округов. Еще 10 членов МП входят в его состав на конкурсной основе после защиты своих конкурсных проектов.

Основные задачи и функции рассматриваемых региональных МП сводятся к универсальному их перечню в виде: участия в формировании и реализации государственной молодежной политики в своем регионе, в том числе в разработке региональных нормативных правовых актов, по вопросам, затрагивающим права и законные интересы молодежи; приобщения молодых граждан к участию в парламентской и иной общественной деятельности; формирования правовой и политической культуры молодого поколения; обеспечения взаимодействия молодежи, молодежных общественных объединений с государственными органами власти региона и органами местного самоуправления. При этом допускаются и уточняющие особенности, например выделение задачи по содействию в создании механизма подготовки кадрового резерва для органов государственной власти в Алтайском крае. МП Новосибирской области наделен полномочиями по изучению мнения молодежи о деятельности государственных органов и их взаимодействии с институтами гражданского общества в сфере реализации молодежной политики путем проведения опросов и мониторингов общественного мнения. На него

же возложена организация и проведение, в том числе совместно с молодежными парламентами других субъектов Российской Федерации, конференций, круглых столов, общественных слушаний и других мероприятий по вопросам, затрагивающим права и законные интересы молодежи.

Однако в данных регионах молодежные парламенты не имеют возможностей быть самостоятельным субъектом политики, так как они не наделены ни правом прямой законодательной инициативы, ни правом на обязательное рассмотрение своих решений на заседаниях регионального парламента. Рекомендательный характер решений не позволяет им эффективно участвовать в выработке политического курса и защите интересов молодежи. Как отмечают О.А. Холомина и А.А. Курилова, «созданные на базе административного ресурса, они формируются из политически активных, но зачастую не имеющих опыта ребят, которые легко поддаются манипулированию и часто используются как статусный показатель действующей власти» [7. С. 97].

Как следствие, содержание практической деятельности МП Алтайского края и Новосибирской области демонстрирует явный приоритет их активности в социальной, а не политической сфере. В информационном пространстве представлены различные творческие, волонтерские, спортивные и просветительские проекты, реализуемые во взаимодействии с другими участниками: «Друг на дороге» (профилактика детского травматизма), «Снежный десант», «Юристы населению» и т.д. В связи с этим в итоговых отчетах о своей работе молодежные парламентарии вынуждены делать основной акцент на работе с обращениями граждан и участии в проведении различных мероприятий. Отмеченные проблемы ограниченности полномочий и ресурсов молодежных парламентов во многом предопределяют низкий уровень их известности в молодежной среде.

МПО и МП в когнитивном пространстве молодежи

Проведенный в 2018 г. опрос молодежи Алтайского края и Новосибирской области выявил ее резкую дифференциацию на предмет знания молодежных структур политической направленности. 41% респондентов в Алтайском крае и 38,3% в Новосибирской области не смогли назвать ни одной формы объединений, зато многие информированные респонденты указывали более одной организации. Так, наиболее известны в молодежной среде студенческие отряды – их назвали 49,6% молодежи Алтайского края и 48,6% опрошенных в Новосибирской области, и Молодежные парламенты – 30,8 и 22,6%. В качестве других организаций были названы МПО при политических партиях (15,4% в Алтайском крае и 17,3% в Новосибирской области), молодежные общественно-политические организации (11,3 и 22,6%), Молодежные избирательные комиссии (9,4 и 21,0%) и Клубы молодых избирателей (12 и 8,2%). При этом респонденты называли также не существующие в крае и области Молодежную общественную палату (8,3 и 4,1%) и Молодежную коллегия при губернаторе (1,9 и 5,4%).

На этом фоне опрос 2019 г. показал, что при знании факта существования в исследуемых регионах молодежных парламентов молодые люди не осведомлены об их деятельности и порядке формирования. Так, последний не смогли описать 93,2% респондентов в Алтайском крае и 82,1% в Новосибир-

ской области, правильно или близко к этому описали процедуру формирования МП 2 и 10,8% соответственно.

Ненамного больше известно молодежи и о функциях МП – 84,8% опрошенных обоих регионов не смогли назвать ни одну из них. Среди названных функций лидируют участие в разработке молодежной политики, представительство интересов молодежи и реализация социальных проектов. В то же время присутствовала и критика деятельности МП – 3,4% категорично заявили, что они ничего не делают, 0,4% – занимаются самопиаром (табл. 1).

Таблица 1. Представления молодежи Алтайского края и Новосибирской области о функциях, выполняемых МП, % от количества опрошенных

Функции молодежных парламентов, названные респондентами	Алтайский край	Новосибирская область	Вся выборка
Ничего не делают	2,4	4,4	3,4
Участие в разработке молодежной политики	1,2	4,8	3,0
Представительство интересов молодежи и решение ее проблем	2,0	3,6	2,8
Реализация социальных проектов	2,0	2,8	2,4
Политическая социализация молодежи	1,6	1,2	1,4
Проведение мероприятий и акций для молодежи	1,2	1,2	1,2
Коммуникация молодежи и власти		0,8	0,4
«Пиарят себя»	0,8		0,4
«Отмывание денег»		0,4	0,2
Затрудились ответить	89,2	80,5	84,8

Отсутствие информации, в свою очередь, сказывается на средней оценке деятельности молодежных парламентов, которая в Алтайском крае оказалась равна 3,1 балла, а в Новосибирской области – 3,2 балла (табл. 2).

Таблица 2. Оценка деятельности молодежных парламентов молодежью Алтайского края и Новосибирска, 2019 г., % от количества опрошенных

Оценка	Алтайский край	Новосибирская область	Вся выборка
1 балл	7,2	8,0	7,6
2 балла	5,6	10,8	8,2
3 балла	14,1	18,7	16,4
4 балла	12,0	18,3	15,2
5 баллов	7,2	11,6	9,4
Они в регионе не работают	6,8	3,2	5,0
Затрудились ответить	47,0	29,5	38,2

Еще хуже молодые жители края и области осведомлены о конкретных действующих на их территории молодежных общественно-политических организациях – 85,3% респондентов в Алтайском крае и 91% в Новосибирской области не смогли назвать ни одной из них. Относительно большую известность среди молодежи имеет МГЕР – в Алтайском крае ее назвали 6,8% респондентов, в то время как в Новосибирской области – 1,2%. На втором месте находится ЛКСМ (1,1 и 1,2% известности соответственно). Кроме того, 0,8% опрошенных в Алтайском крае указали молодежное отделение ЛДПР, 0,4% – «Левый Фронт»; в Новосибирской области по 0,4% знают РКСМ и «штаб Навального». Вместе с тем знания об этой группе организаций можно считать «случайными» (в пределах погрешности), не дающими основания считать их известными среди молодежи исследуемых регионов.

В то же время обращает на себя внимание и низкая известность молодежных организаций парламентских партий, что может быть объяснено их неравномерной активностью в регионах, ориентацией в информационной работе на сторонников и партии-патроны.

Низкий уровень информированности респондентов об МПО распространяется и на их деятельность – в 2018 г. 88,7% молодежи в Алтайском крае и 96,3% в Новосибирской области не смогли вспомнить ни одной инициативы или акции молодежных политических организаций.

Отсутствие у молодежи информации о МПО и их функционировании формирует оценку респондентами степени влияния молодежных политических организаций на политическую ситуацию в регионах. Наличие такового отметили лишь треть опрошенных в Алтайском крае (очень влияют – 3,4%, влияют в некоторой степени – 26,7%), в то время как отрицали его 52,6% (почти не влияют – 39,1%, совсем не влияют – 13,5%), 17,3% затруднились с оценкой. Респонденты из Новосибирской области были более оптимистичны в этом вопросе: о том, что МПО почти или совсем не влияют на политическую ситуацию в регионе заявили 39,1%, что они влияют в некоторой степени – 38,3%. Однако существенным это влияние, также как и в Алтайском крае, посчитали лишь 2,9% респондентов.

Слабые позиции МПО в политическом процессе молодые люди связывают и с неудовлетворительным выполнением ими своих функций. Так, опрос 2018 г. выявил интересный факт: в сознании молодежи Алтайского края и Новосибирской области МПО воспринимаются как общественно-политические организации, которые в первую очередь должны достигать цели общественных объединений: выражать интересы молодежи, воспитывать ее, решать общественные проблемы, объединять граждан и служить каналом карьерного роста членов своей организации (табл. 3). В то же время, согласно данным 2019 г., молодежь очень невысоко оценивает действия МПО по реализации интересов своей социальной базы – на 2,6 балла по 5-бальной шкале в Алтайском крае, и на 3,1 балла в Новосибирской области (табл. 4).

Таблица 3. Распределение ответов на вопросы: «Какие из названных ниже функций выполняют молодежные политические организации?», «Какие функции должны выполнять молодежные политические организации?», % от количества опрошенных

Функции МПО	Алтайский край		Новосибирская область	
	Выполняют	Должны выполнять	Выполняют	Должны выполнять
Выражение интересов молодежи	47,7	60,5	54,7	65,0
Решение общественных проблем	20,3	46,2	21,8	40,7
Воспитание молодежи	27,8	46,6	23,9	39,9
Вовлечение молодежи в политику	42,9	37,6	42,8	43,2
Объединение граждан	12,0	25,6	13,6	27,6
Формирование органов власти	4,9	12,8	7,0	13,2
Принятие законов	4,5	13,5	4,5	13,2
Материальное обеспечение своих членов	3,0	7,1	2,1	8,6
Карьерный рост членов своей организации	8,6	10,9	14,8	16,9
Разработка политических идей и программ	12,4	25,9	19,3	33,7
Работа со СМИ	20,3	19,2	22,6	21,4
Затруднились ответить	25,6	11,7	24,7	13,6

Таблица 4. Оценка работы МПО с точки зрения эффективности реализации интересов молодежи, 2019 г., % от количества опрошенных

Оценка	Алтайский край	Новосибирская область	Вся выборка
1 балл	6,4	7,6	7,0
2 балла	6,8	11,6	9,2
3 балла	16,9	20,7	18,8
4 балла	11,6	13,5	12,6
5 баллов	8,4	10,8	9,6
Они в регионе не работают	6,4	4,0	5,2
Затрудняюсь ответить	43,4	31,9	37,6

Вместе с тем респонденты отметили необходимость активизации именно политической деятельности МПО – по вовлечению молодежи в политику, разработке политических идей и программ, участия в формировании органов власти и законотворческом процессе (см. табл. 3).

Результатом как низкой активности МПО, так и слабой информированности о ней молодежи становится невысокий уровень их легитимности в молодежной среде. В 2019 г. им полностью или скорее доверяли только треть опрошенных (32,4%), еще 32,4% в чем-то доверяли, в чем то нет, не доверяли МПО 22%, 13,2% затруднились ответить. При этом уровень доверия МПО в Новосибирской области был несколько выше, чем в Алтайском крае (табл. 5).

Таблица 5. Уровень доверия МПО, % от количества опрошенных

Уровень доверия	Алтайский край	Новосибирская область	Вся выборка
Абсолютно доверяю	8,8	7,6	8,2
Скорее доверяю	21,6	26,7	24,2
В чем-то доверяю, в чем то нет	32,9	31,9	32,4
Скорее не доверяю	12,4	17,9	15,2
Не доверяю	6,8	6,8	6,8
Затрудняюсь ответить	17,3	9,2	13,2

Сочетание низкого уровня информированности об МПО с критической оценкой их политических возможностей приводит к тому, что молодежь не участвует в деятельности МПО и не видит в них значимых для себя форм политической активности. Только 16,5% молодежи из Алтайского края и 11,9% из Новосибирской области указали на наличие у них опыта работы в МПО и политических партиях. 51 и 42% ни в каком качестве не желают участвовать в деятельности МПО (в крае об этом прямо заявили 33%, в области – 29,6%; 18 и 12,4% затруднились обозначить свою позицию). Еще меньше хотели бы сами создать МПО (10,9 и 14% соответственно).

В качестве мотивов / условий возможного вступления в МПО респонденты назвали совпадение целей и интересов (36,1%), потребность в самореализации (18,0%), наличие проблем, которые нельзя решить самостоятельно (15,4%) или материальной заинтересованности (13,2%), близость идеологии (13,2%), стремление к политической карьере (9,4%), потребность в общении (4,5%), желание оказать посильную помощь населению (0,4%). 30,1% опрошенных в Алтайском крае и 14,8% в Новосибирской области указали, что таких условий не существует.

Оценка эффективности молодежных структур

Проведенный анализ функционирования молодежных политических организаций позволяет констатировать их малочисленность при абсолютном преобладании припартийных организаций. Потенциал и количество участни-

ков МПО имеют свою региональную специфику и коррелируют со степенью активности этих организаций. При этом формальная численность объединения не всегда дает возможность определить его место в политическом процессе региона и реальную востребованность у молодежи. Аналогична ситуация и с молодежными парламентами, законотворческий потенциал которых ограничен не только молодежной тематикой, но и подчиненным статусом по отношению к региональным легислатурам.

Как следствие, в деятельности молодежных политических организаций и молодежных парламентов преобладают внутренние организационные мероприятия и единичные акции, подавляющее большинство которых не имеет значения для публичного политического пространства, а значит, и не представлено в СМИ. Отсутствие самостоятельных масштабных проектов и последовательной активности не позволяют МПО и МП сформировать как символический, так и политический капитал в публичном пространстве регионов. Молодежь не видит их практической значимости и не стремится участвовать в их деятельности.

Ориентация на федеральные проекты и ресурсы приводит к уходу молодежных политических структур от региональной и местной повестки, в том числе и в виде отказа от самостоятельного информационного позиционирования. Показательно, что многие региональные молодежные отделения политических партий отказались от собственных сайтов, так как общенациональный масштаб информационной площадки позволяет говорить о наличии хоть какого-то уровня ресурсов и активности у всей организации в целом. Для информирования и коммуникации со своими сторонниками МПО и МП переходят в формат локальных сообществ в социальных сетях.

Таким образом, реальное состояние молодежных политических организаций и молодежного парламентаризма на региональном уровне находится в диалектическом единстве с их позициями в когнитивном пространстве молодежи. Поэтому повышение эффективности этих организаций как каналов конвенционализации активности молодежи в перспективе будет зависеть не только от роста их активности, но и от проведения грамотной информационной политики, отражающей интересы и потребности молодого поколения.

Литература

1. *Ахметов И.Д.* Молодежный парламент как явление гражданского общества и политико-правовой культуры (на примере Томской области) // *Российский парламентаризм: региональное измерение*. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2014. С. 132–135.
2. *Сергеев А.К., Гнатюк М.А., Гнатюк К.Ю.* Молодежный парламент как форма реализации региональной молодежной политики: опыт Самарской области // *Государственное и муниципальное управление. Ученые записки*. 2018. № 2. С. 199–204.
3. *Кузнецов В.И., Воронков Д.Е.* Молодежный парламентаризм как форма участия молодежи в жизни регионального и муниципального образования // *Международный студенческий научный вестник*. 2017. № 2. С. 103.
4. *Цыденов О.Б.* Роль молодежного парламентаризма в современной российской действительности // *Январские исторические чтения, посвященные памяти Юрия Петровича Шагдурова*. Улан-Удэ : Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2017. С. 242–246.
5. *Алиханова С.А.* Особенности молодежного парламентаризма в Республике Дагестан // *Власть*. 2018. № 5. С. 58–61.
6. *Петрухина Е.С.* Молодежный парламентаризм как инновационная форма взаимодействия органов власти с молодежными парламентами // *Проблемы социально-экономической устойчивости региона*. Пенза : Изд-во ПГАУ, 2019. С. 137–140.

7. *Холомина О.А., Курилова А.А.* Молодежный парламент как механизм формирования резерва управленческих кадров // Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 3. С. 96–98.
8. *Панкратов С.А.* Идущие во власть : Молодежный парламент Волгоградской области в региональной публичной политике // Элиты и лидеры: стратегии формирования в современном университете. Астрахань : Изд-во Астрахан. гос. ун-та, 2017. С. 213–214.
9. *Михренина И.А.* Молодежный парламент как инструмент политической социализации молодежи // Устойчивое развитие науки и образования. 2017. № 12. С. 255–259.
10. *Сафонова С.А.* Молодежные политические организации России: подходы к классификации // Проблемы современной науки и образования. 2015. № 12. С. 261–268.
11. *Пелевин С.И.* Молодежные политические организации: история и перспективы развития // Философия права. 2017. № 1 (80). С. 139–141.
12. *Мосоликов С.А.* Пропрезидентские молодежные объединения современной России // Вестник Московского государственного областного университета. 2016. № 4. С. 1–11.
13. *Емельянов В.А.* Создание прокремлевских молодежных общественно-политических организаций // Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. История и политология. 2012. № 3. С. 104–109.
14. *Митин А.А.* Левые молодежные организации как фактор воспроизводства политической системы // Вестник Кемеровского государственного университета. 2012. № 4 (52). С. 149–153.
15. *Чирун С.Н.* Молодежные политические движения и организации как механизмы реализации субъектности молодежи в публичной молодежной политике // Вестник Кемеровского государственного университета. 2011. № 1 (45). С. 120–123.
16. *Лисица Е.С., Константинова А.С.* Механизмы и технологии воздействия молодежных общественно-политических организаций на политическую активность российской молодежи // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 5. С. 702.
17. *Отроков О.Ю.* Новые вызовы молодежной политики: причины изменений и перспективы развития (на примере Ростовской области) // Власть. 2017. № 9. С. 185–189.
18. *О деятельности некоммерческих организаций: информация о зарегистрированных некоммерческих организациях. Общественная организация, учреждение, движение* // Информационный портал Министерства юстиции РФ. URL: <http://unro.minjust.ru/NKO.aspx> (дата обращения: 01.11.2018).
19. *Устав молодежного патриотического общественного движения Алтайского края «Верные Отечеству»* // Группа «ВКонтакте» «Верные Отечеству». 2012. 01 июня. URL: https://vk.com/doc-36854493_437115209 (дата обращения: 25.09.2019).

Yaroslava Yu. Shashkova, Altai State University (Barnaul, Russian Federation).

E-mail: yashashkova@mail.ru

Sergey Yu. Aseev, Altai State University (Barnaul, Russian Federation).

E-mail: suass@mail.ru

Tatiana A. Aseeva, Altai State University (Barnaul, Russian Federation).

E-mail: tatulyasolar@mail.ru

Dmitriy A. Kazantsev, Altai State University (Barnaul, Russian Federation).

E-mail: dimkazanchev@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 51. pp. 192–204.

DOI: 10.17223/1998863X/51/20

THE PROBLEM OF THE EFFICIENCY OF INSTITUTIONAL FORMS OF POLITICAL PARTICIPATION AMONG THE RUSSIAN YOUTH (ON THE EXAMPLE OF ALTAI KRAI AND NOVOSIBIRSK OBLAST)

Keywords: youth; Russia; youth political organizations; youth parliaments; youth political activity.

In the world of postmodernism and the global transformations of today, the problem of political forecasting is acute. This problem can be solved, among other things, by studying political values and political activity of the modern Russian youth. The laws of the Russian Federation enshrine political organizations and youth parliaments as institutional forms of political participation of the youth. In this study, the current state of such organizations and their potential in ensuring the conventional political activity of young people is illustrated by the cases of Altai Krai and Novosibirsk Oblast. The organizations' number, activity and awareness of them among young people are used as indicators of their efficiency. Based on valid Internet sources, expert interviews with leaders of youth political organiza-

tions and youth parliaments, the authors of the article have concluded that such organizations have limited opportunities for organizing youth political activity. Only the Young Guard of United Russia, the Komsomol and the LDPR youth organization, all not large in number, have the potential to mobilize youth. The mentioned organizations are helped by patron parties. They ensure the implementation of their parties' projects. The low efficiency of regional youth parliaments is due to their subordination to regional legislative bodies. The analysis of the results of mass surveys among Altai Krai and Novosibirsk Oblast residents aged 14–30 showed they know little about youth political organizations and about these organizations' activities. The fulfillment of these organizations' functions is viewed as insufficient. The lack of assurance among young people regarding their abilities to influence the political situation has led to the youth being reluctant in terms of their political activities. Finally, the conclusion is drawn regarding the dialectical unity of the state and level of youth political organizations' and youth parliaments' political activity on the regional level and their positions in the cognitive space of the youth.

References

1. Akhmetov, I.D. (2014) Molodezhnyy parlament kak yavlenie grazhdanskogo obshchestva i politiko-pravovoy kul'tury (na primere Tomskoy oblasti) [Youth parliament as a phenomenon of civil society and political and legal culture (a case study of Tomsk region)]. In: Shcherbinin, A.I. & Shcherbinina, N.G. (eds) *Rossiyskiy parlamentarizm: regional'noe izmerenie* [Russian parliamentarism: regional dimension]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 132–135.
2. Sergeev, A.K., Gnatyuk, M.A. & Gnatyuk, K.Yu. (2018) Molodezhnyy parlament kak forma realizatsii regional'noy molodezhnoy politiki: opyt Samarskoy oblasti [Youth parliament as a form of implementation of regional youth policy: the experience of the Samara region]. *Gosudarstvennoe i munitsipal'noe upravlenie. Uchenye zapiski*. 2. pp. 199–204.
3. Kuznetsov, V.I. & Voronkov, D.E. (2017) Molodezhnyy parlamentarizm kak forma uchastiya molodezhi v zhizni regional'nogo i munitsipal'nogo obrazovaniya [Youth parliamentarism as a form of youth participation in the life of a regional and municipal formation]. *Mezhdunarodnyy studencheskiy nauchnyy vestnik*. 2. pp. 103.
4. Tsydenov, O.B. (2017) Rol' molodezhnogo parlamentarizma v sovremennoy rossiyskoy deystvitel'nosti [The role of youth parliamentarism in modern Russia]. In: Baikarov, N.S. (ed.) *Yanvarskie istoricheskie chteniya, posvyashchennye pamyati Yuriya Petrovicha Shagdurova* [January historical readings dedicated to the memory of Yuri Petrovich Shagdurov]. Ulan-Ude: Buryat State University. pp. 242–246.
5. Alikhanova, S.A. (2018) Specifics of Youth Parliamentarism in the Republic of Dagestan. *Vlast'*. 5. pp. 58–61. (In Russian).
6. Petrukina, E.S. (2019) Molodezhnyy parlamentarizm kak innovatsionnaya forma vzaimodystviya organov vlasti s molodezhnymi parlamentami [Youth parliamentarism as an innovative form of interaction between authorities and youth parliaments]. In: Reznik, G.A. (ed.) *Problemy sotsial'no-ekonomicheskoy ustoychivosti regiona* [Problems of the socio-economic stability of the region]. Penza: Penza State Architecture University. pp. 137–140.
7. Kholomina, O.A. & Kurilova, A.A. (2014) Youth parliament as a mechanism provision of personnel management. *Baltiyskiy gumanitarnyy zhurnal*. 3. pp. 96–98. (In Russian).
8. Pankratov, S.A. (2017) Idushchie vo vlast': Molodezhnyy parlament Volgogradskoy oblasti v regional'noy publichnoy politike [Going to Power: The Volgograd Region Youth Parliament in Regional Public Policy]. In: Karabushchenko, P.L. et al. (eds) *Elity i lidery: strategii formirovaniya v sovremennoy universitete* [Elites and Leaders: Formation Strategies in a Modern University]. Astrakhan: Astrakhan State University. pp. 213–214.
9. Mikhrenina, I.A. (2017) Molodezhnyy parlament kak instrument politicheskoy sotsializatsii molodezhi [Youth parliament as an instrument of political socialization of youth]. *Ustoychivoe razvitie nauki i obrazovaniya*. 12. pp. 255–259.
10. Safonova, S.A. (2015) Molodezhnye politicheskie organizatsii Rossii : podkhody k klassifikatsii [Youth political organizations of Russia: Approaches to classification]. *Problemy sovremennoy nauki i obrazovaniya*. 12. pp. 261–268.
11. Pelevin, S.I. (2017) Youth Political Organizations: History and Development Prospects. *Filosofiya prava – Philosophy of Law*. 1(80). pp. 139–141. (In Russian).
12. Mosolikhov, S.A. (2016) Proprezidentskie molodezhnye ob"edineniya sovremennoy Rossii [Pro-presidential youth associations of modern Russia]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta – Bulletin of Moscow Region State University*. 4. pp. 1–11.

13. Emelyanov, V.A. (2012) Sozdanie prokremlevskikh molodezhnykh obshchestvenno-politicheskikh organizatsiy [Creation of pro-Kremlin youth socio-political organizations]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta im. M.A. Sholokhova. Istoriya i politologiya*. 3. pp. 104–109.
14. Mitin, A.A. (2012) Left-wing youth organizations as factor of political system reproduction. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of Kemerovo State University*. 4(52). pp. 149–153. (In Russian).
15. Chirun, S.N. (2011) Youth political movements and the organizations as mechanisms and realization ways independence youth in public youth policy. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of Kemerovo State University*. 1(45). pp. 120–123. (In Russian).
16. Lisitsa, E.S. & Konstantinova, A.S. (2013) The mechanism and technology of the influence of youth social and political organizations on the political activity of the Russian youth. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya – Modern Problems of Science and Education*. 5. pp. 702. (In Russian).
17. Otrokov, O.Yu. (2017) New Challenges of Youth Policy: the Reasons for Changes and Prospects of Development. *Vlast'*. 9. pp. 185–189. (In Russian).
18. Ministry of Justice of the Russian Federation. (n.d.) *O deyatel'nosti nekommercheskikh organizatsiy: informatsiya o zaregistrovannykh nekommercheskikh organizatsiyakh. Obshchestvennaya organizatsiya, uchrezhdenie, dvizhenie* [On the activities of non-profit organizations: information on registered non-commercial organizations. Public organization, institution, movement]. [Online] Available from: <http://unro.minjust.ru/NKO.aspx> (Accessed: 1st November 2018).
19. Vkontakte. (2012) *Ustav molodezhnogo patrioticheskogo obshchestvennogo dvizheniya Altayskogo kraya "Vernye Otechestvu"* [Charter of the youth patriotic social movement of the Altai Territory "Faithful to the Fatherland"]. [Online] Available from: https://vk.com/doc-36854493_437115209 (Accessed: 25th September 2019).

УДК 32.019.51+ 911.375.4:378.4
DOI: 10.17223/1998863X/51/21

А.И. Щербинин

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ В УНИВЕРСИТЕТСКОМ ГОРОДЕ¹

Рассматривается проблема политической социализации молодежи на примере университетского города. Предложены переменные, влияющие на своеобразие политической социализации, а именно: смена общественной парадигмы с институциональной на сетевую, актуализация роли города как ключевого игрока в политических процессах, роль университетских городов как драйверов новой экономики. Опираясь на теоретико-методологические работы З. Баумана, Н. Моисеева, К. Навратека, Э. Кастельса, Э. Киселевой, Ф. Кука, Г. Стэндинга и др., автор обосновывает изменившиеся условия для социализации молодежи. Эмпирические исследования, проведенные в Москве, Санкт-Петербурге, Томске и Новосибирске, подкрепляют гипотезу, выявляя при этом дальнейшие направления исследований и практической работы в области политической социализации.

Ключевые слова: политическая социализация, молодежь, университетский город, кризис институтов, сетевое общество, Россия, эмпирические исследования.

Политические обострения в Москве летом-осенью текущего года, выступления «желтых жилетов» во Франции, продолжающиеся столкновения в Гонконге, затянувшееся протестное состояние предбрекситовой Великобритании, неухаживающие популистские кампании в Европе являются отчетливым сигналом об обострившемся состоянии сообщества, одним из ключевых игроков которого являются учащаяся молодежь и студенты университетов. Заметим, что за относительно короткий период сначала на встрече с представителями кафедр общественных наук, состоявшейся после выборов Президента РФ в марте 2018 г., а затем на десятилетии факультета политологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в сентябре 2018 г. Первый заместитель Руководителя Администрации Президента С.В. Кириенко акцентировал внимание аудитории на значимости процессов политической социализации молодежи.

В свою очередь, обеспокоенность состоянием данной проблемы со стороны преподавателей социально-гуманитарного профиля, оправданная тревога вызваны, на наш взгляд, катастрофическим сокращением изучения политических дисциплин на непрофильных факультетах. Данное состояние усугубляется вымыванием предмета политики из школьных программ, что привело в конечном счете к стихийным и нередко неуправляемым процессам формирования политической картины мира у молодежи и шире – картины будущего. Мы не можем не отметить нынешнее стремление властей найти ключик, которым бы открывалась дверь в будущее. Но само оно понимается сегодня сугубо генерационно, типа «молодежь – наше будущее». В этом есть свой резон, учитывая то, что предсказуемость событий будущего зависит от

¹ Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ, проект «Политическая социализация молодежи в университетских городах», № 19-011-31231.

того, какими мы сформируем наших преемников. Поколения – это проекты, да и каждый человек, как писал Хосе Ортега-и-Гассет, это «удивительное существо, чье бытие состоит не в том, что уже есть, а в том, чего еще нет; иначе – сущее в том, чего еще не существует» [1. С. 186.]. Поэтому он справедливо сравнивал молодежь со снарядом, выпущенным в будущее.

Когда мы задаемся вопросом, кто занимается или должен заниматься проектированием будущих поколений (и отдельных людей), конечно, в первую очередь мы обращаемся к государству. Власть не создает материальных ценностей. Ее онтологическая задача – создавать смыслы, определять цель (включая и стрелу времени «прошлое – настоящее – будущее»), формировать ценности. В статье «Россия и сетевое общество» Мануэль Кастельс и Эмма Киселева удачно использовали цитату из книги «Иконография власти» своей коллеги по университету Беркли Виктории Боннел: «Главным вопросом, стоявшим перед большевиками в 1917 году, был не просто захват власти, но захват смысла» [2. С. 41].

И когда нам пытаются сказать, что молодежь (или дети) – это и есть будущее, поэтому дадим им возможность создавать смыслы, проектировать форсайты и т.п., это не просто заблуждение, а нечто большее. Это значит, что либо за повседневной работой руки не доходят до молодежи, либо у самого субъекта нет представлений о будущем. Карл Ясперс очень подробно прописывал эту критическую ситуацию: «...В условиях же распада молодежь обретает ценность сама по себе. От нее прямо ждут того, что в мире уже потеряно... Как будто к молодежи предъявляется требование создать то, чем уже не владеют их учителя. Подобно тому, как будущие поколения обременяются государственным долгом, они обременяются и следствиями расточительства духовного богатства, которое им представляют завоевать заново» [3. С. 354]. Позволю вернуться к начальному тезису, используя мысли Ясперса: государство посредством своей власти выступает как гарант любой формы массового порядка. Сама по себе масса не знает, что она, собственно говоря, хочет [Там же. С. 355]. Ясперс отмечал, что государство само является продуктом многовекового воспитания, и когда оно заботится о воспитании молодежи, то значит оно заботится о воспитании тех людей, на которых оно впоследствии будет опираться [Там же].

В концепции Ясперса мы видим классическую картину индустриального общества, когда в структурированном и институционально оформленном обществе политическая социализация выполняла важнейшую функцию поддержки устойчивости политической системы, занимая одно из ключевых мест в концепциях политической культуры как внутреннего измерения политической реальности; в кризисные периоды внимание к ней было особенно востребовано. Попытки интерпретировать действие данного механизма привели в свое время к созданию целого ряда теорий политической социализации, часть из которых была производным от родового понятия «социализация», другие же точки зрения вытекали из особенностей объекта – в основном детей и молодежи.

Большинство из них следовало структурно-функциональной модели Истона–Денниса, согласно которой политическая социализация, являясь системной функцией, создает и охраняет систему через формирование консенсуса. Психологические и социологические теории политической социализа-

ции, среди которых особо выделяются психология «черт характера» и психоанализ, исходили соответственно из стабильности врожденных или приобретенных качеств или акцентировали исследования на раннем детстве и семье как институте первичной политической социализации. Теоретико-образовательные теории в отличие от предыдущих связывали политическую социализацию со способностью личности к обучению на протяжении всей жизни (как, впрочем, и на каждой возрастной фазе). Ряд исследователей (Ф. Гринстейн, Д.А. Натан и Р.С. Реми, Р. Сиджел и др.) вообще приравнивали политическую социализацию к политическому образованию. Подростковому возрасту было уделено особое внимание представителями когнитивистского направления. Именно в этот период происходят быстрое развитие политических представлений, становление абстрактного, формально-логического мышления, осознание воздействий прошлого на настоящее и будущее, мышление становится социоцентричным. Подросток быстро накапливает знания, включая стереотипы и условности.

Достаточно ярко представлены в концепциях политической социализации сторонники «теории ролей», выводящие индивидуальное поведение из ориентации на поведение партнеров. Политика в данном случае имеет все основания быть рассматриваемой как «игра по правилам», а политическое образование – как средство обретения этих правил (Р.Е. Доусон, К. Прюитт). Индивид, согласно данным теориям, может интегрироваться в универсальную систему, являясь субъектом политического мира, но он же может и достичь автономии, освободившись от социального принуждения, что, в свою очередь, ставит вновь под сомнение классическую концепцию *homo politicus*.

Тематически связанными с предыдущими можно считать генерационные теории, которые рассматривают генерации как возрастные когорты, чьи структуры сознания и поведения на определенных жизненных фазах отражаются через определенные события социально-исторического значения. Интересны они еще и потому, что согласно им наиболее яркие события накладывают свой важнейший отпечаток на личность не в раннем детстве, а в возрасте 17–25 лет, обогащая новую генерацию «коллективной памятью», только ей присущими собственными ценностями и убеждениями. Социализация в данном случае играет роль своеобразного трансформатора, выравнивая политические взгляды «социальных неофитов» в соответствии с параметрами, заданными обществом [4]. Прервавшись на этом, мы с уверенностью можем сказать, что теории политической социализации заняли прочное место в объясняющих моделях вне зависимости от подходов. К примеру, П. Бергер и Т. Лукман в своей книге по конструированию социальной реальности в числе последовательных ступеней данного процесса помещали социализацию вслед за объективацией и хабиитуализацией, рассматривая ее как важный этап, предшествующий легитимации [5]. Следует учесть, что в отличие от мира повседневности вхождение в политический мир требует больших усилий по ценностно-смысловому наполнению институтов, с которыми человек не сталкивается лицом к лицу в обыденной жизни. И уже современная литература по политической социализации фиксирует ее провалы и пытается найти новые теоретические модели и практические шаги. Изучая политические кампании в социальных сетях, М. Френсо Гарсиа, А. Дейли поднимают проблему пределов онлайн-коммуникации через большие платформы. М. Ган-

сингер и А. Коле, показывая роль социальных медиа в политике (на примере кампаний Трампа, Макрона и Курца), вводят новое понятие «кликтатура» (clicktatorship), а в целом для социальных медиа – «manipuledia». Политологи выделили и такое понятие, как «не-гражданская культура» (У. Беннет, 1998), как следствие недоработок агентов социализации. Продолжением данной темы стала его монография «Гражданская жизнь онлайн: узнайте, как цифровые медиа могут привлечь молодежь» (2008). В 2010 г. У. Беннет, Д. Фрилон и С. Уэллс публикуют статью «Изменение личности гражданина и рост медийной культуры участия», показывая значение медиа для становления гражданина.

Одним из новых явлений социально-экономической динамики последних лет стал растущий интерес к университетским городам. Именно они предстают сегодня серьезными конкурентами мегаполисам индустриальной эпохи, являясь платформой для движения в сторону «умных», «интеллектуальных», «мудрых» городов. В августе текущего года вышла статья Ричарда Флориды, который показал результаты исследования пятидесяти городов США (2012–2017 гг.) и представил рейтинг ведущих и отстающих городов с точки зрения человеческого капитала, в основу которого была положена доля выпускников колледжей среди всего населения города [6]. Из «десятки» лучших 50% населения с высшим образованием сосредоточено в шести городах (Сиэтл, Сан-Франциско, Федеральный округ Колумбия и др.). Города-мегаполисы Нью-Йорк и Лос-Анжелес занимают соответственно восемнадцатое и двадцать четвертое места. Изучение роста количества выпускников с 2012 по 2017 г. удивляет, на первый взгляд, абсолютным лидерством Майами (50% и десятипроцентный ежегодный прирост). С другой стороны, если учесть дистантный характер интеллектуального труда, то мы обнаруживаем еще одну ипостась постиндустриальной эпохи.

Одной из ключевых ее особенностей является то, что, придя на смену модерну, новая эпоха завершила превращение маловостребованных институтов в некий сонм богов, обращение к которым держалось на традиции и схеме элементарных знаний, сильно приправленных верой в их необходимость. «Институты лежат в мавзолеях», – писали К.А. Нордстрем и Й. Риддерстрале [7]. В числе таких закреплённых традицией абстракций оказались семья и брак, классы и партии. Одним из последних свои позиции сдало государство [2. С. 24–25; 8]. И все же в главном вопросе эти авторы существенно расходятся. Для Кастельса и Киселевой сетевое общество – ранний, становящийся этап, аналогичный первоначальному индустриализму с его еще не окостеневшими нормами и институтами, где «быть верующим, значит творить веру» [2. С. 25]. Для Баумана постсовременное общество – это совершенно иной тип общества, точнее «социальности»: «Я предлагаю, чтобы термины „социальность“ (sociality), „среда“ (habitat), „самоконструирование“ и „самособираение“ стали центральными в социологической теории постсовременности. Они должны занять место, которое ортодоксальная современная социальная теория зарезервировала для таких категорий, как „общество“, „нормативная группа“ (например, класс или община), „социализация“ или „контроль“» [8. С. 33]. В любом случае подвижность, нестабильность общественных отношений, смена авторитетов, перекомпоновка жизненных планов – те черты, которые проявляются (и не только в молодежной среде) в настоящее время. Надо отметить, Бау-

ман, по крайней мере, настаивает на том, что политика в постсовременности не исчезает. Более того, она из эпифеномена социальности в обществе, жестко привязанного к национальному государству в эпоху модерна, органично вписывается в условиях постсовременности в динамичную общественную жизнь с ее лежащими на поверхности продуктами перемен – ставшими еще многообразнее конфликтами, протестами, принятием решений и т.п.

Филип Кук обращает наше внимание на то, что наряду с материальными (объективными) причинами таких перемен следует учитывать и культурные (идейные), «возникающие при ниспровержении старого порядка». В социальных изменениях отметим категорию, использованную Куком в качестве маркера в отношении представителей низшего класса, которые ведут «полустуденческое существование на краю СМИ или вовсе не имеют занятия». Итак, отсутствию занятости по шкале Кука предшествует *полустуденческое* существование, следовательно, между последней ступенькой и собственно *студенчеством* различия практически незаметны. Куком на примере столицы Великобритании показано превращение города в собрание неуправляемого и готового к беспорядкам плебса [9].

Дэвид Б. Кларк отмечает, что классы не исчезают, они разрастаются вдоль новых осей, которые все больше определяются по отношению к культурному, а не только экономическому капиталу, постепенно обретая свою идеологию. Новые «классы» испытывают постоянные чувства недовольства, аномии, беспокойства и отчуждения [10]. Традиционные связи и ответственность ослабевают, жизненная стратегия заменяется текучей актуальностью без взаимных обязательств (см.: [11. С. 41, 45, 46]). Обесценены долговременная групповая память и опыт прошлого, лежащие в основе социализации. Все это вызывает закономерный интерес к проблеме своеобразия политической социализации молодежи в очевидных «точках роста», какими являются университетские города, где в концентрированном виде мы можем увидеть и особенности социализации молодого поколения, и тренды общественных изменений. Политическая составляющая социализации представляет собой один из существенных аспектов исследования. Более того, политическую социализацию важно исследовать не только как звено цепи между теоретически понимаемыми институционализацией и легитимацией, но и как социальную ткань между «умным сообществом», «умным управлением» и «умными технологиями». В проекте «умных городов» университетские города объективно являются действующими особыми центрами формирования интеллектуальной элиты.

Вышеперечисленные условия позволили для проведения комплексного эмпирического исследования выдвинуть гипотезу относительного преобладания сетевой коммуникации («осетвление», по Н. Больцу [12]; «власть сетевой коммуникации», по Кастельсу [13]) над институциональной в транзитной морфологии университетского города. Основу исследования составил анкетный опрос студентов Томска, дополненный экспертным опросом представителей университетского сообщества, специализирующихся на изучении политической социализации молодежи, преподавателей политологии, руководителей подразделений, ответственных за воспитательную работу в университетах, экспертов из органов власти, политических партий, СМИ и НКО из четырех городов, третий год подряд входящих по рейтингу QS в список «100 лучших студенческих городов мира» (Москва, Санкт-Петербург, Томск

и Новосибирск). Дополнительно впервые Агенством социальных исследований «Столица» (А.Н. Расходчиков и Г.В. Градосельская) с опорой на авторскую методику был проведен анализ молодежных групп Томска и региона в социальных сетях.

В данной статье мы остановимся лишь первых двух исследованиях, взяв из результатов только ключевые позиции, имеющие отношение как к университетскому городу, так и к состоянию политической социализации молодежи. Прежде всего мы видим социальную морфологию типичного университетского города: среди опрошенных студентов доля переехавших в Томск для получения высшего образования составила 63,1%, из них граждан иностранных государств 22,4%. Как видим, это значительно превышает количество студентов – коренных жителей. Почему молодые люди считают Томск городом, в котором стоит получать высшее образование (условия жизни по шкале от 1 до 5)? Здесь 4 и выше получили сферы: образование (4,25), молодежный стиль жизни (4,17), спорт (4,00). Эти оценки вполне вписываются в стандарты современных университетских городов мира. В пятерку также входят, помимо перечисленных, досуг (3,85) и безопасность (3,58). Десятку замыкают трудоустройство (3,19) и общественный транспорт (3,08). Как видим, социальные условия средние и достаточно высокие.

Жизнью города, в котором живут и учатся студенты, интересуются 61,7% опрошенных, не интересуются 20,6% (16,0% затруднились и 1,7% пропустили ответ). Томск привлекателен для студенческой молодежи как площадка для их личностного и профессионального развития и роста. При этом однозначно планируют переехать из него в ближайшие пять лет 27,4%, 28,5% ответили «Скорее да, чем нет». Какие проблемы волнуют студентов университетского города? В *личной сфере* закономерно на первом месте учеба, образование (52,8%), на втором деньги, материальное положение (23,9%). Замыкают тройку трудоустройство, карьера (19,8%). Отметим, что в десятку вошла и проблема с сетевыми коммуникациями (2,0%). Этот момент важен для понимания возможностей сетевой социализации. В *социальной сфере, имеющей непосредственно выход в политику*, 16,4% опрошенных волнуют такие проблемы: власть, выборы, законотворчество, безопасность (война), общая ситуация в РФ, политическая сфера в целом. Еще 12% отмечают социальные проблемы: это традиционно образование, наука, здравоохранение. Но помимо них также духовное состояние общества, гражданская и политическая ответственность и активность, уровень массового сознания, девиантное поведение, коррупция, социальная защита, иммиграция / эмиграция и общие социальные проблемы (без расшифровки). *Экономическая сфера* присутствует в проблемах уровня жизни, рынка труда, экономической свободы и экономической безопасности. В целом по блоку вопросов можно сделать вывод, что во взаимодействии с социально-политической средой студентов политические проблемы волнуют, и основной акцент в ответах респондентов делается на неудовлетворенности властью и политикой в целом.

Переходя к собственно политическим проблемам, начнем с интереса к политике. На этот вопрос 43% опрошенных студентов дали положительный ответ, 36,8% респондентов ответили, что политика их не интересует, 17,5% затруднились дать ответ. Таким образом, незначительное совокупное прева-лирование отсутствия интереса и затруднившихся отчасти объясняется вос-

питательно-образовательным вакуумом, описанным нами в начале статьи. Но процент интересующихся, а особенно затруднившихся, показывает, что в этом направлении надо работать. Практическая активность по ответам распределяется так: участие в волонтерском движении – 37,6%, подписывают электронные обращения 24,7%, состоят в НКО (помимо профсоюзов) 21,0%, делятся в социальных сетях информацией о политике 19,5%, равный процент – 11,8% – набрали те, кто состоят в политических партиях (и их молодежных отделениях) и участники митингов и демонстраций. Как видим, центр политики смещается от традиционно институционального (и институционально-ритуального) к сетевому и к тому, что сегодня называют «неполитической политикой». На данный тренд следует обратить внимание при разработке политических стратегий. В этом плане идущий следом вопрос об участии в выборах можно считать осевым в отношении старой и новой политики. Лишь 18,5% отметили, что участвуют в выборах всегда, а 11,9% отметили «чаще участвую». То есть электоральный состав студенчества можно определить как одну треть от общей совокупности. На этом фоне 32,6% четко заявили «никогда не участвую», а 14,5% «чаще не участвую» (их доля составила 47,1%, т.е. близкую к половине, но она включает и тех, кому нет 18 лет, граждан других государств, граждан РФ, не имеющих томской прописки). За вычетом этих объективных причин «абсентеистская составляющая» ненамного сокращается. Каковы причины студенческого абсентеизма в университетском городе? На первом месте недоверие к выборам – 25,5%. 9,9% считают, что их голос ничего не решает, незаинтересованность в политике, отмеченную выше, подтвердили 19,4%. 12,1% сослались на нехватку времени. По ответам на вопрос: «На кого вы рассчитываете в решении своих проблем?» – 81,3% указали «на собственные силы» и лишь 9,0% «на государство» – главную опору институционального видения реальности. Наверное, в этом жизненная причина отсутствия интереса к политике, умноженная на неукорененность студенчества в городе. Они, в свою очередь, не только фиксируют отсутствие политической активности, но и показывают направления для поиска решений, адекватных ситуации и уникальной среде университетского города. Но в настоящий момент мы можем говорить об особой ипостаси «негражданской культуры», отчасти культуре прекариата (Г. Стэндинг), а эффективным средством для исправления ситуации здесь мыслится предложение К. Навратека о работе по редукции «высокой политики» до уровня города и гражданина.

Остановимся особо еще на двух моментах, вытекающих из опроса, – сетевых ресурсах томского студенчества и на том, как меняется моральная атмосфера в университетском городе. В условиях перехода на сети 4.0 и уже ставших реальностью в ряде стран сети 5.0 нас прежде всего интересовал вопрос, насколько быстро студент может войти в социальную сеть. В ответах 83,0% отметили позицию «в любое время и из любой точки», 9,8% респондентов указали на то, что для них число мест входа ограничено и / или лимитировано время. Только 6,2% указали – «место входа одно» и / или «только в свободное время». Сетевые интересы студенческой молодежи достаточно разнообразны. Вот как представлен их диапазон: на первой строчке «новости», 51,0%, на завершающей, пятнадцатой, «религия и верования», 5,0%. В первую пятерку, помимо новостей, вошли: «искусство, кино» – 49,8%, «музыка, шоу-бизнес» – 45,6%, «отдых, досуг, развлечения» – 42,3%, «образова-

ние и наука» – 39,6%. Добавим, что «образование и науку» усиливает раздел «познавательные передачи» – 23,9%. Почетное место в верхней части таблицы занимают «спорт», 27,8%, и «политика», 26,3%.

Специально был поставлен вопрос об удобстве и полезности социальных сетей. Обобщая ответы, можно сказать, что наивысшей оценкой пользуется социальная сеть «ВКонтакте» (73,2% положительных оценок), в то время как Facebook получил 12,7%, а «Одноклассники» 8,5%. Высокую оценку дали сервису «Инстаграмм» – 53,4%, по отношению к Twitter – отрицательных оценок 33,9%, положительных 20,4% и средних 22,7%.

Продолжая тему и рассматривая мессенджеры, мы видим, что Telegram получает лишь 36,4% положительных оценок, 22,0% плохих и 24,5% средних, заняв второе место и существенно проигрывая WhatsApp (52,6%). Примеры с Twitter и Telegram показывают излишний оптимизм в отношении универсальности их как каналов политической коммуникации. Общее второе место по положительным оценкам после «ВКонтакте» получил видеохостинг Youtube – 65,1% положительных оценок, что позволяет считать его одной из основных площадок виртуальной коммуникации молодежи. Итак, молодежь предпочитает «ВКонтакте», Youtube, «Инстаграмм» и WhatsApp.

Респондентам было предложено ранжировать потребности в социальных сетях. На первое место молодые люди поставили коммуникацию – 61,7%, на второе информацию – 60,0%, на третье досуг – 26,8%, на четвертое свободу – 16,0%, на последнем оказалась самопрезентация – 6,3%. Конечно, есть отклонения в оценках в зависимости от предпочитаемой сети, но рамки статьи не позволяют показать эти распределения. То есть мы с уверенностью можем рассматривать социальные сети сегодня как ключевого агента социализации, а политический аспект ее зависит от понимания ресурса субъектами политики.

Завершает нашу статью раздел «толерантность» – качество, которое является одним из критериев оценки университетского города. В отношении представителей других религий не испытывают раздражения 75,1%, и 12,7% скорее не испытывают. В отношении представителей других национальностей 63,2% однозначно и 18,5% скорее не испытывают. В отношении сексуальных меньшинств соответственно 53,9 и 16,2%. К мигрантам, гастарбайтерам относятся позитивно 42,2% и скорее не испытывают раздражения 27,6%. Меньше всего сочувствия получили асоциальные элементы – 27,0% и скорее не испытывают раздражения 22,0%. Есть нюансы по вузам, но в целом картина выглядит вполне успешной, подтверждая оценку Томска как одного из лучших студенческих городов мира.

Теперь пришло время посмотреть на состояние политической социализации глазами экспертов. Акцент на институтах в опросном листе автором был сделан сознательно, чтобы прежде всего понять их шансы в эпоху постиндустриализма. Поэтому расхождения результатов анкетирования студентов и точек зрения экспертов в пользу данных институтов – своего рода аванс на ближайшее будущее, на исправление ситуации. Экспертам было предложено оценить семнадцать институтов (внутри некоторых более дробное деление, например вуз оценивался с точки зрения воздействия учебного процесса и общественной деятельности) по степени их влияния на молодежь по шкале от минус пяти до плюс пяти. Для экономии возьмем лишь максимально высокие позиции институтов социализации, составленные в абсолютных выражениях

(положительные минус отрицательные). На первом месте идет вуз (и учебный процесс, и общественная деятельность получили максимальные баллы – по 38). Следом равные оценки, по 36, у сверстников и государства. На третьем месте государственные праздники – 34. На четвертом – семья с 33 баллами. На пятом – социальные сети и кино – 32. Абсолютный рекорд «не влияния» по графе (и всей таблице) заняли профсоюзы – «ноль» поставили 20 экспертов. И разница между отрицательными и положительными оценкам также равна нулю. В целом опрос показал пятикратное доминирование правого поля (положительных значений) над левым (отрицательные значения), что является показателем не только оптимизма экспертов в отношении ряда институтов / оценки их роли с позиций индустриальной парадигмы, но и проекцией сегодняшних проблем политической социализации молодежи на потенциал (ресурсы) данных институтов.

Исходя из сказанного, особо следует обдумать механизм и формы возвращения каналов передачи политических знаний в университеты, включая и политологию (граждановедение) на непрофильных факультетах. Последнее является основанием для корректировки государственной политики в отношении студенческой молодежи в целом (вуз, сверстники, государство, региональные, местные и государственные праздники, волонтерство как форма гражданского участия, семья как традиционный агент социализации), и, как следует из оценки роли социальных медиа самими студентами и экспертами, требуется особый подход к интернет-коммуникации как эффективному средству политической социализации молодежи. В целом это могло бы стать все еще актуальным и эффективным ответом на вызовы новой эпохи.

Литература

1. *Ортега-и-Гассет Х.* Размышления о технике // Избранные труды. М. : Весь мир, 1997. С. 164–232.
2. *Кастельс М., Киселева Э.* Россия и сетевое общество. Аналитическое исследование // Мир России. 2000. № 1. С. 23–51.
3. *Ясперс К.* Смысл и назначение истории. М. : Изд-во полит. лит., 1991. 527 с.
4. *Щербинин А.И.* Политическое образование : учеб. пособие. М. : Весь мир, 2005. 288 с.
5. *Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М. : Academia-Центр : МЕДИУМ, 1995. 323 с.
6. *Florida R.* Where do College Grads Live? The Top and Bottom US Cities. 23 august 2019 // CITYLAB. URL: <https://www.citylab.com/life/2019/08/education-talent-city-ranking-college-degrees/596509/> (accessed: 30.09.2019).
7. *Нордстрем К.А., Ридерстралле Й.* Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку таланта. СПб. : Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2002. 287 с.
8. *Бауман З.* Социологическая теория постсовременности // Социологические очерки : ежегодник. М. : Ин-т молодежи, 1991. Вып. 1. С. 28–48.
9. *Кук Ф.* Модерн, постмодерн и город // Логос. 2002. № 3–4. URL: <http://magazines.russ.ru/logos/20002/3/kuk.html> (дата обращения: 05.08. 2019).
10. *Кларк Д.Б.* Потребление и город, современность и постсовременность // Логос. 2002. № 3–4. URL: <http://magazines.russ.ru/logos/klark.html> (дата обращения: 06.08. 2019).
11. *Стэндинг Г.* Прекариат: новый опасный класс. М. : Ад Маргинем Пресс, 2014. 328 с.
12. *Больша Н.* Азбука медиа. М. : Европа, 2011. 136 с.
13. *Кастельс М.* Власть коммуникации. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. 568 с.

Alexey I. Shcherbinin, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: shai52@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 51. pp. 205–214.

DOI: 10.17223/1998863X/51/21

FEATURES OF POLITICAL SOCIALIZATION OF YOUTH IN A UNIVERSITY CITY**Keywords:** political socialization, youth, university, city, crisis of institutions, network society, Russia, empirical research.

The article considers a topical issue of political socialization of youth. Protest moods, mass demonstrations and specific actions show that currently, in many countries, young people are becoming more active and focused on “criticism by action” of traditional political institutions. On the other hand, these institutions lose youth support in the elections and in the party building process. Classical ideologies and the ideology as a form of mind control fail in the clash with modernity. Thereby, there is a need in an underlying cause to nominate and theoretically substantiate new sociopolitical phenomena, such as populism, post-truth, fake news, and others. According to the author of the article, this cause is a change in the public paradigm, which was considered by Zygmunt Bauman, Nikita Moiseev, Krzysztof Nawratek, Manuel Castells and Emma Kiselyova, Philip Cooke, Guy Standing, et al. The article reveals the difference and constructs general provisions of the new social world. The place of youth in this future is traditionally associated with the mechanism of socialization, in which political relations, as one of the areas, always occupy pride of place. The author recalls the basic theories of political socialization, noting that all of them were connected with institutions that performed a systemic function. By this, in theoretical and methodological terms, he tests various theories of political socialization for the possibility of their integration in the design of a new society. To verify it, in the summer of 2019, the author and his research team conducted a survey among students of Tomsk, one of the four Russian university cities in the Top 100 of the QS Best Student Cities ranking. They also developed and conducted an expert survey of theorists and practitioners of political socialization in all four Russian cities from the QS ranking (Moscow, St. Petersburg, Novosibirsk and Tomsk) on the effectiveness of existing institutions of political socialization. The results of the empirical studies complement each other, correlate with the theoretical assessment of the current state of society, and have a significant scientific and practical value at both the federal and city levels.

References

1. Ortega y Gasset, J. (1997) *Izbrannyye trudy* [Selected Works]. Translated from Spanish. Moscow: Ves' mir. pp. 164–232.
2. Castells, M. & Kiseleva, E. (2000) Rossiya i setevoye obshchestvo. Analiticheskoye issledovanie [Russia and the network society. Analytical research]. *Mir Rossii*. 1. pp. 23–51.
3. Jaspers, K. (1991) *Smysl i naznachenie istorii* [The Origin and Goal of History]. Translated from German. Moscow: Izd-vo polit. literatury.
4. Shcherbinin, A.I. (2005) *Politicheskoye obrazovanie* [Political Education]. Moscow: Ves' mir.
5. Berger, P. & Luckmann, T. (1995) *Sotsial'noye konstruirovaniye real'nosti. Traktat po sotsiologii znaniya* [The Social Construction of Reality. A Treatise on Sociology of Knowledge]. Translated from German by E. Rutkevich. Moscow: Academia-Tsentr: MEDIUM.
6. Florida, R. (2019) *Where do College Grads Live? The Top and Bottom US Cities. 23 august 2019*. [Online] Available from: <https://www.citylab.com/life/2019/08/education-talent-city-ranking-college-degree-us/596509/> (Accessed: 30th September 19).
7. Nordstrom, K.A. & Ryderstralle, J. (2002) *Biznes v stile funk. Kapital plyashet pod dudku talanta* [Funky Business: Talent Makes Capital Dance]. Translated from English. St. Petersburg: Stockholm School of Economics in St. Petersburg.
8. Bauman, Z. (1991) Sotsiologicheskaya teoriya postsovremennosti [Sociological theory of postmodernity]. *Sotsiologicheskiye ocherki*. 1. pp. 28–48.
9. Cook, F. (2002) Modern, postmodern i gorod [Modern, postmodern and the city]. *Logos*. 3–4. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/logos/20002/3/kuk.html> (Accessed: 5th August 2019).
10. Clark, D.B. (2002) Potrebleniye i gorod, sovremennost' i postsovremennost' [Consumption and the city, modernity and postmodernity]. *Logos*. 3–4. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/logos/klark.html> (Accessed: 6th August 2019).
11. Standing, G. (2014) *Prekariat: novyy opasnyy klass* [Precariate: The New Dangerous Class]. Translated from English by N. Usova. Moscow: Ad Marginem Press.
12. Bolz, N. (2011) *Azbuka media* [The Media Alphabet]. Translated from German. Moscow: Evropa.
13. Castells, M. (2016) *Vlast' kommunikatsii* [Communication. Power]. Translated from English by N. Tylevich. Moscow: HSE.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АНДРУШКЕВИЧ Александр Геннадьевич – исполнитель научно-исследовательского проекта РНФ (№ 18-18-00057) в Томском научном центре СО РАН (г. Томск); аспирант кафедры онтологии, теории познания и социальной философии, философский факультет, Томский государственный университет (г. Томск).

E-mail: andryusha.fsf@gmail.com

АНТУХ Геннадий Геннадьевич – кандидат философских наук, старший научный сотрудник, Томский научный центр СО РАН (г. Томск).

E-mail: g.antukh@yandex.ru

АСЕЕВ Сергей Юрьевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии, Алтайский государственный университет (г. Барнаул).

E-mail: suass@mail.ru

АСЕЕВА Татьяна Анатольевна – кандидат политических наук, доцент кафедры политологии факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии, Алтайский государственный университет (г. Барнаул).

E-mail: tatulyasolar@mail.ru

БАХТИЯРОВА Елена Захаровна – старший преподаватель кафедры философии и методологии науки, философский факультет, Томский государственный университет (г. Томск).

E-mail: elenazbest@yandex.ru

БОГОМЯГКОВА Елена Сергеевна – кандидат социологических наук, доцент кафедры теории и истории социологии, Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург).

E-mail: e.bogomyagkova@spbu.ru, elfrolova@yandex.ru

ГАПОНОВ Александр Сергеевич – кандидат философских наук, старший научный сотрудник лаборатории логико-философских исследований, Томский научный центр СО РАН; старший преподаватель кафедры онтологии, теории познания и социальной философии, Томский государственный университет (г. Томск).

E-mail: gaponov@sibmail.com

ДАНИЛОВА Елена Александровна – доктор политических наук, старший научный сотрудник лаборатории высокоэнергетических материалов, Томский государственный университет (г. Томск).

E-mail: Elena.a.danilova@yandex.ru

ЗАЙЦЕВ Дмитрий Викторович – доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры «Психология и прикладная социология», Институт социального и производственного менеджмента, Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина (г. Саратов).

E-mail: dvzsaratov@mail.ru

КАЗАНЦЕВ Дмитрий Анатольевич – старший преподаватель кафедры политологии, факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии, Алтайский государственный университет (г. Барнаул).

E-mail: dimkazanchev@mail.ru

КИЛЬДЮШЕВА Алина Анатольевна – кандидат культурологи, заведующая музеем, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (г. Омск).

E-mail: kildusheva@mail.ru

КОСИЛОВА Елена Владимировна – кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии и теории познания, философский факультет, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (г. Москва).

E-mail: implicatio@yandex.ru

ЛАДОВ Всеволод Адольфович – доктор философских наук, доцент, заведующий лабораторией логико-философских исследований, Томский научный центр СО РАН, ведущий научный сотрудник, Томский научный центр СО РАН (г. Томск); профессор кафедры онтологии, теории познания и социальной философии, Томский государственный университет; профессор кафедры философии, Сибирский государственный медицинский университет (г. Томск).

E-mail: ladov@yandex.ru

МЕНЬШИКОА Анна Андреевна – аспирант кафедры истории философии и логики, Томский государственный университет (г. Томск).

E-mail: menanna1366@yandex.ru

НАЙМАН Евгений Артурович – доктор философских наук, ведущий научный сотрудник, Томский научный центр СО РАН (г. Томск).

E-mail: enyman17@rambler.ru

ОГЛЕЗНЕВ Виталий Васильевич – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры теории и истории государства и права, юридический факультет, Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург).

E-mail: ogleznev82@mail.ru

ОРЕХ Екатерина Александровна – кандидат социологических наук, доцент кафедры теории и истории социологии, Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург).

E-mail: e.orekh@spbu.ru

ПОЛЯНИНА Алла Керимовна – кандидат социологических наук, доцент кафедры менеджмента и государственного управления, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород).

E-mail: Alker@yandex.ru

ПОПКОВ Вячеслав Дмитриевич – доктор социологических наук, доктор философии, Берлинский технический университет; директор, Институт социальных исследований и аналитики (г. Калуга).

E-mail v-831p@yandex.ru

ПОПКОВА Екатерина Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент, Калужский филиал НИУ МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Калуга).

E-mail: ekaterina.popkova@lenta.ru

ПУСТОШИНСКАЯ Ольга Сергеевна – кандидат политических наук, доцент кафедры новой истории и мировой политики, Институт социально-гуманитарных наук, Тюменский государственный университет (г. Тюмень).

E-mail: pustoshinskayaolga@yandex.ru

ПУШКАРСКИЙ Анатолий Геннадьевич – младший научный сотрудник, Академия Кантiana Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта (г. Калининград).

E-mail: pushcarskiy@mail.ru

СОЛОДОВА Галина Сергеевна – доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт философии и права СО РАН; профессор кафедры социологии, политологии и психологии, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) (г. Новосибирск).

E-mail: gsolodova@gmail.com

СЫРОВ Василий Николаевич – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой онтологии, теории познания и социальной философии, философский факультет, Томский государственный университет (г. Томск).

E-mail: narrat59@gmail.com

ШАШКОВА Ярослава Юрьевна – доктор политических наук, доцент, заведующая кафедрой политологии, руководитель Центра политического анализа и технологий факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии, Алтайский государственный университет (г. Барнаул).

E-mail: yashashkova@mail.ru

ЩЕРБИНIN Алексей Игнатьевич – доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии, факультет исторических и политических наук, Томский государственный университет (г. Томск).

E-mail: shai52@mail.ru

ЮРЬЕВ Роман Александрович – кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры истории философии и логики, Томский государственный университет (г. Томск).

E-mail: yuriev2003@mail.ru

ЯРСКАЯ-СМИРНОВА Елена Ростиславовна – доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры «Общая социология», факультет социальных наук, департамент социологии, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва).

E-mail: elena.iarskaia@gmail.com, eiarskaia@hse.ru

ЯРСКАЯ-СМИРНОВА Валентина Николаевна – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры «Психология и прикладная социология», Институт социального и производственного менеджмента, Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина (г. Саратов).

E-mail: jarskaja@mail.ru

Научный журнал

**ВЕСТНИК ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА**

**ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ**

**TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOSOPHY,
SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE**

2019. № 51

Редактор *Е.Г. Шумская*

Оригинал-макет *О.А. Турчинович*

Дизайн обложки *Яна Якобсона* (проект «Пресс-интеграл»,
факультет журналистики ТГУ)

Учредитель Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

Подписано в печать 30.10.2019 г. Дата выхода в свет 10.12.2019 г.
Формат 70х100^{1/16}. Печ. л. 13,63; усл. печ. л. 17,72; уч.-изд. л. 18,69.
Тираж 50 экз. Заказ № 4131. Цена свободная.

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет

Издание отпечатано на оборудовании Издательского Дома
Томского государственного университета
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail: rio.tsu@mail.ru